

ЛЕОНАРД  
ЗОЛОТАРЕВ



МЁД  
ИЗ  
ПОДСНЕЖНИКОВ



*Леонард Золотарев вырос на Орловщине, в крестьянской среде, в той удивительной стихии народного языка, которая уже сама по себе является прекрасной школой для человека, одаренного художническим видением жизни.*

*На любого человека, тем более на будущего художника, окружающая его с детства среда накладывает неизгладимый отпечаток, именно она формирует его нравственное и философское понимание жизни, начинает просвечивать затем в его произведениях; мы замечаем это в рассказах и очерках Леонарда Золотарева. Нелегкий крестьянский труд, неповторимая среднерусская природа в ее неброской, как бы притушенной, но в текучей, искрящейся красоте, характерная для средней полосы России, где бескрайние степи соседствуют с лесами, воспитали в Леонарде Золотареве бережное, доброе видение человека, научили его проследить многочисленные, тончайшие связи человека и земли, на которой он рождается, живет, трудится...*

*У Леонарда Золотарева есть талант, знание народной жизни, чувствуется богатая языковая одаренность. И это тотчас понимаешь, прочитав хотя бы один его рассказ; хочется от души пожелать писателю больших свершений на трудном литературном пути.*

**ПЕТР ПРОСКУРИН.**

МЁД  
ИЗ

Леонард  
Золотарев

ПОДСНЕЖНИКОВ

Рассказы  
и путевые заметки

Книжная  
2000  
ЭЛИТЕ

998058

ПРИОКСКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ТУЛА 1978

**P2**  
**3—80**

*Художник*  
*Виталий Погорелов*



1

История этого хутора началась, очевидно, с названия, когда какой-нибудь марсофлотец, которых издавна поставляло на корабли здешнее средиземье, завез степнякам необычные, такие красивые и волнующие слова — Мыс Доброй Надежды. История завершалась уже теперь, когда на хуторе осталось одно строенье — Дарьюшкина хатенка с единственно живой душой — самой бабушкой Дарьей. Остальные вымерли, съехали, растворились. С прошлого лета, когда в Бузулук, на центральную усадьбу, перебрались и Сивачевы, Шевардина Дарья осталась одна. Куры с петухом да воробьи, да мыши, да хорек треклятый где-то в Козлихином погребе — вот и вся наличная живность на хуторе. В одно время с курами Дарьюшка ложится, в одно время с курами и подымается. Маленькая, лицом с кулачок, в последний год еще больше усохла, тело так и подшилось. Ничего, помирать — меньше груза, меньше будет хлопот.

Сын зовет ее в город, а чего она там потеряла, на этажах-то? Душу по земным кружалам измаешь, плечи о стенки пообобьешь. Век в деревне жила, век туда-сюда, как челнок, а там лечь колодой и в потолок носом? Крутится перед ней Алексей, уговаривает — мать же, и от людей стыдно, и самому каково? Хоть бы остаток дней

пожила, как у Христа за пазухой. Ни воды тебе не носить, ни печь не топить — однокомнатная квартира, но со всеми удобствами. Ни внуков не нянчить, ни с кем-либо делить в доме женскую власть — нет у Алексея семьи, все пока холостякует. Это и расшибает Дарьюшку.

Вот и сегодня приехал Алексей на выходной. Умылся с дороги, надел чистую рубашу, сидит и пьет чай в красном углу — светлоголовый, большегрудый, их, шевардинской породы, вылитый Венедикт Алексеевич. Дарьюшка загляделась на него и сомлела. Косой луч упал ему на переносицу, высветил серые с зеленым крапом глаза. Ишь, сидит и не смотрит сюда, на нее. Чует, и она ему слов припасла. Известно о чем: о внуках. Тогда бы, может, и сдвинула туда к нему старые кости. Для нее он — луч ясный, соколик крылатый, да какая же от такого откажется? Не знает мать, что в последнее время мучить стали его всякие думки, что начал он женщин бояться, развился, что ли, дурацкий комплекс? Иные из друзей заходят в квартиру и прямо с порога:

— Чтой-то у тебя, Алексей, чересчур дух мужской? Засиделся, брат, в девках. Придется женить по повестке, через военкомат.

Что таким скажешь? Нечего с ним равняться. Ему как-никак уж за сорок. Попробуй найди в таком возрасте пару. Какую-либо разведенку не хочется, еще психопаткой окажется, а незамужних много ли, всех разобрали. Так вот она и проходит, жизнь. После института приехал сюда влюбленным, думал век любить Клавочку, ждал, когда закончит она институт, а та р-раз и за летчика. Так-то. И он, Алексей, потерял уверенность в себе, в своих силах-возможностях. Ему стало казаться, что другие чем-то лучше его: тот красивее, этот талантливее, третий щедрее душой. И он уж не жил, как когда-то спокойно: наступал на горло себе, отказывал даже во взгляде на женщин. Оставалась работа, и он сделался отличным работником,

главным агрономом районного управления. Но этого было слишком мало для жизни, и тогда он припаялся собирать книги, создал приличную библиотеку, подобной в районе нет, пожалуй, ни у кого. А жизнь пролетала. По пути в магазин он иной раз делал крюк, проходил медленно мимо детского сада...

Под вечер во двор к Шевардиным наведывается мужик из соседней деревни — Фадееч. Как всегда, зимой — летом в валенках и с бутылкой. Заступ в свежей земле он оставляет за дверью, проходит в хату, суетливо ставит «Экстру» на стол, приглашает жестом Дарьюшку и Алексея.

— Ты бы руки помыл, — смотрит Дарьюшка прямо перед собой и вздыхает. — Кого господь еще нынче прибрал?

— Булгактеру... этому... Жилкину копал, — морщит пористое, в синих точках, лицо Фадееч. — Говорил ему, адивоту, поступишь ко мне, не обойдешь. Потому у меня у единственного тут такая, того-этого, пропускная способность.

— За что же ты на него серчаешь, а, Фадееч? — подходит к нему Алексей.

— Он на меня года три тому эптимию наложил. Оштрафовал. Мешки рваные, мол, принес, не колхозные.

— А что, нешто колхозные? — шевелит Дарьюшка тонкими, сухими губами.

— Не колхозные, — соглашается Фадееч и вдруг багровеет, синие точки на лице делаются незаметными. — А пришли ко мне, не к кому-нибудь: Фадееч, выкопай, Фадееч, уважь... того-этого... Фадееч теперь дорогой. Да я за свою жизнь сколько позакопал, а? Сколько, Дарьюшка, всяких, а? Этих... как их... булгактеров, председателей, инженеров, даже один полковник попался. Сладко ели, командирами были, а все туда, у меня, того-этого, равноправие, у меня, брат, не вырвешься...

— И лизать, и лизать, Фадееч, тебе сковородку, — смотрит Дарьюшка на него, не мигая.

Фадееч наливает в жестяную кружку, крикает, обти-

рает губы рукой. Показывает Алексею: не надо? Ну и не надо.

— А сколько этой вот... дуры за них всех тут попито — и-и-и! А теперь ослаб, Дарьюшк, ослаб,— улыбается Фадеич жалостливо, глазенки его начинают слезиться.— Скоро и мне туда, того-этого,— он проводит рукой по горлу и вдруг меняет тон:— Это какие же, Дарьюшка, мне сковородки лизать?

— Какие! Огневые, какие в аду. И лижи, и лижи ва трешню свою.

— Ладно тебе, бесхозная бабка,— поднимается Фадеич и ищет заступ, который оставил наружи.— Не была бы Дарьюшкой, я бы тебя сейчас тут перекрестил.

— Не завались где-нить,— говорит вслед ему Дарьюшка,— а то кто булгактера будет в землю внедрять?.. Это ж надо — под «козырной» помереть! Люди завтра придут родителей поминать, а он помер. Ох-ох-ох,— закрутила она сухонькой головкой, перегнулась в пояснице и засемила через ложок.

Алексей знал, куда и зачем: на погост, еще раз пройти поправить могилки. Всегда так, особенно перед «козырными», родительскими. Взяла на себя эту долю приглядывать за Шевардинским кладбищем. Кладбище, что ж, историческое. Церковь была здесь когда-то, Мыс Доброй Надежды с селом Шевардино стояли впритык. Церкви не стало еще после революции, села сразу же после войны, а кладбищу что? С окрестных деревень и несут, и несут, привозят даже из Бузулука. Надеждинские, бывало, присматривали, чтобы корова не зашла или какой «анчихрист» не заехал на тракторе — родители ведь лежат, поколения. А с тех дней, как осталась здесь одна Дарьюшка, она и доглядывает.

Алексей берет в руки плетушку, надо отвести душеньку — пройтись по знакомым местам, по логам да корчагам, проверить опят. Теперь так: грибы держатся три-четыре дня, на захват. Проморгал напор — все. И ведь не

живут грибники здесь, а что значит техника: продержись гриб — мигом наскочат на автобусах, автомашинах.

Он идет первым делом на Красную куртину — так назвал он эту полянку с южным уклоном среди красноствольного сосняка. Тут особая влага, теплынь — микроклимат, грибу самая благодать. Первый гриб появляется здесь; если уж тут нет, то нигде не ищи — это точно. Алексей наступает на перезревшую пышку, под ногой пыхает желтый дымок, споры окрашивают нос ботинка. Попадается пара сморщенных, ссохлых грибов — поддубешник, маслята. Нет, еще не сезон. Алексей прямьем — кружно, по скошенным клеверам, мимо черной горбатой скирды, держит путь на погост. Прицелившись издали, проникает с другого прохода, между раkitой и грузным, истресканным камнем. Здесь уютно, неветрено, отава по свободным местам не буйна, свисает космами с застарелых холмов. Кое-где сметано в кучки сено — Фадеичева работа, его первый укус. И ограды, оградки, просто насыпи. Деревянные кресты под рушниками, жестяные звезды. Кто с фамилией, кто уже бесфамильно. Где-то тут его два старших брата, отец, отец отца, пращуры. До седых, беспредельных веков...

Уже с утра на кладбище стал собираться народ. Подъезжали на бортовых машинах, на личных «Жигулях», даже на велосипедах. Ставили технику под уцелевшие яблони, по вишнякам да сиреням. Забегали к Дарьюшке за ведром да за кружкой, за лопатой да за молотком. Кучковались — медведевские, черемшанские, гуторовские. Вытаскивали захваченное с собой, рассаживались прямо по клеверам.

Алексей забился в хатенку с книжкой. С черемшанскими, сказали, должна быть сегодня и Клавдия. Читать не читалось, думать не думалось, лезла в голову всякая ересь.

К полудню автобус подвез из города кой-кого из надеждинских, подходили с центральной усадьбы. И все сюда к

Дарьюшке, на жилое, куда же еще? И с такой радостью встречали все друг друга и каждого, с такой искренностью смеялись и обнимались, что не выдержал Алексей, бросил книжку и вышел во двор. Вот ведь штука какая: Козлиха, бывало, секлась с соседкой Марьей Стефеевной, ну одна одну на спички подрали бы, а теперь так и нет подруг задушевней, сидят, рады, никак не наговорятся.

Ну, пошли, побывали на погосте, помянули. Ну, всплакнули, ясное дело, по родителям, близким, человека слезами не возвратишь. А как двинули хутором да как увидели свой Мыс Доброй Надежды, так душа у всех и рассолодела: погребов пустые глазищи, задичалое вишенья, двухсаженная лебеда. Козлиха возле своей усадьбы и вовсе в голос:

— Ой да окнушки, бывало, отволоку, томлюсь на солнышке, Петечку — молодно, кудрявно — поджидаю... Ой да здесь родила всех троих, отца-мать похоронила... Ой да что же нас всех засуетило, разбросало, горьких, по белу светушку...

— Ладно тебе, отпевать, — остановила Козлиху Марья Стефеевна и кашлянула внушительно, укрыла губы ладонью. — Никто не гнал, сама, небось, разогналась.

— Сама, — перекивилась Козлиха. — Живу тама, а душа, она туточки. — И наклонилась, подняла кусок шифера, подержала в руке.

Алексей почувствовал, как и ему вместе с Козлихой стало трудно дышать.

Вернулись во двор к Дарьюшке, перед хатой, прямо на бывшей дороге, расстелили скатерти, спроворили «общий котел». Сели рядком да ладком, на травку-гусятничек. Помянули. Добавили, чтобы дольше жилось, и за новую жизнь. Дарьюшку дергали справа и слева, все расспрашивали, кто бывал здесь да кто где устроился. «Ты теперь тут у нас за часового, кто ни пройдет, ни проедет — к тебе. Как он, наш Мыс Доброй Надежды, приживается в людях? А ничего приживается, не хуже других».

— Скоро, говорят, посрубят последние яблони,— объясняла Козлиха,— распашут землю, станет здесь голое полюшко. И тогда ищи-свищи место, только в пачпорте и останется, что родилась ты, Марья Стефеевна, в Мысе Доброй Надежды, а самого Мыса уж нет. И буду я приезжать с центральной овес сеять, где была моя хата...

— А ты как бы хотела, землю забросить? — возвышала голос Марья Стефеевна, чтобы слышали все.— Вот я сейчас работаю в швейной, так у нас экономия, каждый клочок на учете. А тут — земля. Да за нее государства сражаются, люди миллионами гибли. И чтоб так ее — р-раз и на ветер? Земля нам дорогá. Из нее мы вышли, и в нее мы уйдем.

Алексей наклонился к матери: по его мнению, для решительного разговора был самый момент. Ну чего она сторожем в этом поселке, как котенок брошенный, «бесхозная бабка»? А ну заболей — воды подать некому. А ну бездорожье — сиди без куска хлеба.

— А-а-а,— смеется Дарьюшка, ей сегодня так хорошо,— ты вон о чем, сынок. А мне много ли надо? Лишь бы тлелось. Слышал, что говорят о земле? Куда ж я от нее? Туточки и помру.

Провезли и затем пронесли на погост бухгалтера Жилкина. Все затихли, Дарьюшка махнула перстами вслед: прими его, земля-мать. Тут же забыли про Жилкина, разговор опять хлынул и заветвился, то набирая силу, то усмиряясь, но Алексей уже не вникал в него. Там, через ложок, начиналось движение, раздались голоса, кто-то даже дал песняка «Распрягайте, хлопцы, коней», ему подтянули, их дружно одернули. Белое платье мелькнуло за кривой расщепленной ракитой, скрылось за лебедой: она, Клавдия. Это она. Алексей поднялся, передернул плечами.

— Холодно? — встрепелась Дарьюшка.

— Холодно, на ком одно,— затрещала Козлиха.— А на нас двое и то худое.

— Ты как скажешь, в тулуп не влезет,— усмехнулась

Дарьюшка и вдруг натянулась вся и смотрела вслед сыну, шевелила бумажными, высохшими губами: «Жена — не пряник, а ржаной ломоть... а ржаной ломоть...»

Женщина в белом вышла из лебеды и закрыла дорогу.

Та же темпо-русая челка на левую бровь, тот же молниеносный взгляд из-под челки. Но в глазах уже нет того блеска, лицо покрупнело, сделалось пористее, рыхлее — что ж, годы. И все же это была она, Клавдия. Смотрела на него, как ему показалось, откровенно, ничего не скрывая.

— Вот и встретились, Алексей, — сказала она и улыбнулась, натянула на живот полы кримпленового с серебряной ниткой жакета. Но — странное дело — улыбка эта уже не вызвала в нем прежних чувств. Ну что она скажет ему? Что несчастлива с мужем, что его списали из авиации и он теперь не летает, работает в аэродромной службе? Что порой напивается, кроет ее по чем зря, все упрекает за что-то? Да, жизнь для нее повернулась не той стороной... Как могут, однако, женщины смотреть на него, давно, кажется, так не смотрели. Почему-то, предпочтя одного, они сожалеют потом о другом...

— Ну вот и встретились, а поговорить-то и не о чем, а, Алексей? — потянула она с плеч косынку.

— Наш хутор исчез, растворился, — смотрел он на закат: солнце садилось в тучку.

Розовел сырой плотный воздух, поверхность раки и крапивник у придорожья, красноватее сделался клевер отавный, успевший уже раскуститься, обволокнувшись листом. На скатерти, на бутылки, на волосы людям начал садиться туман, голоса настужались и глохли. Кто-то запалил костерок, дым протянуло в небо. Совсем как в детстве. Не хватало мычания телят, лошадей в ночном, запаха молока. Алексей смежил веки и перед ним во всех своих мелких подробностях возник прежний хутор...

Мимо, он уже был хорош, проезжал на телеге Фадеич.

— У, каналья! — замахнулся он на кобылу. — Булгактера возила, а нас возить брезгуешь?

На дороге урчали машины, бывшие хуторяне и разносельчане равъезжались по своим новым обителям.

— Ну, мне пора, — повернулась лицом к нему Клавдия.

## II

На вазинок Дарьюшка шла с ведром, оскользнулась, так и расселась, едва дотащилась до сенец. С того и вступило в грудь, поясницу и ноги, держит — не отпускает. Взяла на днях курочку щупать, та вздернула крыльями, Дарьюшку в сторону так и поволокло. Да по правде сказать, зажилась в гостях, пора и домой собираться.

Лежит Дарьюшка обострившимся носом вверх, смотрит, как по потолку мухи ходят, не падают, и нет уже сил ничему удивиться. Нет сил подняться, сходить в магазин на центральную. Люди добрые, спасибо, не забывают. Кладбище наведывают и ей, Дарьюшке, принесут — пряник ли, яичко, кусок ли какой. А много ей надо? Отщипнет хлебца и на язык, трет-трет языком, пока не истает.

Недавно в окошко влетела синичка, завертела хвостом, к ночи снег навертела. Три дня ломил, да так лихо, обвалью. Пошла утром к колодчику, а там синичка, как вроде та самая, сидит на раките да голоском этак жалостно, тоже, видать, оттуда поилась. Алексея теперь и не жди — бездорожье... Помирать надо, а неохота. Помри — пролежишь тут колодой, пока не исторгнешься смрадом.

В полдень к погосту пробили дорогу бульдозером, заходил Фадеич — «пропускная способность». А к вечеру под окнами загремел самосвал, Алексей влетел в хату, свежий с морозу, разгоряченный, в момент оценил обстановку, сгреб Дарьюшку вместе со стеганым одеялом и — в дверь. Сидя между шофером и сыном, она колтыхалась по вимнику, и млела у нее грудь от тепла, от прихлынувших мыслей.

Алексей жил в самом центре Дороскова. В комнате у него было сухо, светло; ничего, да только земля далеко.

В первое время она окрепала, утверждалась ногами, вроде чище стала с лица, ей понравилась ванна, и она частенько грела в ней старые кости. Зато газ невзлюбила: голова болит и включать страшно.

Нагонявшись по колхозам, в хлопотах, как в репьях, Алексей возвращался теперь пораньше.

А зима сходила на нет. Солнце все рьяней прижигало снега, укрупняло сосульки, в форточку било запахом талой земли. Под окно повадилась щебетуха-синичка, Дарьюшка бросала ей на дощечку хлебных крошек и сала, смотрела на нее, вертихвостку, и делалась все смурней, молчаливей, дня три и вовсе молчала, на четвертый свалилась и уже не поднялась. Приехавший со «Скорой помощью» старичок доктор Филиппов объяснил причину: «Двусторонняя пневмония». «Где ж она тут могла простудиться?» — сокрушался Алексей. «А это, молодой человек, не обязательно, — собирал доктор свой чемоданчик. — В таком возрасте пневмония возникает и от неподвижного образа жизни. Легкие, фигурально говоря, слеживаются».

Дарьюшка стонала, металась, прогоняла Фадеича. При закате прояснилась, осветлела. Ей стало легко, так легко, будто вовсе истаяло тело, осталась одна лишь душа да руки, пудовые руки — так набрякли за жизнь, ломают, никуда не пускают, прижимают душу к земле. Она, Дарьюшка, словно сторож, обходит весь хутор Мыс Доброй Надежды, и все его хаты, сады, все его беды и радости, все надеждинские, кого знала — не знала, видела и не видела, вытягиваются за ней, движутся следом, а она торит стежку по первому снегу к колодчику, что под ракеткой, по бокам от нее пробивают снег голубые звонцы-колокольцы, и вьется над нею синичка, и Дарьюшка льнет к ней, приподнимается, тянется ввысь и идет, бестелесная, прямо по облакам...

Алексей чувствовал перед нею себя виноватым: увез с земли, пожила бы еще. В тот же вечер собрал друзей и

знакомых на поминки. Вопреки обычаю помянули до похорон. Попросив на работе автобус, в ту же почь двинулся с гробом на Мыс Доброй Надежды, чтобы — согласно обычаю — на третий день предать тело земле.

На полдороге, нежданно-негаданно, как это в марте бывает, завернула пурга. Все смешалось, завывало и заструилось вниз под фары, перед автобусом встала стена. Шофер сбавил скорость. Нечего было и думать о том, чтобы съезжать с основной дороги — добраться хотя бы до Бузулука.

Гроб подпрыгивал на рытвинах, Алексей придерживал крышку, смотрел вперед с беспокойством: что же дальше-то будет? Несколько раз выходили в метель и брались за лопаты. Пока им везло. Но у Костинского леска пришлось посидеть. Мотор надсадно ревел, одолевая занос по сантиметру, Алексей, толкая машину, оборвал весь живот. Последний километр, уже перед въездом в село метель вовсе едва не доконала.

Ночь была уже на исходе. Лишь достигли правленья колхоза, Алексей тут же воспрянул духом, побежал к председателю, потом на конюшню. Заспанный сторож повертел записку от председателя, вывел немолодого, лохматого мерина.

— Как кличут? — кивнул Алексей на мерина.

— Елпидифор, — зевнул равнодушно конюх.

— Елпидифор? Ничего себе.

Алексей затягивал ногою хомут.

— А он чистопородный, мужики запалили, — потянуло конюха на разговор. — Им, рысакам, имя, вишь ли, дают по отцу и по матери — вроде как фамилия, отчество. Мать у него была Елка, отец — Пилигрим. А наш председатель взял и придумал ему Елпидифор. Да мы так не зовем, мы попроще, у нас он Елка-Палка... Исправная лошадь, но не рысак, нет, — палка нужна, ветра боится...

Алексей тронул вожжой смирного мерина, лихо при-

чмокнул. Через пять минут Дарьюшка перекочевала на широкие розвальни.

— Жди,— сказал он шоферу вместо прощания.— Утром тебя тут устроят.

По дороге Алексей заехал к Фадеичу. «Пропускная способность» даже слезу уронил.

— Преставилась наша вечная,— вышел он следом, чтобы удостовериться.— И мне теперь собираться.

Между тем пурга все играла-разыгрывалась, но уже сверху не сыпало, заметала поземка. Лежа на боку, Алексей трогал левой Елпидифора, правой придерживал гроб, покрытый попоной. Он уже привык к смерти матери, старался смотреть на нее философски, спокойнее. Меринок шел уверенно, изредка всфыркивая, когда ударяло просыпью в ноздри; меринок хорошо знал этот путь. Снег на щеке Алексея оттаивал, ветер схватывал, леденил, но Алексей не чувствовал холода...

Был человек и нет человека, не воскреснет, не придет к тебе снова. Все колготимся, копаемся, все за что-то сражаемся, все на что-то рассчитываем, а завершаем вот так. И везут тебя под вой пурги к твоим предкам, и ты, леденелый, колотишься на ухабах о доски, а тебе уже все равно. Знал ли ты хорошую жизнь, да и что такое хорошее? Один мудрец сказал, что каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Возможно, и больше прав тот, кто стоит не за то, чтобы втягивать человека в сражения за расширение благ, ибо потребности безграничны и гонка за ними создает натуры воинственные, в конце концов, аморальные, а за то, чтобы уметь себя строить в обычных пределах, учить человека жить по-человечески, пониманию и умению пользоваться высшими ценностями жизни, такими, как личное достоинство, самостоятельность, устремленность к добру. Мать прожила свое очень просто, и счастье-несчастье ее просты, но и сложны в своей простоте. Просто пала овечка, заболел ребенок — это несчастье, но ведь мир-то, она

знает, от этого не обвалился, все и после нее пойдет своим чередом. Жить на природе вместе с птицами, пчелами — это счастье; счастье — видеть, как одно поколение сменяется на глазах у тебя другим...

Мерин спустился в Лисову балку. Вроде где-то слышался плач. Алексей завел назад голову и уже в мглистом светящем воздухе различил что-то темнеющее, живое: человек.

— Стоп! Тпру, тпру-у! — дергал вожжу Алексей.

Прямо перед собой он увидел лицо, молодое лицо, девичье. Щеки мокры от метели, а может, от слез? Плечи вздрагивают, плачет девушка.

— Чего тебе? — спросил он ее, еще не совсем отвлекшись от мыслей.

— Заблуди-и-илась, — подала она голос.

Губы прыгали, не слушались ее. Он вспомнил, как где-то тут замерзли, прямо у себя в огородах, вот так две студентки, и подвинулся, уступил ей местечко:

— Ладно, голубка, садись.

Она легла боком между ним и Дарьюшкой, потому что лечь можно было лишь так. Алексей почувствовал через пальто ее тело, подумал: «Какая толстючая». Меринок пробирался привычной дорогой, пассажирка молчала, и Алексей опять предался своим размышлениям. Он стал восстанавливать в памяти одну интересную мысль из Мишеля Монтеня, которую собирался вставить в доклад на предпосевном слете механизаторов. В прошлый раз сказал им из Гельвеция, за что его высмеял председатель райисполкома: как же, люди тебя поняли. Теперь он вставит к слову Монтеня. Ничего, поймут. Кажется, у него это так: «Философы древности вызывали к себе зависть, поскольку они возвышались над общим уровнем, пренебрегали общественной деятельностью, жили отчужденно, на свой собственный лад, руководствуясь несколькими возвышенными и не получившими распространения правилами. наших педантов, напротив, презирают за то, что они ниже общего

уровня, не способны выполнять общественные обязанности... «Силен мужик», — едва успел заключить Алексей о французе-философе, как розвальни на голом, продуваемом месте пошли в раскат.

— Ах, — вскрикнула его пассажирка, и сани вывалили их в снег вместе с гробом, попоной. Крышка так и отлетела.

— А-а-а!!! — заорала в ужасе девушка и бросилась куда-то бежать, упала лицом в снег.

Алексей поставил сани опять на полозья, уложил мать обратно, накрыл крышку попоной. И только тогда подошел к пассажирке.

— Чего орешь, дура? — Только так, пожалуй, можно было ее успокоить. — Чего орешь? Ну, везу на кладбище мать... умерла... Знаешь Дарьюшку с Мыса Доброй Надежды? Ее все тут знают. Вечная бабка, а умерла, — наклонился он над лежавшей. — И потом я же тебя не звал, сама напросилась. А то, думаю, еще замерзнет, а ты всю жизнь после терзайся... Эх, Елки ты Палки, — поворачивался к мерину Алексей и качал головой укоризненно. — Что ж ты вывалил нас, бродяга?

Девушка перестала кричать, села на снег, молча смотрела на Алексея.

— А я тебя знаю, — пригляделся к ней Алексей. — Ты в Бузулуке возле Клавы Плетневой живешь. Ты тогда еще, правда, кнопкой была... Помнишь, к Клаве ходил рыжеватый такой — это я. А это мать у меня, Дарьюшка, в городе померла... А тебя как зовут?

— Феня, — едва продыхнула она и вдруг скорчилась, перевернулась лицом вниз, опять закричала.

— Да чего ты, чего? — суетился возле нее Алексей.

— Ой, — взмолилась она, — ой-ой-ой! Ох, дурной, непонятливый... ребенок у меня... рожая...

— Рожает? — растерялся он. — Как рожает? — И вдруг догадался: «Так вот почему толстючая»...

Побежал, подогнал прямо под нее меринка, погрузил ее в розвальни и шел сбоку, погоняя вожжой, наклонялся, нашептывал что-то хорошее, ласковое и для себя непонятное.

Вот и хутор, вот хата. Запалившись, толкнул дверь, она без труда отворилась. Схватил с гроба попону, сдвинув при этом крышку. Дарьюшка лежала островатым личиком вверх — наконец-то в своем дворе, следила за сыном, как он, не дыша, боясь сдуть волосы с носа, вводил молодую женщину в сени. А снежинки падали на Дарьюшку, во впадины глаз, таяли и не таяли, наливали впадины снеговой водой.

Он положил Феню на коник, набросил попону, кинулся к печке. Нырнул в печку, выкатывал чугушки, открывал вьюшку. Каждый раз, то выбегая с ведерком к колодчику, то пролетая обратно с охапкой дровец, он взглядывал на Дарьюшку: «Прости, мать, я сейчас, погоди».

От печи пошел теплый дух, в чугушке заклохотало. Наткнулся в сундуке на холсты, рушники с петухами («готовила мать приданое, возможно, мне»). Вытянул на загнеток чугунок с водой, плеснул в таз, паром швыркнуло в потолок. Вымыл руки с мылом, даже лицо. В горницу — на Фенины стоны — шел на цыпочках...

Родилась девочка. Маленькая или крупенькая — кто ее знает, но потому, как от первого крика закачалась на окне паутина, Алексей решил: сильный ребенок.

После всех мытарств Феня с дитем лежали, пригревшись, без всяких движений. Спали. Только теперь, когда рассвело, Алексей смог разглядеть гостью получше. Спокойная, строгая, с синими кругами в подглазье. Русые косы поперх одеяла до самого пояса, брови дугой и вразлет. «Красивая», — решил Алексей, и что-то толкнулось в груди.

Поднималось солнце, красный зайчик пополз по стене, Алексей думал о матери, но отойти не решался.

— Спасибо вам, — услышал он Фенин голос.

Когда она приложилась сухими, горячечными губами к стакану, он мягко спросил ее:

— Муж-то где? Кого вызывать?

— А нигде, — выдохнула она. — Никого не надо. — И отвернулась.

— Так. Понятно, — сказал он и вышел в переднюю.

Мерина во дворе не оказалось. «Еще номер, — оторвалось сердце. — Этого еще не хватало. Не привязал, дурак, — ругал себя Алексей. — Чего стоило кинуть вожжи на куст».

Побежал по следу. Мерин ушел недалеко: в последний раз провез Дарьюшку по всему хутору в конец бывшей улицы, к бывшему колодчику у трех ядреных ключей. Его так и называли тогда — колодчик «У трех ядреных ключей». «Прости, мать», — дрогнуло все в Алексее. Ухватил вожжи, привел возок снова во двор. Втащил гроб в переднюю, поставил на стол: мать должна попрощаться с хатой. Оправил на ней все, как надо, присел, положил голову на краешек гроба.

Часа через три Феня пришла в себя: конечно, молодая и сильная. Прежде чем снова забыться, она спешила сказать ему что-либо о себе.

— Закончила школу и поехала поступать, — горячо дышала она. — Я жила у них на квартире, он мне нравился. Вот и все... А потом я жила у одной женщины. Просто женщины. Познакомилась с ней на улице. А потом она стала... ну, в общем, чтоб он женился на мне, и тогда я ушла. Я шла к маме сегодня... домой. И решила заблудиться и...

— Не надо, Феня, — сказал Алексей. — Ты лучше молчи, твоей девочке вредно.

— Хорошо, — сказала она и отвернулась.

В сенях загремели ведрами, чертыхнулись — то был голос Фадеяча.

— Эй, хозяин! — ступил за порог «пропускная способность». — У меня все исделано. — И, увидев на столе Дарьюшку, поспешно стянул шапку.

— На,— подал Алексей ему бутылку и деньги.— На-ка, брат, помяни.

— А ты как же? — спросил Фадеич его так же шепотом и показал глазами на горницу: — Там что, жена твоя, что ли, с дитем? А говорили, ты закоренелый, весь в сук ушел.

— Тихо ты! — взял за плечо его Алексей.

— Да, верно, верно,— закивал Фадеич и, развернувшись, поклонился гробу.— Земля тебе, Дарьюшка, пухом, хорошим была человеком, трудовым. Последняя, значит, из хуторян.

— Последняя, говоришь? — сказал Алексей и задумался. Помолчали.

— В общем, того-этого, так,— заключил Фадеич.— Завтра приду, кой-кому из села скажу. Помянем честь по чести. Разве ж мы нехристи? Этикет людской знаем.

День клонился к закату. За оконцем откапелилось. Март есть март, голубой месяц марток: днем на солнышке снимешь последнее, ночью наденешь все сорок одеж. «Значит, без мужа она, незамужняя»,— пришло Алексею на ум.

С погоста прошел народ. Заметив дымок над трубой, заглядывали к ним, присаживались перед Дарьюшкой на табуретку, вздыхали молча и так же со вздохом молчком уходили. Вдыхали и по Дарье, и по себе, по хутору Мыс Доброй Надежды. Кто знает, о чем кто вздыхает, когда встречается с нею, косою, со смертью?

Алексей завесил проем одеялом, чтобы не глазели, а Фене сказал, чтобы, мол, не выстуживать, тут натолено, а там, в передней, должен быть холод.

— Как вашу маму звали? — услышал он Фенин голос уже после заката, когда из углов надвинулись сумерки и стало жутковато.

— Зачем тебе, Феня? Ну, Дарьюшка. Если хочешь, Дарья Степановна. Только ее никто так не называл.

— Я назову так свою дочь. Дарья, Дарьюшка, девочка

моя, моя маленькая, реснички черненькие, глазки кругленькие, что мы скажем дяде? Скажем: спасибо, дядя...

— Зови меня Алексей.

— Просто Алексей?

— Алексей,— пожал он плечами и вышел на улицу.

К ночи заходило. Узорчатой пленкой стянуло у завалинки лужицу. Дали разъяснились, проголубели. Он вдохнул, захватил воздуху в легкие до отказа. Вспомнились слова доктора Филиппова о пневмонии у матери («тут бы, пожалуй, ее не подхватила»), и в совершенно ясной голове прорезались слова того же философа, что жил в давние времена, Мишеля Монтеня: «Жить надо согласно разуму. Надо не выигрывать битвы и завоевывать земли, а наводить порядок в обычных условиях»...

«И прежде всего в себе»,— подумал Алексей, сломил с крыши сосульку и протянул ее в рот. Всю ночь он просидел перед гробом матери.

### III

Солнце вроде бы стало больше в его однокомнатной. Феня перестирала все занавески, хваталась за одно, за другое, призывала Алексея на помощь. Алексею нравилось подчиняться ей в разных мелких делах. Он ловил себя на мысли, что ему теперь интересно быть дома, сидеть у кровати, утопающей в белом, слушать, как гулькает с Дарьюшкой Феня.

— Время идет,— сказал он как-то Фене,— а девочка, мать, не записана. А у нее должны быть имя, отчество и... фамилия.

Феня взглянула на него, ушла на кухню, ничего не сказала. В субботу они появились в загсе.

— Пишите: Дарья Алексеевна Шевардина,— поклонился он к той, что заносила сведения.— Шевардина! — повторил он с ударением и держал при этом Феню под локоть, Феня держала сверток с Дарьюшкой.

— Какая звучная фамилия,— улыбнулась та, что за-

писывала.— Славная, боевая: Бородино, Шевардинский редут...

— А может быть, она от другого Шевардино? — смотрел Алексей на Феню («какие у нее длинные, загнутые ресницы и брови вразлет»).— От того Шевардино, что в нашем районе... Ну вот и все, Дарьюшка,— заглядывал Алексей к Дарьюшке и чмокал веселеньким глазкам губами.— Видишь, Дарьюшка, в графе «место рождения» хутор Мыс Доброй Надежды. Теперь ты у нас полноправная гражданка, последняя из хуторян...

В тот же вечер с шампанским нагрнули к Алексею друзья:

— Во колдун, во тихоня. Пошептал, пошаманил — и семья тебе с полным комплектом.

— Долго ли умеючи,— неловко отшучивался Алексей.

На ночь, как обычно, установил себе раскладушку на кухне, заложил руки за голову, улыбаясь, смотрел в потолок, по которому метались блики от проходящих машин. «Она такая молодая,— говорили им в спины женщины в каком-то дворе, когда они шли из загса.— А он такой... мужественный».

Когда мы молоды, думал он, мы стремимся стать на ноги, скорее-скорее, вперед, и в этой гонке прогоняем лучшие годы. Ты и теперь говоришь себе, что не хочешь семьи, что она вяжет по рукам и ногам, забирает лучшие силы, ты и теперь готов отвернуться от женщины, к которой тянешься всем сердцем... Лицемер, убиваешь в себе лучшие чувства...

Сегодня был выходной. Алексей собирался прошпаклевать и покрасить окна: «Маленькая, но семья». Раздался звонок — на пороге стояла... Клавдия. Алексей едва не выронил кисть, не знал, что и предпринять. Стоял перед ней, стояла она перед ним — блондинка по моде, приятная, темного уставшая женщина.

— Пришла вот поздравить. Ты, говорят, с Феней теперь, с нашей соседкой...

И все заглядывала в комнату через плечо, все заглядывала.

— Да-да, спасибо, спасибо, — медленно приходил в себя Алексей.

От Клавдии пахло сильными, возбуждающими духами. Алексей отвернулся и тут же почувствовал на своей шее руку, горячее дыхание ударило в губы. Он увидел ее совсем близко и — отпрянул.

— Ну что же ты, кавалер? — подобрала она свои полные, капризные некогда губы и отступила на шаг. — Женщина хочет тебя поцеловать, а ты... как институтка... Ну, и как ты с ней? Ничего? Расписались? Хорошо, что такая разница в возрасте. У вас будут сильные, умные дети, — вздохнула она. — От матери — сила, здоровье, от отца — ум, таланты... Плохо быть одиноким, Алеша. Прощай.

Едва захлопнулась дверь, из комнаты к нему шагнула порывисто Феня, прижалась к груди, положила голову на плечо. Алексей нашел ее губы, они были туги и послушны.

Сев в этом году закончили рано, сено еще не косили. Не уйдешь сейчас в отпуск — жди глубокую осень. Скорей же, пока отпускают, на травку, домой, на Мыс Доброй Надежды. Обычным рейсовым автобусом подъехали до Бузулука, от Бузулука их подвезли на машине. Все втроем пошли сразу на кладбище. Травы были по пояс, в цвету. Материна могилка еще не просела; на пустую, комковатую землю налезал подорожник, цвели дикие скабиозы, к изголовью клопились поднебесные капли, вроде как слезки, — голубые звонцы-колокольцы. Алексею вспомнилось, как лежала мать острым личиком к небу и снежинки падали ей на прикрытые веки, наливали впадины влагой. Какого цвета были глаза у матери? Неужели не помнит? Кажется, такого же, голубовато-небесного. Он взял в ладонь ком земли, размял.

— Здравствуй, мать, — склонил голову Алексей. — Я пришел к тебе, видишь? Мы пришли к тебе с Дарьюшкой.

*Хутор Шамардин*



Знать где упадешь, подстелил бы соломки. Не увяжись три мушкетера — Степка Изотов, Генка Троян и Толька Харский — с другим пятым классом на прополку колхозной картошки, не попали бы в «минированный подлесок», не случилась бы с ними та трагическая история, которые время от времени еще происходят в наших, когда-то прифронтовых, местах.

То поле — прямо за поселком Хорунжий, гоны на три километра. Генка Троян, известный шкода, когда надоело гнуть спину, стал приставать к Ираиде Васильевне, не ихней классной руководительнице, историчке, почему да почему поселок носит такое название. Сперва Ираида Васильевна всерьез было стала рассказывать, что, мол, царь переселил сюда с Дона казаков для удержания крестьян в узде, потом видит, что Генка не слушает ее, а сделал моток — «узду» из луговой овсяницы и набрасывает на шею визжащим девчонкам, взяла и прогнала Генку из борозды. И вообще домой. За Генкой смотался и Толик Харский со своим кобельком рыжим фокстерьером Пиночетом, а что оставалось Степке?

В «минированный подлесок» они попали случайно: среза́ли путь и набрали на закрайку. Пинька, кобельек Толькип, в траве утонул, белые уши мелькают. Здесь тeneвато, солнце глаза не режет, земля под березами мягкая, волглая, пятка так и просаживается. А запах-то, запах! Слов-

но какие конфеты. Висят вдоль овражка белые шапки таволги, шмели с одной на другую шапку, как парашютисты: «жж», «жжж». Голова от запаха кружится. «Минированный» подлесок зовут по привычке, хоть он давно уже лес, почти сомкнулся с матерыми лесами, уходящими к синему горизонту. Подлесок этот, слышал Степка, сам взялся давно еще, после войны, когда не было сил пахать околелесную землю. Зацепился с семян и пошел. Потом пробовали корчевать, да два трактора подорвались на минах. Так и живет, крепчает, тянет березы к небу «минированный подлесок», железо в земле теперь перегнило, прахом стало, с червями смешалось.

Млеет на густеющих травах зной. Вот уж с неделю как оборвалась прохлада, ночью и то духотища, а днем сухой, распеченный воздух так и впивается в приземные слои. Пинька высунул мокрый язык, белые гвоздики-уши опали, рыжие бока ходуном ходят. Горячий порыв хватанул Степке щеку. «Дождичка бы обложного, — оглядывает он обстоятельно небо: на излете тает кусочек ваты. — А то рожь как раз наливается, будет запал, пустоколосица». За спиной у них поле — клевер, красно-малиново аж до самого хутора. «Подь-полоть, подь-полоть», — отсвистывает один перепел. «Пить-подать, пить-подать», — отвечает другой. А березы шелестят, шелестят и бежит рябь по лицу...

— Эге-гей! — кричит Толька откуда-то снизу. За лощиной глубокий овраг. Раздвигается, ширится, переходит в лесную поляну. Голос Тольки опять впереди, залиivist лай его рыжего Пиньки. И вдруг у Степки даже волосы дыбом, наваждение какое-то, прямо сон, мертвое царство: в «козлах» винтовки — обомшели, заросли лопухами, крапивой. Чуть подальше одна автомашина, вторая — кабина отдельно, проросла лозняком. Танк уткнул пушку в землю. Еще танк... И холмики, холмики... «Ого, — озирается Степка, и в сильном волнении чувствует, как липнет к телу рубашка. — Разбомбили или бой был?»

— Смотрите, что здесь, смотрите! — Это голос Тольки Харского.

Взрыв швыряет Степку на танк. Все вертится перед глазами, тонкой сталью отзванивает в ушах.

— А-а-а,— Степка видит бегущего Тольку: тот держится за живот, что-то вываливается из-под его пальцев, Толька подхватывает на ходу, бежит, согнувшись, зажав руками живот, а султаны таволги колотят его по рукам, по ногам, и мелко-мелко сыплется цвет.

— А-а-а!

Ужас охватывает Степку: красное на Толькиных пальцах — кровь, белое — то, что вываливается из него, Тольки. Толька падает, дерг-дерг плечом и больше не поднимается. Все. Задрав острую мордочку, задичало (так, что мороз по коже) воет маленький Пинька.

Генка, кажется, ранен в правую ногу. Сидит, привалившись к березе, хватается за ногу, и слезы капают с подбородка.

Степка ощупывает себя: пронесло.

— Генка,— кидается он под березу,— я сейчас... это мигом.

Генке разворотило ступню. Степка сдергивает с себя штаны, разрывает трусы на полоски, стягивает Генкину рану. Кровь перестает хлестать. А воронка уже не дымит, но еще воняет чем-то тошным, прогорклым. Подсеченная, валяется тут же пышная ветка таволги, сыроватые, темные комья разбросаны по траве. Над Толькой уже выются зеленые мухи. Надо куда-то идти, звать на помощь, бежать.

— Степа,— смотрит умоляюще Генка,— Степа-ан.

Степке становится страшно.

— Погоди, Генка,— смахивает он незаметно слезу.— Погоди, я сейчас.

И оттаскивает под дуб Тольку Харского, рвет и кладет на него лопухи.

Налетел неожиданно шквал, полыхнула молния, и все

исчезло за плотной стенкой дождя. Молнии бьют беспрерывно, Степке кажется, что одна ударила им под ноги, но попала в макушку высоченной сосны, макушка так и отлетела. Что-то белое, увесистое, чем дождь, заколотило по Стенке, и стало шумнее, белые шарики, похожие на таблетки аспирина, запрыгали по упругой траве...

Они идут уже третьи сутки. Тучи опять улетели, и снова духота. Солнце бьет на восходе в левый глаз, на исходе — в правый. Матерый лес тянется, тянется, неизвестно, где и кончается. Ясно, они заблудились. Надо идти в одном направлении, отыскать узкое место, перерезать лес, выйти к опушке, на поле. Был бы Пинька овчаркой, поумнее маленько, привел бы домой.

Вчера Генка казался сильнее, шел, опираясь с одной стороны на него, Степку, с другой — на дрын из выломанной Степкой лещины. Ночью Генка спал плохо, все всхлипывал:

— Как же мы с тобой, Степ, тете Варе покажемся? Что мы про Тольку ей, а?

— Спи, Генка, — приказал ему Степка. — Спи, набирайся силенок.

А сегодня Генка совсем ослаб, идти вовсе не может, хоть ложись, да и помирай. «Как же я твоей мамке на глаза... если что», — сваливается Степка рядом с Генкой на роздых. Степкины руки гудят, ноет от тяжести бок. Ему представляется, как бурлит сейчас там все село. Отбурлится, как решат, что погибли. И тогда Генкина мать, Генриетта Владимировна, их учительница по литературе, зарыдает по Генке, сыночке единственном, обхватит лицо руками и свалится наземь, едва водой откачают. А вот о нем, Степке, дома едва ли заплачут, еще и скажут, сам, дурак, напоролся. Вон у них какая семья, и без него «пистолетов» хватает. И только батя, пожалуй что, зайвится с ремонта комбайна, присядет к столу, утопит небритые щеки в ладони, бухнет о стол кулаком... Жалует батя его, сажает к себе на трактор...

О Тольке Харском там, под лопухами, Степка не вспоминает: боязно. Надо Генку тащить, тащить надо Генку. А Генка совсем заплёшал. Да и заплёшаешь: два меньших пальца на разможенной ступне отекли, почернели. Чего доброго Антонов огонь приключится, тогда все, каюк. Степка кладет на рапу подорожник за подорожником — мощные с прожилками листья, утягивает вчерашними, выстиранными еще с утрца, «бинтами» ступню.

— Пить, — шевелит Генка спекшимися губами, — пить.

Степка туда-сюда — ни ручья, ни колдобинки. Набирает земляники в ладошку, сует Генке, Генка отводит руку: воды. «Еще и умрет, не напимшись», — сжимается Степкино сердце. Стой, а как пили с батей однажды на сенокосе? Сбоку от Генки, у комеля, Степка раздвигает сухую траву, прошлогодние листья, приподнимает мох: на глине блестят лужицы влаги.

— Пей, — с облегчением вздыхает Степка.

Певчие птицы совсем замолчали, и соловьишко не щелкнет. Одних ломят заботы о детях, другие откладывают яйца еще раз; так и идет все своим чередом. Лето на самом взлете, зорька с зорькой едва не встречаются. Вчера вечером небо лишь отгорело, а через каких-нибудь два-три часа, уже утром сегодня, опять зарумянилось; так и идет все своим чередом. «Как же все будет, если не станет нас с Генкой? Изменится что-нибудь?! — заходит в голову Степке мысль. — С недельку вот так поплутай, и крышка. И будем с Генкой лежать в лопухах, как Толька Харский. И никто не узнает, где мы и что с нами... Небось, не помрем, — прогоняет Степка дурное из мыслей. — Небось, уже с ног сбились, ищут. Обрыскали половину района. И куда это, мол, их занесло?»

— Бедный, бедный Робин, — подталкивает Степка во все кисшего Генку, — куда тебя занесло? Поднимайся.

Генка пытается сделать улыбку, приподнимается, падает снова на локоть:

— Нет, не могу.

Степка примеряется к Генке: тоже мне, горсть соплей, недомерок. И взваливает Генку на спину, а сам аж приседает. До опушки, до следующей поляны, теперь до той вон чертополошины.

— Брось меня, Степушка, — горячо дышит Генка, даже щекотно. У него, наверно, температура. — Брось, не мучай меня, дай помру.

— Ничего, выживешь, — пыхтит, пригибается Степка к самой траве, трава вертится перед глазами, звонко бухает в уши. — Ничего-ничего, выживем вместе...

Степка и сам теперь верит в то, что они дойдут, что он донесет Генку, дай вот только обвыкнуться. Как это помереть? Не может этого быть. Жить, быть живым, дышать, двигаться и вдруг помереть?

Без конца и края дорога, неизвестно, где кончится, не узнать, на каком подберут километре. Зорька ясна, умыта. Земля пропарена, дышит, лето какое парное. Скоро попрут грибы. Степка туда-сюда по росе. Земляничку — себе в рот, земляничку — в ладошку, Генке. И колокольчики, и ромашки-нивяники, дикие гвоздички, луговую герань, душистую смолку — все ему, Генке. Сколько всего, целый букет.

— Смотри, Генка, — выбирает Степка из букета хлопущку, зажимает пальцами дырку в чашечке, и сам себя хлоп по лбу с размаху, и сам же смеется, Генка ведет за ним пообмякшим взглядом.

— А то вот, гляди! — тормозит Степка Генку и показывает на желто-лиловые иваны-да-марьи: вытянулись длинными струйками вдоль муравьиных дорожек. — Семена тащили, во сколько раз тяжелее самих муравьев?

— Да ведь бросили, — прикрывает веки Генка, — потому и... дорожки.

— Ну ты, ты. Легче на поворотах! — топает гневно Степка, в другой раз схватил бы и за грудки. — Мокрица, мамешкин сынок, вырос на манке! Все тебе в рот кати-

лось, смоляного волка не видел: мамочка, дай, мамочка, отнеси. Не успел штаны износить, как другие уже... А поживи, как я, как другие, хватани кой-чего. А то припекло, и давай ртом мух ловить, помирать он собрался. Мол, как хошь, Степка, перекидывайся вслед за мной? А не выйдет, не дам, выживем вместе! А ну вставай, ну! Кого хочешь бросить — меня?

— Что ты, Степка? — пугается Генка и приподнимается, кладет руки на острые Степкины плечи.

Справа над лесом пролетел «кукурузник», чуть не срезал верхушку сосны. Не заметил. Но, значит, ищут, ищут! Главное — продержаться. Еще сутки, другие. Найдут.

Генка стал такой тощий, такой головастый, голова белобрысая на тонюсенькой шейке. И у него, Степки, должно быть, с голодухи в глазах разноцветные кольца. Зато в Генку вселились черти, гонит Степку скорее вперед, пока не помер, скорее, скорее к людям. А Степка больше не может. Все. Выдохся Степка.

Он ничком валится наземь, а когда приоткрывает глаза, опять вечереет, опять впереди целая ночь. Тяжело дышит Генка. Хорошо, что земля уютная, теплая. Начинают пищать комары, их целая тьма, и пищат, и пищат. Попали куда-то в низину, в болото. Сразу за ракитой стоячие воды и, однако ж, красиво. Степка расталкивает Генку, усаживает его спиной к раките, лицом на закатную воду. Вот в мелководье, у самого берега, пучок крупных лапчатых листьев, высветляется один — белое крыло, белокрыльник. Чуть подальше розоватые листья, узкие колоски — это водяной тысячелистник. Нет-нет, да и метнется меж листьями, как на поплавах, жук-плаунец, пустит круги головастик с уже отросшими задними лапками. А от комарья-пискунья никакого спасения. Генка весь в волдырях, были бы спички, отогнали бы насекомых дымом.

Степка нащупывает в кармане кусок изоленты (чего только не бывает в ребячьих карманах!) Только хочет

поднять Генке свитер и закрутить на затылке на сон грядущий — от комарья, как вдруг в малиннике видит желтые живые комочки — лисенята. Степка толкает Генку, Генка открывает глаза. Вот за пнем мелькнула рыжая молния, задрала острую мордочку сама мамаша — лиса. Легла, наблюдает, как лисенята крадутся к полупридушенной куропатке, бросаются из-за малинника, урча, валятся на спину. У Степки с Генкой начинает бурчать в животе — набито что попадя: ягоды, сладкие дудки, анис.

— Ав, ав, ав! — словно с неба, падает Пинька.

В последний миг мамаша-лиса успевает схватить куропатку, Пинька с лаем мчится за ней.

— Надо же, звал как собаку, — Пиночет! — говорит Степка, и впервые за эти дни думает о Тольке Харском как о неживом.

Степка просыпается от подвизгиванья: Пинька рвет на части ужаку. Степка поднимается, вдыхает поглубже свежего, утреннего лесного воздуха. Солнце уже поднялось, в стоялой воде, между зарослями, перекрякиваются утиные выводки. С куста на куст перепархивает стайка молодых дроздов. «Черные дрозды», — примечает Степка, значит, где-то поблизости поле. Он снова втягивает на спину Генку. На восходе солнце должно бить в левый глаз, на закате — в правый... Но что это? Узкоколейка. Степка бросается к рельсам — ржавые. В Медведево об узкоколейке не слыхивали. Далеко же они отбились от хутора Хорунжего, от родных мест.

Степка тащит Генку по узкоколейке — должна ведь куда-нибудь вывести? По обочинам — травостой, все слито желтым: ятрышник, иван-да-марья, куриная слепота. В одном месте травостой прерывается — выкошено. У Степки даже дух заняло: ну вот где-то близко и люди. Он брел к ним из последнего, сил нет, дальше не может.

— Люди-и-и! — пускает Степка голос вдоль узкоколейки, эхо его возвращает обратно.

Он и сам не поверил, когда в сотне шагов, за поворо-

том, под насыпью, засерела избушка. Избушка пуста. Зато в ней какое хозяйство: ржавый поломанный ножик, топор без топорща, в фанерном ящике сорок одна штука пожухлой картошки, щепоть соли, пять пригоршней крупы и семь спичек в коробке. Под порогом валялся худой котелок. Ничего, жить теперь можно. Чья хоть избушка? Егеря или путевого обходчика? Положив на порог Генку, Степка принимается ремонтировать инструмент. К вечеру сгандобил из досок лежанку, настелил сена, теперь Генке будет здесь хорошо.

Стороной проскреб макушку леса серебряный вертолет. Степка метнулся через порог, закричал. Зря. Опять откуда-то взялся Пинька. Сидит поодаль и воет, протяни руки — шарахается. А Генка помирать взялся всерьез. Лежит с заострившимся носом, ногу разнесло под коленку. Степка клянет себя за то, что вовремя не спросил у бабки травы от жара. Всегда так, распинаешь себя в пустой след...

Кормить Генку надо. А он ничего уж не хочет, даже картошки. Степка шныряет по закрайке — грибов сколько. Колосовики, подосиновики, сыроежки, даже белый гриб — всем грибам полковник. Славный суп будет Генке, я те дам да набавлю. Степка варит на улице, а сам в дверь все говорит, все рассказывает, что за день увидел. Идет утром по узкоколейке — перо, серое такое, в рябинку. Тетеркино, чье же еще? Тетерка сейчас перо теряет. Как увидела его, Степку, так команду своим цуценятам, те припали к земле, бурое к бурому, затаились. А то напнулся на лосиху с лосенком — пришли проведать избушку, глядят из-за той вон елочки...

— Ох, и врешь же ты, Степка, — тяжело дышит Генка и приподнимается, чтобы взглянуть из оконца на елочку, но в бессилии падает. — И чего врать?

— Ну, может быть, и не тетерки, а утята или глухариата, — соглашается Степка и пробует суп ложкой, выстроганной из дощечки.

К ночи Генка впадает в беспамятство. Когда приходит в себя, смотрит прямо перед собой:

— Уходи, Степка. А то оба помрем, уходи.

— Ну чего ты, чего? — подносит ему Степка в котелке кипяченой водицы. — Вот увидишь: выживем вместе...

Степка сидит, караулит каждое движение Генкино, каждый вздох. Временами ему начинает казаться, что не только лосиха — медведи наблюдают за ихней избушкой из-за той же вон елочки. Был бы Пиночет овчаркой, а не фокстерьером. Сидит на пороге и воеет. Бабка говорит, животная первой чует смерть. Степка до ужаса, до смерти боится, что случится что-нибудь с Генкой. Отойди от него, и случится.

— Знаешь, Генка, — усаживается Степка на краешек лавки и ждет, когда же, когда посинеет окно. — Нет ничего хуже, когда человек остается один. Бабка наша рассказывала, уходили раньше в скиты... ну, как мы с тобой... в такую избушку. Надоедят люди, и человек уходит. Живет себе бирюк бирюком, все думает, вспоминает... Как это быть одному, а? Что человек — животная, что ли? Ему, чай, не звери, а люди нужны... А то мой отец, Елизар Спиридоныч, рассказывал, как фронт переходил. Вот так, как тебя, шибануло его, а зима лю-ютая, а идти через немцев к своим целых тысячу километров. Ну он и пошел — где на локтях, где на животе...

— Тысячу? — качается в полусознании Генка. — А говорил, твой отец — тыловая крыса.

— Тыловая, — вздыхает Степка, а у самого все дрожит, глаза покалывает. — Только все равно что на передовой. У них в складе армии были снаряды, их всю дорогу бомбили... А какие ночи сейчас — ой-ой-ой! Слышишь, как растут и скрипят грибы, слышишь? Я вчера скрипуна такого прицелил под елочкой, да не сорвал. Что губить: нехай подрастет. Я те завтра, Генк, картошки с грибами напарю...

Воспоминание о еде пробуждают у Степки желанье

поест. Степка прикладывается к котелку, пьет, крупно толкая кадыком, тепловатую воду и сплевывает.

— А по оврагам, по сечам шиповнику-у — тьма, — продолжает он. — Как пойдут следом — малина, калина, рябина. Живи, ешь не хочу... Теперь уж сенокос загудел, теперь уже точно найдут нас с тобой, обязательно. Только, наверно, нашли, он же с краю... И как мы с тобой дали маху? Мне-то что — ничего, мои батька с мамкой еще нарожают, батька говорит, будет бить до героя, а вот ты у мамки единственный. Мы с тобой домой как заявимся, не знать будут, куда усадить. Ничего, любить больше будут, а то чуть что — за ремеш. Вовка тарелку разобьет — меня за уши, мол, не углядел. Танька обмочилась — опять мне по шее, потому я же старший. Жизнь, Генка, скажу тебе, у меня не малина... эх, а все равно интересная, они же все ма-аленькие, мало чего кумекают. Мамка на ферме, батя на тракторе, бабка глухомятная, злая — чуть что уши выкручивать, так они все ко мне, ко мне. Как утята. Или эти... ну как их... тетерки. А Пинька чего-то все воет и воет. Хоть бы скорее светало. Как рассветет, так пойду порыскаю в ручейке пескарей. Я вчера еще кубарек сплел, заброшу разок-другой-третий — на уху нам с тобою и хватит... Слышь, тритоны трубят? Вот такусенькая мелкая тварь, а гляди, на весь лес, ажник жутко... А Пинька чего-то и воет и воет...

Синева начищает пробиваться в оконце. Опять небо без единого облачка. Утро быстро набирает силу.

— Пойду сейчас и заброшу кубарек, — вздыхает с облегчением Степка. — Тебе, Генк, каких больше — пескарей или голавликов? Чего молчишь? Чего, Генк, больше любишь, а, Генк?

И вдруг Степкин взгляд падает ему на глаза. Они поставлены в одну точку.

— Генка! — кричит в ужасе Степка. — Геночка, не умирай! — и хватает, дергает Генкину руку — рука так на весу и закачалась. — О-о-о-й, — пятится Степка к порогу.

Бежит по шпалам, сзади кто-то по пяткам, по пяткам. Вот-вот у Степки сердце вывалится, хлопнется, разобьется о рельсы. Он хватается за грудь, уминает его, уминает. Смотрит на пальцы — не красные? Смотрит на повизгивающего сбоку Пиньку — не красный? Из-за поворота навстречу мчится дрезина. И люди навстречу — батька его, директор и та, не ихняя, классная руководительница, и Генкина мама...

Вот какие истории иной раз еще получают в нашей когда-то прифронтной полосе.

*с. Хотимль Кузьменовский.*



Да был ли отец? Был, был. Все получают отцов одинаково, теряют — по-разному. Даже если в это вмешалась война.

Сердце у Мерцаловой Лиды заколотилось, когда в райвоенкомате ей сообщили: «А ваш отец жив». И дали адрес. «Не может быть, — пыталась собраться с мыслями Лида. — Этого быть не может». Но фамилия, имя, отчество, год рождения — все совпадало.

Лида приехала сюда, в Красные Рябинки, по делам: вот уже с полгода она хлопотала для себя пенсию, и для ускорения дела ей посоветовали взять справку с места призыва отца. «Такая молодая и уже на пенсию», — сочувствовали ей работники химической лаборатории, провожая в дорогу. Не все на заводе знали, что несколько лет назад она перенесла операцию на сердце, что сейчас у нее обострение. Лида не очень любила распространяться о себе, о той доли, которая выпала ей и двум ее братьям, потерявшим в войну родителей.

Сразу же выйдя из военкомата, Лида хотела дать отцу телеграмму: мол, нашла тебя, приезжай, но, подумав, решила не горячиться. Прежде надо сообщить о радости братьям, а уж потом действовать всем троим сообща.

Возбужденная, Лида вернулась к себе в Запорожье, оформила отпуск, документы на пенсию и лишь после это-

го собралась в Речицу — в один из городков срединной России, где в детдоме прошло у них с братьями детство и где те по сей день жили семьями: старший, Петр, работал бухгалтером в райпотребсоюзе, младшенький, Николаша, учительствовал.

Лида остановилась у старшего. Отдыхала, ходила в луга по ягоды и щавель и все думала, как свалит свою новость на головы братьям. Волноваться ей было нельзя, но она ничего не могла поделать с собой: была то радостной, с лихорадочным блеском в глазах, то неожиданно грустной. Все в доме ходили на цыпочках, а Петр с Николашей на нее прямо дышали. Она у них, говорили, была очень похожа на маму и внешностью, и характером. Светленькая, с нежным лицом. И так же, как мама, уже в молодые годы с разрушенным сердцем.

Ночами, приподнявшись на локоть, она подолгу смотрела во тьму, перебирала свою жизнь и жизнь братьев. Отца она помнила смутно: только то, как он взял ее в последний раз на колени, Петрушу потрепал по головке (Николаши тогда еще не было) и ушел навсегда. Потом почтальонка тетя Фиса принесла маме бумажку: «И до тебя черед, Митревна». Мама на сундук так и присела. «Все, дети,— сказала она,— отца у нас больше нет. Погиб наш отец под Варшавой». И, взявшись за грудь, стала раскачиваться на сундуке. Это было страшно, так страшно, что они, все трое, сбились в углу и не дышали...

Потом мама как бы очнулась, поставила портрет отца на столе; она так и не научилась плакать. Возьметса, бывало, за грудь и молчит, все смотрит на них. Потом не стало и мамы. Прямо с похорон тетка Гриппа, сестра матери, увела Лиду к себе, а братьев — Петю и Николашу — сдали в детдом.

— Сиротинушка ты моя-я-я,— плакала пад девочкой тетка Гриппа и водила ее на кладбище. Лида, как и мама, не плакала.

Когда она перешла в пятый класс, тетка Гриппа сказала, что ей пора работать. Лида уехала в Речицу, отыскала детдом, где были братья, и они стали жить вместе. Зашьет, бывало, Лида рубашку Петруше, Николаше перевяжет рассеченный в драке лоб. У всех детдомовских была одна мать — Родина, и отец тоже один — Карл Иванович Янсон, по-детдомовски — «папа Карло». Души у него хватало на каждого: на инвалида-завхоза, на воспитателей, на всех ребят, собранных здесь из семейных осколков.

Семья папы Карло погибла где-то в Либаве; здесь в России, он, уже пожилой и больной человек, приобрел невиданно сколько детей — истерзанных, отчаянных, истосковавшихся. Что только ни делал он, чтобы обогреть их, развеселить, приободрить. Так лихо со всеми отплясывать «яблочко» мог только он. Так бурно развивать идею создания детдомовского огорода и тут же идти сажать со всеми картошку мог только он. А сколько слез перед ним было выплакано, когда пришло время влюбляться, сколько доверено тайн.

«Папа Карло, родной Карл Иванович, как много ты значил для нас всех и, конечно, для «семьи Мерцаловых», как ты называл нас троих. И вот отец нашелся. Тот самый, единственный, единокровный»...

Воздух, речичские луга и перелески делали свое дело. Через неделю сон у Лиды налачился, лицо посвежело. Братья решили устроить семейный отдых на лоне природы.

В субботу на двух «ижках» с колясками, жезами и ребятишками они выбрались отдохнуть на лесное озеро Боровинка. Под крушиной расстелили скатерть и одеяла, расселись, кто как сумел. Всем нравился квас, приготовленный женой Петра Катей. Когда ребятишки рассыпались берегом, а женщины собрались за цветами, Лида глянула на братьев, вздохнула:

— А вы, ребята, оставайтесь...

Братья переглянулись, присели.

— Так вот, отец наш нашелся,— глуховато сказала Лида и вдруг улыбнулась.— Живет на Севере, в Архангельской области.

— Выходит, живой, не погиб.— Петр говорил, как всегда, обстоятельно, веско.— Что будем делать?

— Что будем делать? — Лида закинула руки за голову и засмеялась.— Да ехать же, ехать надо к нему. Всем троем.— И она рассмеялась мелким нервическим смехом, наклонилась, сорвала метелку кипрея, махнула ею перед лицом.— Когда он пришел с белофинской с рукой на перевязи, мама просто с ума сошла, не впала куда посадить. Как она любила его! Она и умерла не от трудностей, нет,— от тоски. Это как у лебедей: один погиб, другой жить не может... Нам надо ехать к нему, непременно. Сегодня, завтра, скорее!

— Лида,— сказал Петр, и они с Николаем переглянулись.— А ты не задумывалась, почему он нас не нашел до сих пор. Ведь он о нас похоронной не получал, ведь тетка Гриппа живет безвыездно в Красных Рябинках, мог бы ей и написать.

— Ну что вы! — тряхнула Лида коротенькой стрижкой.— Это же ничего не значит. Может, он был за границей... нельзя было...

— Да ведь не Штирлиц же, не кино... Не пять лет истекло,— вздохнул Петр и сел.— Говори ты, Николай.

— Да я что? — хмурился Николаша.— Я ничего... просто так... У меня и мыслей-то нет.

— А все война,— дрогнул у Петра голос.— Все она! Поразбросала семьи, в кучку родные до сих пор не собьются.

— Какая война,— озлился вдруг Николаша.— Война, война! Нечего все валить на войну. Война — это как бы лакмусова бумажка: выдержит человек, не изменит свой цвет? Вот наш отец жив...

— Маму жалко,— заплакала Лида.— Такая молодая была... Так любила...

— Вот наш отец жив, а другие... а-а,— махнул рукой Николаша. Ноздри его раздувались, в волнении он нагибал, нагибал березку до самой земли.

— Что ты хочешь этим сказать, Николай? — сдерживая себя, спросил Петр.

— А то, что он... что он...

— Он бы так не сказал об отце, если б жива была мама,— дрожали губы у Лиды.— Она бы ему не позволила... Да ведь нашелся! — зазвенел ее голос.— А мы тут сидим, рассуждаем. Ехать надо, всем троим, и немедленно.

— Нас как воспитал папа Карло? — не смотрел на нее Николаша. Славный, добрый братишка, мухи не обидит, что с ним сегодня? — Спешить друг другу на помощь! Боль другого чувствовать, как свою!

— Ну так.

— Так вот, я лично не вижу там боли,— отпустил Николаша березку, и она закачалась, закивала макушкой.— Не вижу смысла, как ты вот, Лида, говоришь... спешить на помощь. К кому спешить? Да он нас и не искал, мы ему не иголка в сене.

— Ты что-нибудь знаешь о нем? — придвинулся Петр к брату.— Говори.

— Да, знаю,— Николаша посмотрел в глаза ему.— Я был недавно там, в Архангельской области. У него, братцы мои, другая семья. Сыновья, дочери чуть моложе нас с вами.

— Имя, отчество, фамилия, год рождения совпадают? Но, может, другое место рожденья? — перешла Лида на шепот.— Место рождения, возможно, другое?

— Между прочим, оказывается, я на него, как две капли... похож.

— Как же так? — прислонилась Лида к стволу.— Она же его любила... она умерла... И он, он виновник маминной смерти? Нет, нет, этого не может быть. Тогда он просто плохой человек? Он не может быть нашим отцом?

— Успокойся, Лида,— держал ее за плечи Петр.— Успокойся. Мы напишем ему письмо, выясним обстановку.

— Только не я,— взмолилась Лида.— Ах, оставьте меня в покое!

— Пока же будем считать, что он у нас и не находился,— закончил Петр.— Зачем ворошить? Погиб на фронте, и все. Так лучше для нас с вами, для всей нашей жизни, особенно для Лидиной пенсии.

— Ну нет уж,— Лида высвободила плечо, вошла в заросли медуницы. Она успокаивалась, все становилось на свои места, не стоило из-за такого волноваться.— Я от него не приму ничего. Даже справки.

— Не горячись, Лида,— говорил замедленно Петр.— Это жизнь, в ней нельзя ошибаться... Я через другие каналы попытаюсь что-нибудь выяснить.

— Чего выяснять? — наклонилась Лида к крупному болиголову.— Николаша прав: мы не иглолка в сене. В Красных Рябинках помнят нас до сих пор.

Из-за Боровинки тянуло свежим сеном: сенокос уже начался. «Завтра же поеду в лесхоз,— подумал Петр.— Пусть, хоть сыпому, выделяют делянку. Живем в сельской местности, надо купить на две семьи хотя бы одну коровенку. Сено перевозим на мотоциклах».

Петр развернулся по ветру: к сенному духу примешался сильный запах цветов. Ясно-понятно, тянет па дождь. И ласточки ходят низом, ластятся к самой воде. Петр пригнул ветку жимолости: она была облеплена мошкаррой. И репейник растопырил головки. К вечеру дождь соберется. Дорог каждый погожий час...

— Ну так ты побывал у него? И чем он тебя потчевал? — обратился Петр к Николаше.

— Да ну вас,— отмахнулся Николаша.— И вообще я был у него не как сын, а как... как электромонтер. Электричество у них на столбу проверял.

— Ловко,— удивился Петр.— А ну, расскажи в деталях.

И Николай рассказал.

На станции он сел в попутку и через пару часов езды по ржавой болотистой местности — где гатью, где грязью почти до радиатора — оказался в поселке Колпачок. Какой-то алкаш у местной столовки разом охладил его пыл, сплюнув наземь:

— Мерцалов-то? Как же, знаем, живет на отшибе. Хоромы все в небо гонит, мансарду эту подстроил... А ты кто ему? Вроде похож на Мерцалова, а не знаю... Вот так пойдешь, этой улицей, потом болото справа, потом три сосны и речка. Да, у него одного тут хоромы, не ошибься.

Несколько смущенный такой аттестацией человека, к которому он стремился с замиранием сердца, Николаша шел в конец улицы уже нехотя. План созрел на ходу.

— Я из коммунхоза, электрик, — сообщил он какой-то женщине через калитку.

Загребели засовами, Николай проник за крепкий высокий забор и огляделся: клетки-подклетки, пристройки-надстройки.

— Чего там? — раздался сильный мужской голос из-за поленницы.

— Да вот с коммунхоза... электро проверяют, — нажимала на «о» щупленькая, на вид робковатая женщина, в сером переднике, в сером платке узлом на подбородке.

— Пусти его, — сказал обладатель сильного голоса.

Николай заглянул за поленницу. За ней на скамейке сидел хозяин — крепкий, еще не старый, держал ведро без дна и молоток. Не выдержал Николаева взгляда, опустил глаза. Снова поднял их, опять опустил. Больше не подпирал...

— По-моему, он узнал меня, — заключил Николаша. — И она поняла, стояла у печи, подперев щеку рукой. И смотрела, ну так на меня смотрела! А ничего не сказала... Я так думаю: что-нибудь получилось на фронте,

стыдно было домой показаться. И все равно, все равно не прощу. Ведь отец же, отец...

— Забудем этот разговор, — сказал Петр уже властно, как старший. — Как будто его, ребята, и не было.

После отпуска Лида возвратилась в свою лабораторию, и, когда ей передали, что звонили из райсобеса, просили дослать, в подкрепление остальным документам, справочку из военкомата, она откровенно всем обо всем рассказала:

— Нашелся у меня отец и... не нашелся.

— Лучше бы уж погиб, — посочувствовали ей. — А то теперь с пенсией как бы... того...

— Нет, почему же? — возражала Лида. — При чем тут отец? Я же ведь... сама по себе. Врачи ведь рекомендуют.

— Конечно, все это так, понимаем. Но надо знать жизнь, — соглашались одни, а другие взяли да черкнули письмецо в соответствующую инстанцию: мол, на каком основании пенсию выделяют такой молодой? Если из-за отца, так того не заслуживает, отец был, сама говорила, предателем.

— Разберемся, — сообщили Лиде из райсобеса и дело пока приостановили.

Лиде было стыдно и горько не за себя — за тех, кто посмел написать. Все нервы изорвут, измотают, и пенсию давать будет некому. Поехала бы, в крайнем случае, в Речицу и жила у ребят. А ведь Петр советовал не говорить об отце. Но разве возможно было считать отцом, как и прежде, того, который разрушил семью, убил маму? И она, Лида, обязана болезнью ему... Война — жестокая, кровавая, поломавшая судьбы. Он не выдержал, он укрылся от последствий за забором и тем обрек их, детей своих, на страдания. Нет, не может быть пощады ему за мамину смерть.

«Боже! Тем самым я отказываюсь от отца? — думала Лида. — Ведь это же неестественно, дико. Он ушел на фронт нас защищать, и мы ведь не знаем, что пришлось пережить ему там, на передовой, не знаем, как всем там

обернулось. Нет, нет, в предательство невозможно поверить».

Вскоре Лида снова приехала в Речицу, к братьям.

— Да ну ее к аллаху, твою химлабораторию,— сказал ей ласково Петр.— Мы тебе и здесь работу подыщем. Поезжайте с Николаем в Запорожье, привезите вещи, будешь жить у меня.

— А как же с моей комнатой? — слабо возражала она и уже с радостью думала, как прекрасно будет ей здесь дышаться чистым воздухом, пить родниковую воду, ходить в луга и перелески по грибы и ягоды. И опять они все трое вместе.

— Что комната! Ну забей ее, в крайнем случае, пусть квартирантов,— советовал Петр и улыбался.— Да мы тебе тут целый дом с женихом впридачу подарим. А что, и право, сосватаем...

Шел третий месяц Лидиной жизни в Речице. Она пила молоко от Клиентки, купленной братьями, набиралась силенок, все реже вспоминала нанесенную в самое сердце обиду. Весть о назначении пенсии по временной нетрудоспособности встретила как само собой разумеющееся. И, бродя по окрестностям, иной раз выходила к мосту на дороге со станции, с дрогнувшим сердцем встречала автобусы, вглядывалась в них, страшась и желая увидеть там, за стеклом, мужское лицо, так похожее на лицо Николаши.

По первому снегу в Речице появился новый человек, крупный и еще сильный мужчина. Он шел от автостанции, ставя ноги вразлет, вроде как на протезах, останавливал прохожих и спрашивал, где тут Гвардейская улица и где на этой Гвардейской живет кто-нибудь из Мерцаловых.

*с. Русский Брод*



По деревне прошелестела молва: Любка Крутилина родила негритенка. Эта новость вызвала в Клейменовой переполох, в каждой хате обсуждались Любкины действия. Знающие мужики уясняли: «Какого там негритенка — африканца. Эфиопа. Негры — те, что в Америке, завезенные». Бабы трещали свое: «Пигалица такая... моль... и пате вам, отчебучила. Так-то отпускать дочерей своих в техникумы».

Больше всех, конечно, поражена была Любкина мать. Ну вышла, писала Любочка, за какого-то там иностранца, господь с ними, любовь. А тут, — как сообщала в письме домой Дашка Медведева, лежавшая с ней в одной палате роддома, — родила черного, как смола. Агафья Степановна так и сомлела вся.

Через год Любочка примчала матери чадо и улетела тем же автобусом. Агафья Степановна взглянула на него, в белых простынях, так и присела, едва успела спросить:

— Нарекла-то как?

— А Степаном, — щебетнула Любочка.

— Степаном, — повторила Агафья Степановна и влага качнулась в глазах: с год назад у нее умер отец. Труженик из тружеников, человек из людей, тоже Степан. — Степан, — позвала она мерно сопящий кулек. — Гуль-гуль-гуль, Степа-а... Степушка-а-а... Ах ты, Степа, Степа — дитя человеческое...

Через год вместе с мужем Любочка окончила свой финансовый техникум и вместе с мужем отбыла в свободную Африку с твердым намерением стать в саванах крупным специалистом. Экономика, финансы — сейчас «нота и вена всей жизни». Об этом Люба сообщала Агафье Степановне в подробном письме. При чем позади шла приписка аршинными буквами: «Приедем, мама, на собственной Волге».

Когда Агафья Степановна показала приписку соседке Федосье, та сообразила:

— Никак твой зятек приписал? — И добавила: — Как же, жди от них, от зятьев, завезет тебя на машине-то да и сбросит в кручу к чертовой матери.

Мужики в отъезде Любочки в знойную Африку находили иные моменты:

— Финансы поехала им там налаживать, — рассуждал Николай, муж Федосьи. — Она им наладит. Знаем мы ихние порядки, газетки почитываем. Там баб у каждого больше десятка. Люба у него, наверное, третья.

— Ты что! Очкнись, продери свои бельма, — одергивала Николая Федосья. — Любка тебе будет третьей, а?

— Да уж точно, наших клейменовских в тенек не усадишь, — пересмеивались дружки Николая. — Любка теперь у него это... за генерала.

Между тем Степка подрастал. Смуглый, выюн такой, кучерявый, с серо-стальными Любочкиными глазами. И было ему уже около четырех. Агафья Степановна во всех бумагах называла его сыночком, причем в сельсовете однажды районный уполномоченный, из новеньких, хохотнул даже в кулак и проставил в нужной графе мальчонке — «мулат».

— Что хоть это такое — мулат? — Как квочка, растопорщилась Агафья Степановна. — Сынок он мне? Сын! Пиши, стал быть, русский.

После этого разговора Агафья Степановна прибрала в хате все зеркала. Даже тусклое, рыжее, еще бабкино, трюмо, треснувшее паискошь и все от старости в пупырыш-

ках, вытащила из угла и загнала на потолок. И все-таки видела, как мальчонка, бегая вместе со всеми, сунулся как-то к пруду, глянул и остановился, притянулся, пока не набежали детишки.

Однажды Степка влетел в хату гневный.

— Гаша! — закричал он с порога. Губки его вовсе взбухли, глазенки сверкали. — А чего они длазнят меня чумазый?

— Чумазый-то? — подлетела Агафья Степановна и положила тяжелую, темную от работы ладонь на курчавишки. — Чумазый, сынок, хорошо... Чумазый вон дедушка наш, сосед Николай. Видал, какой? Тракторист. Чумазые хлебешек нам выхаживают, а мы едим его. Хороший хлебешек, да?

— Холосий хлебешек, — согласился Степка. — И тракторист холосий. Я тракторист... Я тракторист! — полетел Степка на улицу.

С той поры и припало к Степке: «тракторист чумазый» или просто «чумазый».

Клейменовская мелюзга уносила с утра босиком и в одних только трусишках на пруд, в поля, перелески. И все за лето так обгорали, что почти не отличались от Степки, все с головы до пяток чумазые. Вечером, сморенный бегом, Степка падал в постель и засыпал. Поуправившись, Агафья Степановна подсаживалась к нему, клала пахнущие молоком руки на щуплое Степкино тельце и шептала, шептала:

— Скоро вырастет Степка наш большой-пребольшой. Возьмет и уедет Степушка из деревни, забудет свою мамку Гашу, письма даже не напишет мамке, как наша Любочка...

И теплые бабкины слезы капали на голое черное тельце, и Степка шевелился, слышал родной голос и, приоткрыв глаз, хитро глядел сквозь ресницы, шептал так же тихо:

— А я от тебя никуда не уеду. Колмить тебя буду, когда станешь сталенькая... Хлебешек буду выхаживать...

Лучше всех встречали Степку на механизаторском стане. Он прибегал туда рано. «Сменщик наш пришел! — радовались мужики. — Тракторист наш явился». Степка знал уже все марки машин, куда какое горючее заливается, что, каким маслом смазывается. Хмурил иногда брови, как это делал дедушка Николай, говорил бригадиру:

— Ты когда калбюррратор пледставишь?

И всем вокруг хохотали, хохотал на Степкину выходку и бригадир. Тогда Степка поворачивался ко всем, пожимал — серьезный — плечами:

— С этими зашцьястями плосто беда.

— Степушка... Степан! — вопили голоса. — Попроси мне пускатель... а мне пальды на гусеницы... резину...

В полдень, в самый обед, по Клейменовой прошуршала белая «Волга», приткнулась к дому Крутилиных. Агафья Степановна была в это время на дойке, в лугах. Федосьина Зойка прилетела к ней запаленная, закричала еще вон откуда, с бугра:

— Тетя Гаша! К вам на «Волге»... дипломаты какие-то!

— Откуда хоть?.. Вынесла кого-то нелегкая, — забурчала Агафья Степановна и подхватила подойник.

Еще издали углядела белую «Волгу» у хаты и две фигуры в белом. «Мамочка!» — кинулась к ней женщина с высоченной махоткой на голове и припала к груди. Через плечо Агафья Степановна видела, как перед хатой собирался люд. Из палисадника вышел мужчина в такой же длиннополой одежде, а лицо — боже, ноченька темная! И тоже тянул руки, и тоже к ней: «Ма-мочка». Агафья Степановна озирнулась вокруг и нырнула в калитку.

Проворили на стол. «Где Степа хоть?» — допытывалась Люба, чистя картошку. «А на рыбалке, придет, — отмахивалась мать и делала страшное лицо, кивала на горницу: — Что хоть он ест у тебя?» — «А что и все», — смеялась счастливая Люба.

Собрались соседи. Сидели деревянные, словно аршин проглотили. Косились на Любу и ее мужа, как звать

его... не запомнили. А Люба-то тоже, гляди, африканка. Завилась, сожгла солнцем кожу, навела губы.

— Вроде была из белесых твоя Любка-то,— сказала Федосья вслух через стол Агафье Степановне.

— Какая она её, она теперь вон чья,— пасадил на вилку соленый свинух бригадир механизаторов Никодимыч и показал глазами на зятя Агафьи Степановны.

Агафья Степановна стоит на подхвате, в переднике, стоит и молчит. Горка курятины тает, квас шипит в кружках.

— Да я о чем? — вывернув пальцем мясную нить из зуба, отстраняется от стола Никодимыч и говорит в пространство прямо перед собой: — У некоторых народов до сих пор так: мужики едят — бабы стоят за спиной...

И косится в сторону Любы.

— Да ну! Да ты что, Никодимыч? — отстраняет булдыжку муж Федосьи, сосед Николай.— Где ж сейчас такой обычай найдешь? Похорошили, брат, с етим... с империализмом...

— Да он, подлюка, живуч,— упорствует Никодимыч.— Его похоронишь... Его, говорят, хоронят, а он встает и встает. В разных точках земли...

Разговор всех затрагивает, мнение разделяется: одни стоят за то, что империализм еще попортит кой-кому крови, другие — что к концу века закружится как таковая проблема.

— Разрешите спросить, как вас... господин или товарищ,— приподнимается Никодимыч.— У вас лично в стране империализм до сих пор или как?

Любин муж смотрит сначала на Любу и улыбается, поднимает указательный палец:

— Республика.

— Видал-миндал? — торжествующе оборачивается Никодимыч к Николаю, мужу Федосьи: — Тоже, значит, республика? Вполне самостоятельный мужик,— заключает

Никодимыч свое мнение и улыбаются. И все отмякают, становится легче дышать.

— Вот ты скажи мне, — лез через полчаса Николай к мужу Любы. — Ты скажи, как тебя? Иван? Просто Ваня? А по батьке? И по батюшке Ваня? Иван Иванович, значит? Неловко как-то... Иван Африканыч, во так! Да, скажите, Иван Африканыч: чем ты, извините меня, занимаешься?

— Я владею трактором, ферма, — поднял гость кудрявую голову. — Большая ферма.

— Владеешь? А как же респуб... тада? Ах, владеешь? — соображал Никодимыч. — Значит, едешь? Как я? Как он, Николай?

— Как же, владеете, — перебила Никодимыча жена Николая Федосья. — А забыл, как в кручу спикировал, едва откачали?

«Африканыч» сидел, кивал головой и улыбался, гонялся вилкой за скользящими свинухами. И уже где на пальцах, где словом вызнали «коллеги», что с женой сообщается он по-английски, и она, значит, чешет по-ихнему; вылавливали у него слова «Килиманджаро» и «негус», соображали: кто ж она теперь, Любка-то, тоже «негуска» — «перусская» или как?

В дверном проеме стоял запыхавшийся Степка. Агафья Степановна всплеснула руками:

— Степушка! Глянь кто к нам приехал!

И Люба бросилась:

— Степка, сынок мой.

Степка спрятал лицо в ладони Агафьи Степановны, сверкал оттуда блестящими бусинками. Из-за стола поднялся отец, шел, протянув к Степке длинные, иссиня-черные руки, и говорил, говорил ему что-то. Степка ткнулся в коленки Агафьи Степановны, потом закричал и кинулся в дверь.

Все в доме пришло в движение. Любка убежала в спальню, мать не знала, чем ее и утешить. И лишь за столом Никодимыч и Николай завершали полемику.

— Я говорю,— стучал Николай вилкой в стол,— дуб свою кожу знает. Вот тада поглядишь.

— А я говорю, Степка нашей кости,— стоял на своем Никодимыч.— Одно слово, наш... тракторист...

— Будя вам, дипломаты,— подошла к ним Агафья Степановна.— Языки бы на сук повесили. Вон налейте на посошок и валяйте отседа. Не вишь, дите мать свою не признало.

Николай с Никодимычем налили по граненому, крикнули, подошли в угол к зятю Агафьи Степановны, поклонились, передали привет всей его черной Африке, пожелали, чтобы быстрее освобождалась она от всякого там империализма.

— Если что,— ухмыльнулся под мухой уже Николай,— мы баб своих вам подбросим. Империализму, будь спок, покою не будет.

И два друга-товарища заковыляли к двери.

А в спальне, скинув свой пестрый тюрбан, рыдала в подушку простоволосая Любка. Агафья Степановна стояла поодаль, вся сжавшись.

— Ты мне молодость загубила,— кидала слова-камни Любочка.— На лишнее платье, бывало, не дашь.. А подружки и в атласах, и в крепдешинах. Надюшка Филонова у меня Витьку отбила, а я Витьку любила... люби-ила...

— Не реви,— наконец, разомкнула рот Агафья Степановна.— Я твоего отца жду до сих пор, хотя вон она, похоронная. Уж больно ты пряткая.

— Ладно тебе, пряткая,— поднялась Любочка, слезы как рукой сняло. Говорила низко, словно мужчина.— Будешь учить меня жизни.

— Да где уж. Ты теперча грамотная,— вздохнула Агафья Степановна.— Степку оставьте, не забирайте. Прижился мальчонка, и всем по душе...

Ночевать Агафья Степановна ушла на сеновал. Степка вскоре отыскал ее, поднырнул под одеялку, прижался горячим ладненским тельцем. Мысли Агафьи Степановны убе-

гали вперед, в завтрашний день. Нет, она не отдаст его. Ни в какую. На что он им? Она его, крохотулечку, выносила, на ноги дальше поставит. Всей деревне Степка по праву. А они еще родят себе... «Соберу завтра сальца, яичек — пускай уезжают»...

Сильные запахи сена путали мысли. Зашелестел дождик, на сеновал проник хлебный дух. Он родился на буграх, пролетал по-над оврагами, попадал сюда в приоткрытую дверь. Хлебный дух, запах зреющей ржи. Степка зашевелился, задергал носом. «Ить тоже чует, — обрадовалась Агафья Степановна. — Как дед... тоже был такой чуткий до хлеба»...

А дождь наддавал, пузырилось у входа. И мысли сбивались в густой узел — о жизни, о дочери, о невиданных землях. Нелегко Любочке там без нас. Оттого такая-то первная... Попыталась поставить на Любочкино место себя, и тоска облила, захватила всю душу. «Ни дождя о ржаную солому не услышишь. Ни антоновских яблок, ни ржицы не увидишь. Одна, небось, тебе кукуруза». Агафья Степановна ворохнулась, закрыла глаза. «Надо завтра квасу отбить. Чтобы в нос шибал. Чтобы попомнил зятек и Клейменовку, и ее, Агафью Степановну».

— Спи, спи, голубок, — касалась рукой она жестких Степкиных кудрей.

*с. Корсаково*



Волновахе почтальон принес телеграмму: приезжал с флота средний сын, Семен, капитан-лейтенант. И Волноваха решил, в честь такого события, усадить за стол всю деревню. Небось, уместятся: теперь от Нечаевки остались рожки да ножки.

— Как это чин ему такой приспособили? — вызнавал у него возле колодезя сосед Никифорыч — бригадир овцефермы, всю войну протолкавшийся по причине кривой с детства ноги на ближайшем элеваторе. — В тот раз был старший лейтенант, в этот — лейтенант сверх капитана. Майор, выходит, аль подполковник?

— Сказано, капитан-лейтенант, — свернул разговор Волноваха и пригласил бригадира к себе на завтра. — Старуха говорит, пойдн, гырть, пригласн Романа Никифорыча в первую голову, нужный в хозяйстве оп человек.

— Старуха у тебя не дура, — усмехнулся Никифорыч и пошел с полными ведрами, припадая на правую ногу. Оглянулся, погрозил пальцем: — Гляди у меня, не балуй!

Последние слова сбнли Волноваху с теплого настроения мысли. К чему это он, — не балуй? Сами, что ли, на должностях не бывали? Ведь ты к нему со всей душой, по-человечески, а юлить тебе, Волновахе, особо и не к чему. Сиди себе, получай за вторую группу боевой инвалидности пенсию. И опять же хозяйство у тебя: коровенка, овечки, поросенок, садик-огородик. Сосредотачивайся, пока есть

силенка, на своем личном секторе. Только скука со света сживет, мысли черные сложут, если сразу вот так взять, да и оборвать всякие внешние связи. Вон Митрофан Ильич пошел летом на пенсию, а к весне уже не жилец.

Сын приезжает, Сенька, Семен, Волновахов Семен Семеныч. Офицер подводного корабля. Всякие случались на Нечаевке войны — артиллеристы, десантники, один даже на Зимний в семнадцатом бегал с винтовкой, с «Варяга» был один. Но чтоб под водою, как карпня, да еще офицером, — нет, таких здесь в истории не бывало. Шутка сказать, у нас пырнет, а у Южной Америкки вынырнет. Ну и времечко, техника — уму непостижимо. На что старший, Петр, в Харькове главный конструктор, а и тот одобряет Семеново дело.

Гордые мысли за сыновей стоняют с Волновахи неприятный осадок от встречи с бригадиром. Так и идет к вечеру он, седой, белый, как лунь, размягченный, довольный, сторожить совхозную овцеферму. Все скотники разошлись, только Нечаев Иван загоняет последнюю ярку. Вместе с ним прошли по помещениям, проверяя «наличие отсутствия»: все животные твари на месте. Ну отарные, ну безмозглые. Подай голос одной — все таращатся, одно слово, — овца. Ромни-марши. Завезены из-за границы, может, мильон за них отпалили. В первое время жить на здешнем кормочке отказывались, пока не догадались овец скрестить. Теперь ничего. Ишь, крихтит, бочка. Нарастила шерсти, крихтит. Скоро тебя, милая, на бок и — верещи, пе верещи — патлы ножнями. На то ты и овца, тварь бессловесная. Надерут с тебя шерсти, напрядут ниток — деревенские бабы варежек, носков теплых навяжут, в городе тканей наткут, костюмов хороших паделают хирургам и дипломатам. И Семепу Семенычу — в самый раз туда, под воду.

Волповаха усаживается на привычное место, откуда, по мере возможности, видать все подходы к овчарне. Затравляет костерок, сидит, питает его всяким хоботьем. Присе-

дает Иван Нечаев, подставляет огню свои красные, вздутые в средних суставах пальцы. Хоть и май месяц, а зябковато: отцветает по Гиблым оврагам черемуха. Как потянет оттуда, даже овцы не стоят, крутятся.

— Сын, слышал, к тебе приезжает, Семен? — свистит сожженным морозами голосом Ванька.

— Семен, — подтверждая, натягивает Волноваха картуз на уши, поднимает глаза. — Уже капитан-лейтенант... Вместе бегали, чай, на Петровку?

— Не, я в восьмой, он в десятый.

Смотрят вместе, как огонь враз схватывает куски старой оглобли, лижет сырую нешкуренную палку, все обхватывает, улещает, утепляет ее, пока на срезе не начинает пузыриться вода и сизый парок с шипением не исчезает в пламени.

Время от времени Волноваха отрывается от дела и, привыкая глазами, оглядывается окрест. «Гляди у меня, не балуй!» Отдает костром западный склон неба, резка кромка сухой прошлогодней полыни, остры пики елок. Оттуда, из Гиблых оврагов, приходит белый волк. Если бы Волноваха сам не видел, никому бы, может, и не поверил. Не верится вообще, что до сей поры водятся волки в районе. Это сразу же после войны их тут было пропасть, ни пройти, ни проехать — ленивые, тучные, отожрались в окопах. Навели им шороху. По соседству, в Петровке, один Лисицын, знаменитый охотник, уничтожил их, может, с полтыщи. И матерыми, и мальками. Пришел как-то Волноваха к нему за кашканом (лиса чередила, всех, стерва, кур порешила), а у того по двору, по-за огорожей, кутенята катаются. Одного помета, пять штук. Такие увалистые, мягкие, на толстючих лапах. «Дай, — говорю, — хоть одного для интересу». — «Нельзя, — говорит, — а ну как волчица нагрянет за ними, чем будешь отчитываться?» — «А ты?» «Ну я, — говорит, — другое дело. У меня вон оно», — и похлопывает по ружьишку золингеновской выделки.

Хорошо поработал Лисицын, видать, и другие неплохо. Сколько лет не слышать было, шутить уже стали, что в районе, мол, всего один волк остался, и тот инвалид, на култышке — капканом отсобачило переднюю правую. И вдруг нате: на ферме пропала овца. Ну пропала и пропала, пропадали и прежде. На то и животное, чтобы иметь свободное передвижение, куда хочу, туда и верчу. Для того овчары и приставлены, чтобы наводить ее, глупую, на разумные действия. Но вот что подвело Волноваху к мысли о волках: стали стричь овец, а под горло у одной, другой дравые шрамы. Тогда и поставил Волноваха перед бригадиром вопрос о ружье. Два дня Никифорыч ходил в размышлении, на третий прямо-таки овадачил: «Нельзя тебе, Волноваха, выдавать в руки ружье, ни под каким средством. А то ты волка ненароком ухлопаешь». — «И, возможно, ухлопаю», — ответил ему Волноваха. — «А ухлопывать его, санитаря, нельзя. Может, его самолетом сюда... из Канады». — «А ежели он, стервец, меня вздумает слопать?» — «Ты уже старый, глянь — белый весь, ты свое пожил», — сказал бригадир и пошел своей дорогой.

Осенью пропали подряд еще три овцы. Волноваха усилил бдительность, даже собаку завел, сторожил теперь вместе с Куцыком. Как-то к полночи пес прижался к коленке, затрясся. Волноваха увидел волка — белый, ростом с теленка. Белый волк тоже заметил его, сел на хвост и вытянул морду. В тучах вылетела луна. Волноваха пригляделся к нему и ужаснулся: один глаз у волка был пуст, в другом стыла жуткая, человеческая тоска. И тогда Волноваха подумал, что это старый, седой и сам себе не нужный бродяга и что зубы у него искрошились, истерлись, потому и не может уже перехватывать он у жертв своих горло. И Волноваха его уже не боялся. Они сидели друг против друга, и каждый думал о себе, своей собственной жизни. Волновахе было жаль старого, голодного волка, но жаль было и самого себя. Наконец, волк понял его, поднялся и, сверкнув на луну единственным глазом, удалил-

ся степенно. До чернотропа он наведывался еще пару раз, и Волновахе показалось, что бег его становится все расшатаннее.

Волноваха рассказал об этом кому-то, вся деревня стала подтрунивать, а Никифорыч, бригадир, высмеял принародно: это, дескать, у тебя от белой горячки. А когда Волноваха объяснил ему, что не употребляет хмельного по причине высокого кровяного давления и беспредельного желания жить, чтобы увидеть, что же дальше будет со строительством коммунизма, Никифорыч так напрямик ему и заявил, что, значит, пора подыскивать на Волновахино место новую штатную единицу, для которой волки, как волки, — серые, а овцы, как овцы, — белые.

Через неделю Кудык неожиданно сдох, в желудке у него оказались мелко истолченные иголки. В то утро Волновахе показалось, что за ним наблюдали по соседству, из-за плетня.

Вместо последней пропавшей овечки Волноваха привел на овчарню свою, даже старухе ничего не сказал. У Катюшки Нечаевой отара опять стала в полном сборе. И до этого все что-то овцы у него пропадали. Не хотелось грешить на старого, бессильного волка, но ведь пропадали. «Не балуй у меня!» — сказал утром Никифорыч. Ну, сказал и сказал, а душе — смута, телу — весь день нехорошая зябкость. Едва отогнал эту зябкость костром да разговором с Иваном про то да про се. Понял только, что рано домой Иван Нечаев сегодня не намеревается. Сидит себе да посиживает, мелет из пустого в порожнее. Не так просто обмануть Волноваху — молод еще Нечаев, крепко сбит — ладно скроен, работой пока не изломан. На овчарне задержалась Катюшка Нечаева, эта самая, с Громотушкина Верха. Не баба — омут бездонный, зубищи к весне так и скалит, лишь Стенька, мужик ее, ни черта не замечает...

— Ты чего, дед? — повернул Иван к нему свое невеселое, вялое, бронзовое от костра и загара лицо.

— А про молодость вспомнил,— тряхнул головой Волноваха.— Катюшка в передовые выходит. Скоро на доску за эти дела повесят.

— Ну и что?! — напрягся Иван.

— Сын у меня под окиянами плавает,— вздохнул Волноваха.— Тут у нас, нырнет, а у Южной Америки вынырнет.

— Нырнешь так-то вот,— поглядел на него Иван длительным взглядом,— и не вынырнешь.

— А на то голова, чтоб выныривать,— шевельнул костер Волноваха и посмотрел в глаза Ивану через огонь: в них была жуткая, нечеловеческая тоска.— На то жизнь, сынок, чтобы жить, чтобы верить в людей.

— Верь, верь,— усмехнулся криво Иван.— Бабке своей всегда верил?

— Не верил, когда сам не верил себе.

— Может, сынок твой, что под моря ныряет, не твой, например, а деда Митрошки... того, что с «Варяга», а? Может, это в крови у него — моря-окияны?

— Дура ты, всех на свой аршин мерить,— сказал равнодушно, ничуть не сердясь, Волноваха.— У каждого свой аршин. Я-то вот всегда был уверен в Дуняшке, а вот ты... за чужим подолом мотнешься, у своей своим не зови. Валяй-валяй к Катюшке, небось, уже ждет.

— Гляди у меня! — поднял голову и рыпнул зубами Иван.— Гляди, дед... Люблю я ее, понял? Давно. Я тебе по-человечески... мужской разговор...

— Да уж видывал виды. Иди. Да штаны, гляди, не урони.

— Ты, того... никому,— уже издали крикнул Иван Волновахе и прынул стежкой в овраг.

«Вот жизнь. Все грозят, угрожают»,— повернул Волноваха верх оглобли в костре и, когда освеженное движением пламя отделило от него остальное пространство, весь отдался течению мыслей о сыне, о завтрашней встрече с ним, обо всем завтрашнем дне. Так и сидел он, может, час, мо-

жет, полтора, чутко прислушиваясь к ночи, к тому, что делось там, за стенкой, в ближней овчарне, развернутой воротами не сюда к нему, а туда — к ельнику, к Гиблым оврагам. За воротами, прямо в притворе, беспокоилась ярочка, которую он свел со своего двора молчком от ста-рухи.

А ночь была тихая, кроткая. Луну скрали тучи, и воз-дух, до самых звезд, казался настолько наполненным, плотным, крутым, что, если бы даже и захотелось, не про-вернул бы Волноваха его вместе со звездами ни ложкой, ни даже половником. Гущина эта забирала голову, вали-лась грузно на Волноваху, нагоняла сладкую дрему. Вол-новаха вытягивал шею, прислушивался, по ничего, кроме чавканья карпий в пруду под бугром да роста травы, раз-двигающей за сторожкой упрелые прошлогодние листья, не слышал. Вдруг где-то задело металлом металл, похоже, жучок-майка повел бронзовым крылом о крыло. Волноваха мигом очистился ото сна и, взведенный, как семилинейка, руками по стенке, по стенке сунулся к воротам овчарни. В разрыве туч полоснула луна: к ельнику, припадая на правую сторону, мчалось что-то проворное, крупное, обли-тое белой лунной — белый волк.

— Ату его! — затопал, замахал руками, кинулся даже бежать Волноваха, но волк прынул в Гиблые овраги и был таков.

Волноваха вошел в притвор: ярочки не было. Это ни-сколько не огорчило его. «Подавишься этим куском, я тебя причешу,— обернулся Волноваха к Гиблым оврагам.— Как псу мому... тоже будет невпроворот».

Семен приехал первым автобусом, выскочил через пе-реднюю дверь — бравый, в сиреновой рубашке, чемодан-чик в руке. Старая как прилипла к нему, так никого и не подпускала.

— Дай хоть глазком глянуть на капитана,— суетился Волноваха и тут же осаживал сына: — А почему, спраши-вается, в гражданском?

— Вот патруль, — отсмеивался капитан-лейтенант Волновахов. — Да вот она, форма, тут, в чемодане. Если сильно попросишь, отец, — надену.

В доме уже рубили кур, щипали гусей. Ждали из районного центра младшего Волновахова — Виктора, токаря на ремонтном заводе: должен был прикатить на выходной. Он приехал двенадцатичасовым, как раз все и собрались. Всей нечаевской бригадой и засели за стол, не было лишь Ивана Нечаева да Никифоруыча, бригадира. Ну Никифоруыч ясно: какое-никакое, а руководство: приди, поклонись. А вот с Иваном не совсем все понятно. Но не стали ждать.

— Чего скажу я вам, дорогие гостечки, — с первым тостом поднялся Волноваха-отец. Никогда не говорил столько слов, а тут сказал, и его слушали все. — Хуть он и сын мне, а скажу, мои односельчане, вот что: давайте выпьем за наших защитников, за сына мово, который, как и вся наша доблестная армия, наш броненосный флот зорко стоит на рубежах. И потому мы сидим с вами смирно под этой вот смирной ракитой, что они стоят там, потому что у нас такая жуткая техника, что просквозит все моря-окияны наскрозь, до всего, если что, доберется. Верно говорю, а, Семен? Верно... Так давайте за пашего с бабкой сына — начальника этой очень, скажу вам, серьезной техники, капитана да сверх того лейтенанта Семена Семеныча Волновахова.

И сел. Сидел слушал других. Женщины помогали старухе, подносили к столу картошку, курятину, подливали квасу, приседали на момент, спохватившись, снова бежали на кухню. На ведерной сковороде тащили почти полбарана: Волноваха зарезал утром последнего. Старый слышит дружную работу челюстей («зубы востры, с хрустом рушат косточки и хрящи»), смотрит на длинношерстную свежую шкуру у себя на плетне («надо было прежде постричь») и переносится мыслью на всю страну, обхватывает в целом всю земную планету: «Мы-то ладно еще, у нас всего много, есть еще чего поскрести, а вот остальному

миру как быть с продуктом питания? Люду, пишут, уже за четыре миллиарда. И у каждого зубы, желудок, каждый схрупают за жизнь товарняк. Химию, водоросли станут это... кусать. А на что пересаживать в мире животных? Волка, скажем?..»

Разговор за столом разбился на множество русел. Кто-то расстегнул уже верхнюю пуговку и схватился за квас. Волноваха выждал момент, задал сыну громогласный вопрос, который давно держал у самого сердца:

— Мы вот тут все очень интересуемся. Все. Будет, Сения, еще война ай не будет. Третья мировая. Какая у тебя лично на это тактика и как стратегически смотрят на это наши вооруженные силы?

Базар за столом как рукой спяло. На дальнем конце кто-то поперхнулся куском, на него тут же зашикали. Во дворе, под ракитой, из умывальника капала в бочку вода.

— Слышите? Капает, — поднялся Семен и засмеялся. — Капает капля. Из умывальника, из облаков. С вишни, с яблони. Каплет, каплет над нами! Живем и жить будем — это наша тактика и стратегия. Война? Да зачем нам чужое? У нас много всего и своего. С древности люди себе добывали богатства войной, никакая война теперь не способна дать того, что дает торговля и производство. А разрушения от нее, а страдания народов? Нет, дорогие товарищи, войны не будет. Ни третьей мировой, ни четвертой. Быть не должно. Слишком дорогим стала она удовольствию. Главное — мы не хотим...

— Что ж вы сидите тут? Хата горит! — влетел на порог Нечаев Иван. — Гляньте: двор весь в дыму.

Выметнулись кто в дверь, кто в окна. Горела не хата — стожок просяной соломы, что у сарая. Пламя готово было метнуться и на сарай, искры стлались веером налево, вдоль улицы, и только деревенскому плану с другого боку, от Никифорыча, ничего не грозило. Волноваха про себя это мигом отметил; отметил это про себя и Семел.

Стожок разметали вмиг, содрали с сарая полкрыши —

все вкупе, такая силища. Стояли, соображали: с чего бы стожку загореться? От молнии? Чистое небо. От ребятишек? Они, пострелята. Входили в хату возбужденные, сдруженные.

— А зря, отец, не пригласил кой-кого, — отозвал Семен Волноваху в сторонку.

— Я приглашал, — понял тот его с полуслова. — Я приглашал... Ну да ничего, уже перезимовали. А новый годок — новый кормок.

Там, в хате, все закрутилось с прежней силой: тосты, частушки, гармонь. А они все сидели на крыльце, молчали и думали каждый по-своему, но об одном. Волноваха к тому же неотступно следил за тем, что делалось в соседнем дворе.

— Сколько места в Нечаевке, — вздыхал он. — Там и там съехали. Свободно, дыши. А все равно тесно. Трудно, сынок, трудно живем на земле.

— Верно, уехали люди, — рассуждал Семен, — в города, на центральную. Значит, в кучки побольше сбиваются, тесней жить хотят. Теснее жить легче, отец, так? Просто трудно это — быть людьми на земле.

— Да я и сам так думаю, надо ближе друг к дружке... взаплот, а не всегда получается, — встал Волноваха с крыльца и тянул Семена за собой со двора. — Идем, сил моих больше нет, чего покажу.

Проходили мимо хаты Никифoryча: у ольшаника стояла запряженная лошадь. Вышли за околицу, к разбитой грозой грушенке. Здесь не так и давно, во времена Семенова детства, еще вертела дощатыми крыльями мельница. Присели на пенышек. Ожидали. Чего?

— Сейчас увидишь — чего, — сказал Волноваха.

На дворе у Никифoryча заскрипела подвода, выехала на дорогу. Куцый бригадный меринок тюлюпал, тюлюпал сюда, к грушенке, бригадир сидел к ним спиной.

— Погодь на час, — окликнул Волноваха Никифoryча

— Чего тебе? Н-но! — вздернул бригадир вожжи, но Волноваха уже подлетел к узде, под голову мерина.

— Сдерни, Семен, халат, — приказал Волноваха сыну и сам подошел, стащил с груза грязный бязевый халат: на дне подводы лежала баранья тушка. Еще парная, в свежей крови. Кучкой сбоку лежала сырая баранья шкура.

— Во, гляди, сын! — поднял Волноваха шкуру и трянул: — Гляди — вот и вот. Мои подпалы: «С» и «В»... По овцу в этом халате ходил, а, Никифорыч? Кого перед народом опозорить хотел — инвалида войны, старого человека. Мол, сын приехал с флота, мол, ясно-понятно, кто утяпул с фермы ярочку, на угощеньице, так?.. Воскресенье завтра, везешь на базар? Все на «Жигули» собираешь, «Жигули» душу тебе переехали, так?..

Подходили люди: от Волноваховых уже разбрелись. Остановились, прислушались.

— Ладно, отец, довольно, — увлекал Семен домой Волноваху.

— Нет уж, постой-погоди, — высвобождал тот плечо. — Дай скажу... Этот не то, что ты там, на флоте, этот здесь куда хошь нырнет-вынырнет. Но у меня не вынырнешь, — распалаясь Волноваха, — вон у меня сколько свидетелев...

— Ну тихо ты, тихо, — вжимался в телегу Никифорыч. — Чего тебе, озверел?

— Мне от тебя дюже много стало надо в последнее время, — глядел то на него, то на людей Волноваха. — Премию с Нечаевой Катюшки списал, а Нефедовой начислил. Это раз. Специально путаешь всю отчетность, чтобы было пить за какие шиши. Это два. Сенажа целый бурт сгноил, едва концы свели... И четыре. Просяной соломы два воза во двор привезешь мне и свалишь, а я уж, ладно, сам в стог сметаю. И вообще, гляди у меня, не балуй!

Люди притихли, соображали. Опять загалдели. Иные одобряли Волновахины действия, иные пятились от греха. Раздались слова и в защиту Никифорыча:

— Неча напирать на него, бригадир все же, а то требует... Есть еще стог в саду, обойдешься. Больно много надо, ему можно, у него сын капитан... Куда там раскомандовался!

— Ладно вам,— оборвал Волноваха такие слова.— Не докумекиваете, так помолчите. А ну, Роман Никифорыч, поворачивай оглобли и давай-ка в мой двор, там разгрузишься.

Волноваха взял за рукав Семена, и они повернули к деревне. Подвода послушно двинулась следом.

К вечеру, напялив на свою белую голову тесный картуз, как всегда, отправлялся на пост Волноваха. На этот раз пошел с ним Семен. На привычном месте, скорее вдвоем, затравили костер. Сидели, подставляя теплу ладони. Волноваха ни о чем не спрашивал сына: служба такая, сплошь военная тайна. Из оврагов выползли сумерки, луна смягчала их, ныряла в один краешек тучи и, подержав всю окрестность в тревожном ожидании, появлялась из-за другого края опять. И тогда странной, но все такой же родной, невообразимо просторной, глубокой, до ближнего города и дальше, по Среднерусской возвышенности до самой Москвы, виделась сидящим у костерка вся эта спящая, зябко серебряная равнина...

Волноваха вздрогнул: волк. Толкнул сына: белый. Белый волк стоял на бугре, как привидение. Плоскогрудый, с подтянутым брюхом, он глядел на них, на деревню, на ее уже редкие огоньки. Прожит еще один день, шкура стала белее, тесно зверю жить на земле. И вдруг он поднял голову и завыл. На луну, на огни по деревне, на звезды. Леденящий, отчаянный крик уносился в пространство и тонул в шиферных крышах. Белый волк тянул голову выше, выше. Один глаз его, потерянный, очевидно, в сражениях, был пуст, в другом стояла жуткая, почти человеческая тоска.

*Поселок Онегино*



Под 8 марта на Кондрата Сироткина свалился указ: его жене, Пелагее Артемовне, присвоили звание матери-героини. В районной газете «Звезда» прямо так и напечатали: мол, за рождение и за воспитание двенадцати детей для нужд Родины. Кондрат по этому поводу трахнул маленько и направился через дорогу к Спиридону Тимофеичу, дружку своему или неприятелю, это уж как понимать. Шел Кондрат, улыбался в предначертаниях того, как сравит сейчас Спиридона. Всю жизнь у них друг перед дружкой гонка. Спиридон из колхоза на железную дорогу, и Кондрат за ним. Спиридон Тимофеич уже кладовщиком, а Кондрат все в обходчиках. Затеял Кондрат избу с шиферным верхом, а Спиридон в пятистенник свой (позже начал) уже переехал. Но сегодня перед всей Белорецкой исторический факт: Пелагея — мать-героиня. Не фунт изюму: двенадцать душ, как двенадцать апостолов. Спиридону и крыть нечем...

Кондрат вошел, когда Спиридон Тимофеич как раз держал в руках райгазетку.

— Ну и как? — сверкнул одним очком ехидно Кондрат, другое уже как с полгода было зашито фанеркой. — По ки нам теперь будешь бесплатно шататься?

Спиридон старается быть равнодушным:

— Хватай выше.

— А что ж тебя на племенную ферму, что ли, такого корявого? — смерил хозяин Кондрата презрительным взглядом.

Кондрат даже рот забыл запахнуть: да разве же дело в росте? Ваял бы тогда жирафу. Дело, так сказать, в организме, внутренних органах. Он, Кондрат, двенадцать душ поднял для государства, а Спиридон чего? Только троих. Кто, выходит, лучше разбирается во всех этих нюансах? Спиридон, конечно, низвергнут, иначе бы так сразу не дешевил. Подумать только, — «корявый». Сам хорош: как взялся еще с войны офицерскую фуражку носить, так с той поры и носит. Захватал, засалил, даже моль не берет. Голова от фуражки как же тебе, поумнеет.

— Чаем меня теперь потчуй, — закидывает Кондрат ногу за ногу и вытягивает из кармана чекушку.

— Это за что ж тебя потчевать, а, Кондрат? — подает голос из сенец Спиридонова свояченица Агнесса. («Тыфу ты, черти б тебя, пустая бочка, язык об нее обломаешь»).

— А Пелагея Артемовна у меня теперь — ай не слышала? — мать-героиня. Вся страна знает, тебе одной неизвестно.

— Ну, Артемовна ладно, а тебе-то что?

— Она — героиня, а я тебе что был... в свидетелях?

— Их-их-их, — захохотала, затряслась от смеха Агнесса, замотала рукой.

Пока Кондрат баял байки с Агнессой, Спиридон Тимофеич подготовил стаканчики, кое-какую закуску и выработал стратегический план.

— Кондрат! — сказал он торжественно и хлопнул по плечу гостя. Кондрат насторожился: всегда так торжествует, когда что-то промыслит. Но тут дело твердое, наградной указ. — Нам эту неделю работать бок о бок, бригадир заходил, просил подготовить к севу эту... семенную элиту. Так вот кто я тебе — друг или нет?

— Н-ну... д-друг, — замялся Кондрат.

Спиридон Тимофеич огляделся вокруг, для пущей осто-

рожности не поленился, выскочил в сени, нет ли кого, и только потом наклонился, зашептал Кондрату на ухо:

— А ты уверен, что у тебя их одиннадцать?

— Двенадцать,— поправил его Кондрат.

— А ты посчитай, подбей бабки.

— Кондрат, Семен, Полина, Степан, Сергей, Николай первый, Николай второй,— загибал пальцы Кондрат.

— Э-э, тут у тебя было затмение, имен тебе не хватило,— вставил свое Спиридон.

— Первый-то, думали, не жилец, а он выжил. Да ты не перебивай! — рассердился Кондрат.— Варвара, Эполёт...

— Ну и имя господь послал, как у жеребца.

— Не перебивай же! — взмолился Кондрат.— Иполит... Антон...

Верно, выходило одиннадцать.

— Ну вот,— повернулся Спиридон Тимофеич к нему торжествующе.— Что я тебе говорил? Концы с концами не сводятся, дебит с кредитом. Она подает сведения на двенадцать, а по твоему счислению их одиннадцать. Это как, я скажу тебе, понимать?

Кондрат кинулся снова считать, снова вышло одиннадцать. Кондрата даже в жар бросило: нет, серьезно, почему же одиннадцать, даже в газете, надо верить, сообщается про двенадцать. А Спиридон смотрит в окно и ухмыляется.

— Может, это я... напутал чего? — говорит Кондрат в неуверенности.— Когда еще света не было, то есть электричества? Не так считал.

— Может, это Пелагея чего напутала, когда света не было, а? — смотрит с сочувствием Спиридон Тимофеич.— Может, ты отцом себя какому-нибудь одному не считаешь? Почему считать тогда у всех остальных? Эх, брат Кондрат... Да ты не горюй, ты крепись. Что ты лорд какой-нибудь английский? Что тебе замки, миллиарды завещать детям? Небось, кроме этого вот задрипанного зипуна, ничего и не накопил.

— Чего ты? — снимает ногу с ноги Кондрат и замахивается покруче. — Ты троих поднимал, а я... я...

— Одиннадцать. Ведь одиннадцать? Одиннадцать. Ну еще посчитай. Хоть ты тресни, одиннадцать, — смеется теперь уже откровенно Спиридон Тимофеич. — Если, конечно, тебя считать за двенадцатого. Так она теперь и не упомнит, сколько раз тебя подымала. И в старинные, и в советские праздники. Тут ты первый. Тут без тебя не обойдется. Пелагеюшка руки пообрывала...

— Ты, Спиридон, помолчи, помолчи, — останавливает Кондрат супротивника. — Как это пообрывала? А я куда подевался? Таковую ораву поставить. А вот ты только троих: Веньку, Катьку и Стеньку.

— Зато у меня качество, понял? — выставляет большой палец Спиридон Тимофеич. — Сколько из твоей братвы шлындает по свету, не знает, где притулиться? Там им не вдравится, тут не по вкусу. А мои все трое дошли до ума и, между прочим, в почете. Стенька даже этот... адъюнкт.

— Что это такое ад... адъюнкт? — не сдерживается Кондрат.

— А черт-те знает, — говорит уже мягче Спиридон Тимофеич и надевает очки в золоченой оправе. — Ну, на генерала, что ль, учится. — И отставляет от себя райгазетку, делится в нее издали. — А ты, Кондрат, когда окпо в очках вставишь?

— Да ладно тебе, окно!

— Да не ладно, а вставь. На тебя теперь люди будут глядеть, у тебя жена — героиня, — рассуждает Спиридон Тимофеич. — Вам таким, отчаюгам, только дай звание, мигом его приспособите. То по кинам начнете шлындать бесплатно, то в магазин с заднего отверстия. Нам таких, скажу тебе, Кондратий, не нужно. На таких мы и сами герои. Ты герой, когда впереди, на лихом коне...

— Начни еще про гражданскую, — пытается вырвать

Кондрат упущенную инициативу.— Как ты ездил в обозе, портянки Чапаю крутил...

— Ну крутил, и что дальше? Что ты есмь, человек?

— А я тоже не зря жил, колхоз создавал. Вдвоем с Пелагеей создали... из двенадцати душ.

— Из одиннадцати. Сам же считал, из одиннадцати,— стоял на своем Спиридон Тимофееч.

— Ну, из одиннадцати,— сказал мрачно Кондрат и подумал о Пелагее: «Ну, стерва, приду домой, допытаюсь. Срамить меня перед всем Советским Союзом?»

— Ну, давай еще по одной за успехи? — тянется к шкапчику Спиридон Тимофееч.

— За какие... успехи? — еще больше мрачнеет Кондрат.

— А за всеобщие, — ловко подцепливает свинушок вилок Спиридон Тимофееч.— В общем так, за твой с Пелагеей колхоз и... вообще за коллектив.

— Нет, я пью за себя, Спиридон,— откачнулся Кондрат.— У меня праздник, и я за себя. А за тебя не хочу...

Домой Кондрат пришел поздно. Повалил в сенцах ведро с водой, зацепился за половик. Сын с дочкой, последенькие, зашевелились в спальне.

— Ты што опалел, леший? — вывела его Пелагея на кухню.

— Кто у меня двенадцатый? Кто? Перечисляй,— на двигался на нее с кулаками Кондрат.— Перечисляй! Кто у меня двенадцать апостолов? Кто?

— Да ты што, ты што? — наклонялась она к нему, теплая, мягкая, только что из постели.

Ночевал он на сеновале. Жена растолкала его уже днем, стояла перед ним босая, простоволосая, с синяком ниже глаза. «Одурел на старости лет, с ума спятил?» Кондрат слушал ее, опустив голову: ломило виски. Перед глазами вдруг всплыло ехидное лицо Спиридона Тимофееча: «Что ты, лорд, что ли, английский? Что тебе замки, миллиарды детям передавать?»

— Перечисляй! — мигом вскочил Кондрат на ноги. — А ну давай своди дебит с кредитом.

— Значит, так, — начала Пелагея, — Кондрат, Семен, Полина, Степан, Сергей, Коля первый, Коля второй...

— Варвара, Эполёт...

— Ипполит, Настюша...

— Какая Настюша? — уставился Кондрат в Пелагею.

— А та, что после Ипполита. Ты разве ее не считаешь?.. С поезда сняли тогда в чем душа была. Досталось ей, бедненькой, там, в Ленинграде, в блокаду... Ну и что ж что не кровное? А ведь наше дите, наша Настюшка?

— Наша, — согласился Кондрат. — Верно, наша, мать, наша! — схватился он за голову и аж заплясал.

Остановился и погрозил в дверь: «Ну, Спиридон Тимофейч, ненавистник людской, ну, злодеюга! Опять обкатал. Я тебе покажу, как обижать матерей-героинь. Как обзывать человека каким-нибудь английским лордом».

*Поселок Ливадия*



Венька Семишкин — парень на всю деревню, как выражаются бабы в Кленовом, на все сто двадцать пять. Но прочим цифрам Венька предпочитает сто пятьдесят. Развернет у порога колхозной столовой свой обшарпанный трактор «Беларусь», пройдет гоголем к стойке, на очередь и не взглянет.

— Нам, Тонечка, — колыхнет он чубищем буфетчице, — нам, значит, два по сто пятьдесят. После, значит, помножим.

— Ты, смоляной, в хвост стань — постой, — загудят в очереди. — И потом не время, солнце, гляди, еще на березе.

Тонечка покраснеет, но отпустит Веньке: вон какой он — бровастый, глазастый, грудь колесом, лбом под прилоку. Не одна по нем сохнет. Особенно с той поры, как, демобилизовавшись, поработал он с полгода где-то на стройке, а к зиме возвратился в Кленовое. «Чего так поспешно? — встретили его мужики у правления. — Ай кишка тонка стала... в Сибирих-то?» — «Кишка у меня покамест во всех ее функциях, — ухмыльнулся тогда им Семишкин. — На племя отстающим прибыл, нагонять вам тут по народонаселенью проценты». — «Ого-го! — забыли захлопнуть глаза мужики. — Ну, Вениамин, был ты трепло треплом, а теперя еще боле того».

Так и прилипло к Семишкину прозвище — Племяк да Племяк. Как какой-нибудь колхозный бугай. Семишкину от того ни холодно ни жарко, окрестным девчатам одно смущение, а кое-кому из бабенок очень даже, не подумать что, интересно.

Ходит Венька к клубу под гармонь непременно. Не сам, конечно, по черным и белым пуговкам чем надо пошвыривает — на то у него закадычный дружок, вышибала слез пальцами и кулаками Колька Свиридов. Едва на порог, как врежет Колька на свой «тулке», а Венька накинёт на голову носовой платок, подберет концы у подбородка да по-бабьи:

— Как у Веньки Племяка  
Музыкальная рука.  
Проведет по пуговкам —  
Заиграю вся,  
На-ко-ся!

— Что это, Веньк, у тебя... как ее... частушка не в рифму? — вздумалось сунуться к Семишкину Мише Вострову.

— У Любки своей поспрошай, — отбрил его Венька.

Под всеобщий смех Миша съезжился, сник. В Кленовом и дураку ясно, на что намекнул злоязычник: первой любовью, еще со школьной скамейки, был у Мишкиной Любы этот Венька Семишкин, первой любовью. Данный эпизод, может, так и ушел бы в забвение, если бы Миша Востров не принял слова Семишкина близко к сердцу и не подвернулся случай отплатить Веньке куда более крупной монетой.

Время не замедлило подкинуть Вострову один, можно сказать, завлекательный козырь. С весны Венька бросил трактор, и, как он изъяснялся в клубе, «попер в интеллигенцию». Поступил работать в какую-то масштабную организацию, которая вплотную приступила к сплошной электрификации керосиново-лампового дотоле Кленового. Венька поднялся в цене на невозможную высоту. Всяк, конеч-

но, сгорал в устремлении первым подвесить электролампочку в своей хате, а также и во дворе, и в подполе, и даже в хлеву. Прошумел слухок, что почтальонка Маша приносит Веньке зарплату домой, как, скажем, пенсионеру или какому-нибудь заслуженному тенору. В общем несут деньгу Семишкину чуть ли не на печку. А поскольку па все Кленовое только он, Семишкин, один имеет право подводить к хатам электросвет, то все благодарности и щедроты людские понеслись на него бурным потоком.

Для создания видимости он теперь ходил с мотком проволоки через плечо и под хмельком постоянно. В одном было нарушено это его постоянство. Вспомнил Племяк, что в арифметике существует еще и такое действие, как сложение, и надал однажды к привычным своим ста пятидесяти до «полного, под самый рубчик», а уже после этого начал применять умножение.

«Пропадет парень, сгорит от этого... электротока», — забеспокоилась в Кленовом общественность. И вдруг все как обрезало: Венька разом «просох», стал сухим, ровно стеклышко. Тайнственность его протрезвления, особо непонятного для изумленной общественности, которая, к сожалению, еще не успела привести в боевую готовность все свои вожжи воздействия на Племяка, объяснялась очень просто: в школу к новому учебному году приехала молоденькая учительница — преподавательница немецкого языка. Венька углядел в ней симпатии и тут же начал вить вокруг нее стремительные круги. Смоляной Венькин чуб возымел на Капитолину Евсеевну действие, и оно бы все ничего, но то ли по девичьей своей ограниченности, то ли, наоборот, по излишней своей образованности она наотрез отказалась вдыхать от Веньки пары «свекольной» и даже «хлебной». Не без глубоких внутренних борений Венька перешел на «казенную», но и тут Капитолина Евсеевна встала стеной. И Венька просох.

К зиме Семишкин женился, или, как он обрисовывал односельчанам, «попер в семью». Колька Свиридов ходил

в клуб теперь в одиночку и страшно материл всех женатиков, которые променяли жесткое товарищество на мягкую подушку, а добрый граненый стакан — на дряную фарфоровую чашечку с розами. Да и в самом деле вот уже третий день, словно хворый, Венька пил из этих чашечек с розами обыкновенное молоко, и вообще жизнь его стала удивительной. Сидя подле своей Капочки по вечерам, как дурак, просто так, он глядел, как читает и пишет она то по-нашему, то по-ихнему. А у него, если вспомнить школу, от немецкого одна тошнота. И еще это... домой... «на хауз», «хенде хох!». Нет, это уже не из школы — из кино, кажется.

— Что ты сидишь? Все сидишь и сидишь, — улыбнулась однажды Капочка и притащила на другой день кипу учебников: — Вот. Будешь готовиться в техникум.

Сидят вечерами они теперь вместе. У Капы шейка тоненькая, взяты не за что, а по шейке колечки — золотые, мягонькие, пух, если губами потрогать. Капа сидит, занимается своим заграничным, Венька грызет эту чертову электротехнику.

— Племяк, — расплющит об оконное стекло свой и без того толстенный нос Колька Свиридов. — Племяк, а Племяк. — И мотнет призывно четвертушкой.

— Иди-ка ты! — махнет на него с досадою Венька и опять уткнется в тетрадку.

Летом Капитолина Евсеевна поехала в город и весь свой отпуск пробыла в «Интуристе», как она потом излагала Веньке, работала переводчиком-гидом. Чтоб язык, значит, иностранный не забывать и манерам само собой поднахвататься. Ну, а Семишкин скатал в один небольшой городок на Донбассе, где жил материн брат, и сдал там успешно экзамены, поступил в нужный ему техникум, по электричеству.

Теперь к Семишкину не узнать было, на какой козе и подъехать. Правда, проволоку, что висела на нем, словно пулеметные ленты, он с себя сбросил, зато карманы пона-

бывал соответствующими брошюрами. Чуть кто слово не по шерсти — Племяк сейчас же брошюрку и пальчиком в необходимый пункт: не соблюдаешь, дескать, правила обращения с электротокком, провод — это тебе не картошка, которую, екарь-мокарь, специально зачищают для делопотребления. Электроток — это тебе не хрен с маслом, а если газетки читаете, активный строитель всех новых начал.

Слова Семишкина с каждым днем становились круглее и выразительнее. И на решение правления взглядывал он иногда соответственно, исходя из своих высоких задач. Решили, скажем, в первую очередь подвести электричество в Клейменов куток: там и доярки, и передовые механизаторы, тот же Миша Востров. А Семишкин свое: вам решать, а мне делать, а дело указывает в первую очередь обслужить Колотеевку. Только тут все яснее ясного: Колотеевка-то вся у него в сватях-кумовьях, народ домовитый и хваткий; в кутке все никак не соберутся, а хватывсваты уже столбы протянули...

— Ну, погоди! — погрозил как-то в спину Семишкину Миша Востров и поклялся своим, клейменовским: — Я его, стервеца, проучу.

На другой день Семишкин шел, как обычно, мимо Клейменова кутка в Колотеевку.

— Вениамин Кинстиитинич, — вырос на пороге своего пятистенника Миша Востров, — можно вас на минутку?

— Давай, — приостановился Венька Семишкин и поморщился: — Побыстрой, что ли.

— Милости просим, — широко улыбался Востров. — Отведать от щедрот... Вчера из города прибыл, кое-чего привез, и вообще...

— Ни-ни-ни, — подвигался за ним Венька к крыльцу. — Сухой закон, понимаешь, ептимия.

— Так пивко же. Бевалкогельное.

В сених, за спиной хозяина, мелькнуло бледное лицо жены Вострова — Любаши.

— Ну, если что... на минутку.

Востров куда-то исчез, полез, должно быть, в подпол за огурцами. Любаша накрывала на стол.

— Ну, как живется, Любаша? — сказал Венька и почувствовал, как сладкий комок перехватывает горло. Он расстегнул ворот рубахи.

— А так... хорошо, — опустила руки Любаша и посмотрела Веньке прямо в глаза. Была она, как и тогда девочкой, туга телом, щедра пепельно-русыми волосами, сероока и белозуба. — Ученую выбрал, — угнула она и сняла тарелку со сковороды, полной шкварчащей яичницы. — А мы что, мы живем хорошо.

— Дак...

— Ну как тут у нас? — еще с порога крикнул Востров и начал поспешно ставить на стол миски с солеными огурцами, квашеной капустой, мочеными яблоками. — А я, как видишь, перестроил отцов дом. Колхоз подсобил... Ну, и как у нас тут багет-марафет? Телефона вот не хватает.

Любаша засобиралась на речку, подняла таз с бельем. Семишкин проводил ее долгим взглядом. Налили по первой.

— Нельзя мне, — отставил стаканчик Семишкин. — Замок Капе дал.

— Ну, по маленькой. За нашу новую хату. За счастье наше с Любашей.

— Ну, разве... за счастье.

В ход пошли яблоки и огурцы, подовый хлеб и сметана.

— Так ты говоришь, она у тебя ученая? — наклонился Миша к Семишкину. — Ну, и как тебе с ней?

— Да так, приучаюсь. Скучает, скажу тебе. Письма на кровати разложит — все, как одно, на заграничном — и сидит, смотрит на них, как горлиночка.

— Скучает, значит. А по ком, значит, скучает?

— Студентками, говорит, были вместе.

— Угу. Оно, конечно, муж всегда после всех узнает.

— Что это, екарь-мокарь?

— А то. Ей, может, всякие пишут. И письма у тебя перед носом, а ты в них ни бе и ни ме. Темнота. Хоть и лампочки людям подвешиваешь.

— А ты виднота?

— А где же тогда она у тебя провела целое лето?

— Где? В «Интуристе».

— Во, в «Интуристе». Верно.

— Чего верно?.. А ты, Миш, можешь, екарь-мокарь, по-ихнему?

— Да как сказать...

— Можешь! Ты же десять кончал. И учился неплохо... В общем, я ментом. Одна нога тут, другая там и обратно.

И Семишкин исчез. Не прошло и получаса, как Семишкин влетел, запыхавшись, и швырнул полевую сумку на стол.

— Вот,— сказал он, утирая пот со лба рукавом.— Ух, жарища. Ну, и что там по-ихнему?

Востров отвернулся, провел по губе ладонью то место, где обычно растут усы, и взял из рук Семишкина первое попавшееся письмо.

— Так, значит, Вениамин Кинстинтипыч... Ага, верно, из-за границы. Читаем: «Дорогая моя Капитолина Евсеевна...» Ага, значит, уже дорогая... «Посылаю тебе это письмо, а сам вспоминаю»... Сам — мужик, значит. Так, понятно.

— Чего понятно? Читай.

— Читаю. «Мы проводили время в «Интуристе»... Я ж говорил, Вениамин, в «Интуристе»... «Я твой, этот... укажер, приехал из далекой заграницы, чтобы покрыть тебя тысячью поцелуев»... Тысячью поцелуев!

— Повторять тебе надо, читай!

— «Тысячью поцелуев»... Н-да... «А муж твой дурак и тюфяк. Ходит, говоришь, обвешанный проволокой? Похабные частушки, говоришь, пел по всему Кленову? Я сразу понял тогда, когда ты привела к себе его в номер од-

нажды. Он, дурак, еще кормил меня салом. И раззвонил про то на половину района»...

— Где тут написано «салом»?

— А вот, гляди. Видишь? Шмальцем. У них это сало так называется.

— Верно, шмальц — по-ихнему сало. Вот сволочи, их же салом, а они тебя... Дальше, дальше крой!

— «Поступил, говоришь, в техникум? Бросит. У него от книжек мозги повывихиваются, у него, Племяка, кишка на это тонка»...

— Врет, стерва! Чтоб мне сдохнуть, с книжкой буду ложиться, с книжкой вставать. Мы еще поглядим, кто кого. Чтобы мне языком сковородку лизать, чтоб я...

— «А еще он, подлец, этот Венька, односельчан своих не уважает. И плюет на колхоз. Правление решило провести электричество в первую очередь передовикам, а он...»

— Это он верно, да. Подлец я, ей-богу, подлец! Хочешь, с тебя начну, Михаил. Слышишь? Завтра же... А Капка, дура, все, значит, ему сообщает. И про шмальц, и про техникум. Н-ну!

— Ты полегче с ней, она женщина и притом педагог.

— Обидно ведь, тут все силы укладываешь, и вообще. — Венька положил свою смоляную чупрыну на ска-терть и заплакал.

— Поплачь, поплачь, — отвернувшись к окну Востров и провел по губе ладонью там, где обычно растут усы. — Это тебе, Племяку, на пользу.

А на завтра возле дома Семишкиных бабы зафиксировали землетрясение. Слышно было, как в распахнутое окно извергался Венька всякой некрасивостью. Вдруг из хаты полетели женские туфли, сапоги, босоножки.

— А, заграничные? И эти заграничные? Кем присланы? Откуда взяла? Из «Интуриста»?

— В магазинах продаются, — послышался голос учительницы. — Не в лесу живем, торгуем с заграничней.

— Чем торгуем? — снова взорвался вулкан, и бабы прыснули от окна в сторону.

В полдень Венька Семишкин нашел Вострова, поднимающего зябь аж на дальнем загоне.

— Все,— икнул подавленный Венька и опустил на борозду.— Все сказал Капке.

— Ну ты... н-не очень,— забеспокоился Востров.— Ты такой м-медведь.

— Ушла она, баста. Вот письмо написала. На своем заграничном. Смеется, что ли. На, почитай.

— А я, брат, по-немецки... того... не умею. Я же в школе английский учил.

— Как не умеешь? Читал же.

— Читал,— вздохнул Миша Востров.— А теперь не умею.

— У-у, бродяга, темнота, недоучка! — завертелся на месте Семишкин и, вырвав письмо у Вострова, помчался в деревню.

Он влетел в учительскую, крикнул техничке еще из дверей:

— Где тут Капка, Капитолина Евсеевна?!

— Чего вы кричите? — подошла к нему завуч Егорова, пожилая, степенная женщина, учившая Веньку в пятом по географии.— Дома кричит, в школу влетел, как сумасшедший, тоже кричит. Надо уметь вести себя в обществе, молодой человек. А Капитолина Евсеевна уехала сегодня в райцентр.

Семишкин бросился разыскивать Евгения Ефимовича — учителя, который, как было глубоко уверено не одно поколение кленовцев, прошедших через его руки, знал большинство популярных языков всего земного шара. Венька застал его в палисаднике. Евгений Ефимович выкапывал клубни георгин, чтобы уложить их на зимнее хранение.

— Вот, пожалуйста,— протянул ему Венька изрядно

смятое, пропитанное потом ладоней письмо. И замер в напряженном ожидании.

Евгений Ефимович медленно вынул очки, вытащил их из чехла, достал из другого кармана носовой платок, поднес очки ко рту, подышал на стекла, не спеша протер их платком, наконец, водрузил очки на переносицу.

— Евгений Ефимович! — приплясывал от нетерпения Венька.

— Вы, молодой человек, насколько мне помнится, сами необходимой спешностью не обладаете. Мне, например, электрический ток до сих пор не подвели. Забыли старую промокашку. Ничего, молодежь всегда все забывает, ей, молодежи, простительно... Ну-с, так что тут в письме у нас? Ага. «Дурак ты, дурачок, Венька. Любимый, дорогой. Я же тебя люблю. Это письма от подруг по институту. Думала, все у нас будет, как у людей, а ты накричал на меня. На меня никто в жизни еще не кричал. Говорят, что это у тебя от прежнего — алкоголический психоз. А как еще же объяснить происшедшее? Уезжаю. Капа».

Венька сидел на скамейке, упершись взглядом в сморщенные серые клубни, над которыми еще совсем недавно пышно цвели георгины.

— Послушайте моего совета, молодой человек, — коснулся его плеча старый учитель. — Не старайтесь искать виновного. Вы сами виноваты во многом... Поезжайте и верните ее.

Солнце уже легло на березу. К клубу стекался люд. Навстречу Веньке пер со своей «тулкой» Колька Свиридов, разводил меха от плеча до плеча, горланил, осваивая новое дело — Венькину частушку:

Как у Веньки Племяка  
Музыкальная рука...

Венька приостановился, постоял, послушал его, потом плюнул с досады, решительно повернул к автобусной остановке, чтобы успеть последним рейсом в райцентр.

*с. Луковец*



Веня Жулик не мог заснуть целую ночь: извертелся в постели, так и этак прикидывая, как и что будет дальше. Лишь под утро решился рассказать жене Пелагее про письмо, которое вручила вчера почтальонка.

— Сестрица моя, выходит, нашлась, Настасья,— приподнявшись на локоть, огляделся он по сторонам.— Живет, вишь ли, в этой... Канаде. Спрашивает, как мы тут.

Достал из-под подушки желтый конверт, не читая, сунул в пиджак. Перешел почему-то на шепот:

— А я так думаю: вырвал из сердца и нету.

Пелагея была баба слезливая, слабая, без собственных слов, но тут, помолчав, сказала свое:

— В Акинтьево-то пишут аж с того света... с Новой Зеландии одна объявилась. И ничего.

Веня Жулик составил ноги вниз, на половичок, покряхтел специально для Пелагеи, чтобы вызвать к себе бурю жалостливых чувств по отношению к этому идиотскому радикулиту, и, взяв штаны в руки, начал искать ногою штанину.

У Вени имеется своя, отцом даденная фамилия — Куроедов, но все на селе зовут его только по прозвищу. Обидное прозвище. Давнишнее, еще послевоенное, правда, привык к нему, откликается. И все ж, нет-нет, да и стянет душу обида. Век труженик — и плотничает, и по жестяному. Ну, ошибся раз, так теперь как бельмо. Крыльцо ру-

бил тогда Хромовым, и куда она задевалась, пила поперечная? Ихняя, хромовская. И черт дернул пойти взять пилу у Липенчихи, отнести взамен Хромовым. А Липенчиха, дьяволица, поймала его, отвела к Хромовым, изъела пилу, да еще и жуликом обозвала, как влепила. Мужики, бывало, после войны, как где в кучку, так ему и объясняют: «Ну что у тебя за фамилия, Вениамин, Куроедов? Так, один обман зрения. Потому как где они, куры? Всех фрицы решили, вот кто куроеды. Ты, Веня, у нас просто Жулик».

Вениамин прогоняет неприятное воспоминание, затягивает ремешок. В штанах он чувствует себя посмелее, указывая на пиджак, говорит Пелагее:

— А что, вишь ли, еще разок почитать?

— Ну, а как же, — встряхивается Пелагея. — Для чего такого и пишут?

Вениамин шарит в расписной жестяной банке из-под грузинского чая, достает очки с перемычкой, стянутой мягкой медной проволокой, надев дужки на уши, изменяется до неузнаваемости. Берет в руки узкий желтый конверт, смотрит внутрь его, потом на свет.

— Это ж надо, — смеется он тонко, как-то по-бабьи. — Затемнение делают.

— Какое затемнение?

— Да на конверте-то. Глянь: сверху желтое, внутри темное. Как от бомбежки.

— Скажешь тоже, — подхихикивает Пелагея. — Все бомбежки тебе на уме.

— Так, — откашливается Вениамин, и лицо становится серьезным, даже хмурым, письмо мелко подрагивает. — Так, читаю... «Шановный мой братец Веня»...

— Что это — «шановный»? — останавливает его Пелагея.

— Чер-те знает, — пожимает плечами Вениамин. — Может, чиновный? При чинах, значит?

— Да какой же ты чиновный?

— А откуда, вишь ли, ей знать? Может, я для нее и чиновный, — важно поправляет очки Вениамин. — Ну, да не пересекай, завоза. Читаю... «Шановный мой братец Веня! Пишу и не знаю, живой ты или сгиб. Я жива и здорова. Когда боши погнали нас, я все плакала, весь шлях слезами полила до самой Германии. У бауэра работала, на заводе работала. Как только были живы! Освободили американцы, я попала в Канаду. Вышла замуж за пана Болеслава, он поляк и тоже из лагеря.

Мы много работали. Растили... о, матка бозка, забыла... растили клубнику. Взяли фамилию Огородник. Мы теперь живем хорошо. На берегу озера. У нас ферма, два больших дома. Летом у нас отдыхают из Монреаля. Здесь все делают бизнес.

Здесь красиво, а на родине лучше. Я все плачу и плачу. Если жив, мой братец Веня, напиши. Не стесняйся, попроси у меня что-нибудь. Поклонись всем, кого знала.

Целую. Твоя старшая сестрица Анфиса».

— Господи, — плакала в подушку жалостливая Пелагея. — Как же ей, бедной, пришлось! А все эта война — разлучница... Семья разбила, души разворотила. Все она, ненавистная...

Было тихо. Мирно тикали ходики. Внутри у них что-то вашумело, накатило и хлопнуло, в приоткрытую дверцу трижды, потом еще раз вылетело: «Куку-куку-куку, куку». И тотчас во дворе загорланил петух.

— Надо корове давать, — засобирался Вениамин. — Сегодня в стадо не погоню, к быку надо.

— А как же с письмом-то? — выдохнула Пелагея. — Ить мается человек, плачет по Родине.

— Много ты понимаешь, — остановил ее Вениамин. — Пишет, у нее, вишь ли, ферма. Капиталист, значит, какой-никакой.

— Да ить сестра же, — смотрела в пол Пелагея. — Не басурманы какие мы — люди. И говорит, не стесняйся, проси, чего хошь.

— Мошна-то у нее, может, и длинная,— упорствовал Вениамин,— да у тебя, бабы, ум короткий.

Упорствовать-то упорствовал, а сам уже думал над глубиной Пелагеиных слов. И потом думал, когда отводил свою Прогрессивку к быку. И когда насаживал обручи бочкам на овощеприемном пункте, когда к нему подкатилась Дунька Слизнова — бахчеводка, такая смазливая, жох, во-евода:

— В ресторан, что ли, в город отвез бы, а, Вень? — прошла она как-то боком и глянула из-за плеча.

— А на какие шиши? — поднял киянку он и ахнул для осадки по днищу.

— Ишпо рассуждает! — обиделась на невнимание Слизнова.— Чего тебе, Жулик, теперь молотками мотать? Тебе сестра пол-Америки спешет.

Вениамин ушел от нее под навес, от греха. И все злился на Пелагею, пока Дунькины слова не перебились собственными мыслями. А мысли являлись всякие, в том числе и самые интересные.

«Ну, ладно, доберусь до тебя»,— обижался он на Пелагею, но и сам уже понимал, что шила в мешке не утаишь, все равно объявлять народу придется.

Этим утром опять разговаривали про Анфису. И другим утром. И третьим. И уже привыкалось к ней, сходило первое впечатление. И ничего, жизнь текла, как и прежде. Настороженность, с какой они встретили весть о том, что у них объявилась родственница за границей, уступала место спокойному приятию факта. И тогда все рьянее становился шепот Пелагеи.

— Жуликом ишпо кличут,— ударяла она в большое место.— А какой ты жулик? Родной сестре письмо написать боишься, попросить чё-нить. Так и пишет, гляди: «Не стесняйся, все отдам, попроси у меня чего хошь».

— Не совсем так.

— Ну, может, не в точности... Завтра суббота, Юля с вятаем приедут, обсудим все...

Ничего, оказывается, в этом страшного не было. Подумаешь — Канада! Скоро родственники будут на Северном полюсе и даже в космосе. Юлин муж, Николай, инженер, тут же взялся составлять письмо. Составил и в конце приписал, что не мешало бы получить от сестрицы автомобиль, например, «Москвич». В газетах пишут, что их там продают изобильно. Как уверял Николай, обладание «Москвичом» разрубило бы в их семействе целый узел вопросов: по автобусам с продуктами из деревни не мыкаться, в гости к себе возить отца с матерью, ездить в отпуск на юг... и вообще...

В воскресенье Юлия с мужем отбыли в свой областной центр, на работу, а Куроедовы с нетерпением стали ждать от письма результата.

Через месяц в село Волоконовка на имя Вениамина Ефимовича Куроедова пришло из Москвы извещение. А еще через пару месяцев Юлин Николай смотался в столицу и подкатил в голубом «Москвиче» к Куроедовым под самые окна. «Москвич» молодые тут же, конечно, забрали в город, в мгновение ока отгрохали там из стального листа гараж. Все эти поспешные операции смутили Вениаминову душу. В самом деле, горбачишь — горбачишь... А тут раз, два, и вот он — стоит себе, посверкивает блестяшками. Наш, отечественный, даром что на ихние денежки. «Да ведь это же, — мужики говорят, — хорошо! Доллары пришли сюда к нам оттудова. И тебе ладно, и государству прохладно. Ты у них, буржуев, еще чего-нибудь вымани».

Легко языком трепать: вымани. Надо и гордость иметь. Вон младший, Сережка, из Сибири, что отцу-матери пишет? Укатил, стервененок, на строительство магистрали и вразумляет оттуда: «Ты, бать, на чужое добро рот особо не разевай. Ну его! Сами с руками, с ногами. А вот сестру свою, тетю мою, значит, нашел — вот за это хвалю».

Юлия с Николаем обратного мнения: чего, дескать, еще чего-нибудь не попросить? И мать подтравливают, не та Пелагея стала, как подменили бабу, аж тревога берет. То

была такая ровная, тихая, а теперь все у нее рывом — рывом, ураган. Злится вроде, а на кого?

Лежит Вениамин на постели, и Пелагея вроде рядом и вроде не рядом. Прислушивается Вениамин, когда кукушка свои четыре отстукает, чтобы сразу вскочить и идти хлопотать по двору...

— Вениамин, — говорит Пелагея («И голос не тот, и само обращение»). — Думаешь хату к зиме перекрывать, вон потеки? Сарай с углем просквозило, сенной тоже дышит на ладан. А ты с мужиками сидишь-рассиживаешься, чего такого хорошего сидишь обсуждаешь, когда двор валится?

Не баба стала, а кремень. Чуть что поперек — искры из глаз. Разве бабе докажешь, когда очертенеет? Понимает Вениамин потаенную мысль Пелагеи: попросить у Фисы денег, купить свежую хату. А то перестроиться. И подумать страшно взгромоздить на себя такой воз. Легче, конечно, купить, и тут без Фисиных денежек не обойтись.

Вскоре пришло еще письмо от Анфисы. «Дорогой мой братец Веня! Я тяжело болею. Это пишу не я, а за меня. Меня лечат в госпитале. У меня рак желудка... Так и не увиделись мы с тобой, не посмотрела на твоих деток. Не увижу больше солнца Родины»...

Письмо прямо-таки ошарашило. Целый день Вениамин ходил сам не свой, вспоминал, как росли они с Фисой без матери, как, бывало, Фиса и варила, и стирала, и даже ходила в школу за мать. Все припомнил Вениамин, до малейшего, и сидел за столом, обхватив голову, думал: стоит ли человеку появляться на свет? Ну, что за жизнь — хоть ее взять, Анфисину? Была ль она у нее, эта жизнь? Жили мирно, трудами — так нет, налетели, схватили, увели к себе в полон. Да и после какво было там, на чужбине, мыкаться, он понимает. А привстал, обросла костью — тут эта болезнь. Все здоровье отдано, жизнь. «Да жизнь ли это? Черти бы взяли ее, такую-то!» — заколотил кулаками по столу Вениамин и, упав головою, заплакал.

Теперь и он постепенно склонялся к мысли, что у Фисы можно попросить кой-чего. И верно, хата плохая, люди в таких теперь не живут, вон какие домики отгрохали. А что они с Пелагеей? Пока от войны поднимались, детей на ноги ставили не до хоро́м было. А теперь это можно: у самого еще руки-ноги целы, дочка с сыном деньгами помогут, Фису, если попросить, не обидит — потихонечку, полегонечку дом как-нибудь и взгромоздим.

Пелагея отрицала эту его долгую тактику. «Фиса тебе чего хошь, а не то, чтобы хату,— дышала утрами она ему в ухо.— Все равно помирать, так она тебе все состояние перекачает. Попроси только». И принималась считать, сколько стоят те два Фисиных огромнейших дома, что на берегу озера, да вся ее ферма. Запутавшись, начинала опять считать. «Дура,— говорил ей спокойно Вениамин,— там же не рубли, а доллары. И вообще, совсем другая система». Тогда Пелагея принималась с другого края: сколько у них в Волоконовке населения и можно ли то население затолкать в эти два Фисиных дома? Выходило, можно. «Видал? — шептала Пелагея ему восхищенно.— Это ж денег у человека больше, чем во всей Волоконовке». — «Не забирай дюже лихо, не забирай,— придерживал ее Вениамин и бубнил под нос себе: — Ить надо, с резьбы баба сошла».

В последнее время Пелагея с лица и с фигуры как бы раздобрела: меньше в колхозе вытягивалась, больше ласы точила с соседями. А чего там, рассуждала, на наш век всего хватит, а уйдем туда, все оставим здесь, ничего не возьмем. Как, например, сестрица Вениаминова — Анфиса канадская. Пелагея и за мужем теперь лучше приглядывала: и насчет завтрака — вовремя, и насчет тяжелого поднять — сдержит, охолонись...

Не успели они обсудить в подробностях и написать Анфисе письмо с щекотливой просьбой, как почтальонка принесла им новый, серьезный пакет. Прочитали: Фиса скончалась. Отлегло маленько: завещала наследство. Вско-

ре к Куроедовым зашел еще Юлин учитель — Владимир Петрович, по военному делу. И начал с подъездов:

— Вениамин Тимофеич, с тебя причитается. Видал в газете написано? А ну-ка читай: «Инюрколлегия»... «По делу Огородник А. Т., умершей в Канаде, разыскивается»... Тебя, Вениамин, выходит, разыскивают, наследство на тебя падает... Миллионы, небось, миллиончики, — усмехнулся учитель.

Слова его были выслушаны в молчании. Умерла Фиса — бог с ней, умерла. Похоронят. А вот груз какой навалила. Шутка сказать: миллионы.

— Полколхоза можно купить да еще на табак останется, — смеялся учитель.

— Ну, уж нет, — погрозил ему пальцем Вениамин. — Воробей я, брат, стреляный, колхоз — дело общественное, непродажное и непокупное. А вот ежели за него государству долги оплачу, то медаль мне дадут, а? В бронзу голову отольют?

— За чужие-то денежки? — отрезвила его Пелагея.

Так теперь и жил Вениамин вприглядку, со страхом в душе. Как припоздает где, так из-за углов ему фигуры мерещатся, всем больно нужны его миллионы. «Как бы это, мать, меня того... не украли», — выразился однажды он Пелагее. — «К-как... не украли?» — оторопела она. — «Как за границей украдают? Р-раз и в квас, а потом выкуп». — «Больно нужен кому, — успокоилась Пелагея. — Не инженер...»

С юристом канадским Вениамин из Волоконовки разговаривать не захотел, поехал в областной центр, к Юле. Николай моментом сунулся туда-сюда, к адвокатам-юристам. Все накручивал Вениамину: «Вы, папаша, свое не сдавайте им. Это ж акулы! Говорите, так, мол, и так: по завещанию я, прямой, мол, наследник. А что дальше будет, увидим...»

Когда ехали в трамвае к почтамту, Вениамину показалось, в переднюю дверь нырнула знакомая фигура. «Ни

дать, ни взять свой, волоконовский», — забеспокоился он и стал приглядываться ко всем пассажирам, с тревогой следить, как быстро в октябре сжимается и переходит в сумерки день. Разговор дали в полночь, объяснили: рабочий день там у них лишь начинается. Прежде чем войти в кабину, Вениамин еще раз осмотрелся: сидевшие на стульях вроде бы ожидали свое.

— Алло, алло, — прозвучал в трубке мужской металлический голос. Совсем близко, как на соседней улице. — Это вы есть Вениамин Тимофеевич Куроедов? Я ваш юрист... Вы по завещанию есть прямой наследник вашей сестры Огородник. Но прежде вы должны оформить документы, принять наследство. Вы меня понимаете? Вам полагается...

В тот момент, когда юрист, как показалось Вениамину, должен был назвать ему миллионы, мимо кабины кто-то мелькнул. Опять тот, что в трамвае?!

— Тихо, Америка, тихо, — простонал в трубку Вениамин.

— ...юридически оформить наследство, — продолжал металлический голос. — Должен вам сообщить, что дела патрона пришли в последнее время в расстройство. Кредиторы предъявляют счет, который превышает стоимость имущества... Принимая наследство, вы берете обязательство...

«Что это он говорит?» — сжался вдруг Вениамин и похолодел. И то приближал, то отдалял от себя телефонную трубку.

— ...в долларах это будет...

«Не тебе, а с тебя миллиончики!» — осенило его, наконец, и он испугался, как заразу, швырнул трубку в угол на столик. Уходил, не оглядываясь, а в спину все бился металлический голос:

— ...вы меня слышите?

— Черти вас слышат, — бормотал под нос себе Вениамин.

Вышел на свежий воздух, под высокое небо, и сразу же стало легко. Представил, как завтра вернется в свою Волоконовку, так и брякнет Пелагее с порога: «Не получились из нас с тобой миллионщики». — «И ладно, — согласится с ним Пелагея, когда Вениамин обрисует положение. — Жили без ихнего и дальше жить будем».

Вся эта петрушка с наследством вызвала у волоконовцев дружный яростный смех. На глаза никому теперь хоть не попадайся. Встретит на дороге какой-нибудь черт, ущемит непременно:

— Ну что, Вениамин Тимофеич, съездил в эту... в Америку? — И заржет, загопочет: — Ай да Жулик! Куда тебе, Вень, до настоящих жуликов. Ты им по масти не подошел, дюже рыжий.

А Дунька Слизнова все зовет, тянет Венечку в ресторан на свои кровные денежки.

*г. Дмитровск*



Вихрастый, с черным от загара лицом паренек, по прозвищу Сталовер, пристроился в тени размашистого клена, сидит, клюет носом. Он привез на станцию последнее зерно в счет перевыполнения, а «холостяком» отсюда ехать не хочется. Сойдут свои с электрички, чего не подбросить городского односельчанина до самой Упаловой? Пусть знают Пимена Строева: доставит, кому куда надо.

Вечер сбавляет жару. Пимен волнуется: не успеет к получке, сорвется мероприятие. Он подходит к ларьку напротив, пьет кружку-другую прохладного жигулевского пива. Подходит к «лайбе» своей, прикладывает к горячей кабине щекой, чует в струящемся воздухе запах бензина и еще свежей нитрокраски на вмятинах, успокаивается, снова садится в тень клена.

Клен, он есть клен, эвон сколько их тут, и все от кочетков. И до чего же приемчатые, почище ракиты, зато кветлые — просто беда, ни на бочку, ни на постройку не идут. А Пимену пора подумать о собственной хате. Назвался муж, не говори, что не дюж. Валюшка уже начинает подходы, вправдочь ей надо с маманей...

— Сталовер! — отвлекает его от мыслей чей-то бабий зановистый голос. — А мне сказали, мол, Сталовер тут па станции. А я как кинулась бечь, бегу-бегу во-он откуда, а сердце аж в пятки бросается — ну уедет, ну не успею.

А сейчас в глазах одуванчики так и текут, так и прыгают.

Это Матвейха с Даниловских выселков — такая базарная тетка, только бы ей по базарам и бегать. Сталовер... что у него ни имени, ни фамилии? Пузо распустила, шагу ступить не может — вот одуванчики и распрыгались...

— Ладно, садись. С племянником твоим, с Витькой, спасибо скажи, в классах вместе учились...

— Вы как с Валюшкой сошлись — расписались али так, под ей-богу? — присаживается рядышком, налегает на плечо ему Витькина тетка и кладет рядом мешок с поросятами — мешок прыгает, поросята визжат, заходятся, хрюкают.

— Отстань-ка ты, тетк,— сердится Сталовер, встает и отходит.

— Да ты что, любый-ясный? — суется тетка со смятой рублевкой.— Да мы же свои, упаловские.

— Ладно, сиди,— отмахивается от нее Сталовер.— Чай, не нищи, денег не тыщи, но и куска не ищем.

— Будет тебе,— подхихикивает, трясет подбородком Матвейха и просится в кабину: так-то спокойнее, застолбила местечко.

А электрички все нет. Чтобы не томно было, Пимен еще пропускает пивка. Вот, наконец, и электричка. Из вагонов все кидаются в выстроенные у панели автобусы, к Пименовой «лайбе» подходит только один — косорукий учитель, присланный недавно в Упалово преподавать математику.

— Можно к вам, Сталоверов? — подходит он робко.

— Само собой,— кивает радостно Пимен на кузов и, сбив лихо фуражку, рывком дергает дверцу да вместе с дверцей так и валится наземь спиной.

Дорога начинается сразу же с тряски. Сколько хватает глаза, дорога уходит в степь красновато-песчаными, серо-землистыми холмиками. Прожаренно, густо с полотна дороги шибает смолой.

— И ремонтируют, и ремонтируют,— подает голос Витькина тетка.— Сухой асфальт этот... Сколько денег легло, червонцами бы устелить можно.

— Это уж факт,— улыбается Пимен.— Сегодня проедешь, а завтра задок на капиталку.

— Как с Валюшкой-то живешь, ничего? — придвигает к нему свое пышное, жаркое тело Матвейха.— Ничего, пока месяц медовый, а потом как начнешь по затылку, небось, колыхать.

— А чего же, молиться?

— Во-во, заговорил, запел батюшка-кадило,— отодвигается тетка.— Все вы, природы, такие-то.

— Да это я так говорю.

— А нешто за деньги.

В этот момент Пимену «лайбу» тряхнуло, тетка ойкнула и побледнела.

— Как в погреб ухнул,— стрельнула она из-под платка.— Смотри, Сталовер, да присматривайся.

— И так, как в телевизор,— огрызнулся Пимен и глянул через плечо: что там делается в кузове?

А делалось там нечто необыкновенное. Раздвинув ноги, математик гонялся единственной своей рукой за какими-то бумажками. Пимен оторопел: трояки, пятерки, червонцы. Вихрь гонял ассигнации по полу, свивал-перевивал между пальцами, косорукий наклонялся, тужился, бурел от натуги, а пол ускользал, прыгал. «И откуда столько-то? — пронзило Пимена, в голове проскочило множество предположений: — Дом продал? Кого грабанул? Кассу взял, например, сберегательную, как кто-то в позапрошлом году в Белозеровой... Да с одной-то клешней?» Пимен снова метнул взгляд назад в оконце, «лайбу» тряхнуло, косорукий хватнул рукой воздух, чуть ли не вылетел вон, но, изловчившись, тут же поймал трояк с лету и с лету же сунул в карман. «Во циркач,— оценил обстановку Пимен.— А что остается: жизнь или кошелек? Жадный, однако, до денег»...

— Деньги-то как летают, а? — весело качнул он затылком Матвейхе. — Летают червонцы, тетк, шансы-пансы, елки-моталки.

После очередного толчка Матвейха обалдела, сидела мертвая, держась за мешок с поросятами.

— Время такое... летают, — отходила она постепенно и заерзала, подтвердила не без подхалимства. — Деньги тебе, что воробьи: получать большие, тратить ма-аленькии... Говорят же девке, ищи мужика попокладистей да поокладистей.

— Я тебе про Фому, а ты про кого? — с досады Пимен так тряхнул «лайбу», что у тетки вякнула нижняя челюсть.

— Анчибал рыжий! — взмолилась Матвейха. — Рассадись всю эту... плетуху-то. И правда, завтрачка на ремонт.

И Пимен заговорил, прорвало его. Недавно, когда припоздал к комбайну и с него, сказали, снимут дополнительную оплату, он смолчал. Смолчал, и когда надо было ответить механику, что график — это, между прочим, и запчасти, это и техника, елки-моталки, а не склепки-заклепки. Взяли моду замазывать зубы этой вот «лайбой». Как кто после курсов, так за нее сажают. А на ней и черт не уездит, и шоферу со стажем не хлеб. Станет, пык-мык, ни с места, хоть плачь. А завгар еще: «Вот молодцы-зеленцы, ездить ни хрена не умеют». Больно умный! А ты дай ей ремонт, дай, какие надо, запчасти...

— Шлындаете по базарам, деньги клешнями гребете, пшекулянты! — заговорил, наконец, Пимен, стараясь выплеснуть на Матвейху всю свою горечь. — А на свеклу тебя не загонишь, у тебя мочей нетути. А мясо, яблоки, сало возить в город есть?

— Рабочий класс прикармливаем, — слабо оправдывалась Матвейха и вдруг перешла в наступление: — Учитель этот... пассажир... тоже развел свиноферму, на «Жигули» собирает. Ему, значит, можно на «Жигулях» раскатывать,

а мне, значит, нельзя-я? Я таковская, я земляная, из грязи не вылажу?

— Лучше бы твой косорукий больше углядывал за де-тишками,— обрезал ее Пимен.— А то опять в институте завалились в этом году по математике... А дочек, небось, как агроном, в городе держит у бабки, в городской школе. А сам тут колобанит на свиньях. За такие дела, по истории помнится, отсекали правую руку... Нехай себе полетают по кузову эти... шансы-пенсы, воробьи, как говоришь, с крылышками.

И Сталовер поставил босую ногу на акселератор — «лайба» вспрыгнула на песчаную бровку и понесла.

— Эй-эй-эй! — доносилось из кузова.— Притормози-и! Пррритормози-и-и!..

— Притормози,— заглядывала через плечо в оконце Матвейха и хваталась за ручку.— Бога ради... притормози...

— Деньги с крылышками, воробьи? — нашло на Сталовера.— Как прилетели, так нехай и улетают.

Он приоткрыл дверцу, стал ногой на подножку и, почти выпершись наружу и держась левой за баранку, крикнул весело в кузов:

— Эй, на палубе! Жизнь или кошелек?

«Лайбу» в этот момент тряхнуло, и Сталовер мигом нырнул в кабину.

Он пролетел по Упаловой, миновал тихо мостик, вовсе сбросив газ, подъехал к самой школе. И тут... лучше бы не видеть... Пимен увидел, как учитель выбирался из кузова. Сталовер хотел подставить плечо, но косорукий, оттолкнув его, плюхнулся прямо в пыль. Уходил учитель в дверь, не отряхиваясь.

Сталовер потоптался на месте, повел взгляд по серовато-шершавым стволам — сам сажал еще, помнится, в пятом. Ишь, подтянулись, приемчатые, почище ракиты. Зато квелые, не годятся ни на какую постройку...

На последнее мероприятие Пимен все же успел. Зарплату ему выдавали под цвет глаз — зелененькими.

— За твои тройки, за наше здоровье, — принимала его в свою братию шоферня.

Тут же на травке с ними сидел и кассир Тимофеич — не мужик уже, но еще и не старик. Так, посередке. Шутили, что деньги из банка он привозит — для строгой секретности — в плечиках пиджака.

— А сейфик на что? — отсмеивался Тимофеич. — У нас контора не то, что школа или кинопрокат. Возят зарплату из банка в карманах. Директор в отпуске, так косорукий вместо него...

Пимен больше не слышал Тимофеича, что-то стукнуло ему в голову, он вскочил и кинулся к «лайбе». Мчался по дороге на Выселки. Витькина тетка все еще шла. Он поравнялся с ней машину, ехал под ее шаг.

— Ты чего это про косорукого плела? — приоткрыв дверцу, сверкнул он глазами.

— Пимочка, милый, да про кого ж это? — запричитала Матвейха.

— Про учителя.

Поняв по выражению лица Сталовеера, что подъехать ей все равно не удастся, тетка вспыхнула и гаркнула во все горло:

— Идол, двоечник, мститель неуловимый! На окурках в классах тянулся, а теперь мстит. Надо было учиться. Витька мой скоро уже инженер, а ты все хулиганишь...

Пимен оторопел: ай сдурела эта Матвейха? Ишь, заехала куда. Лупит вон как, промеж глаз.

Он не заметил, что «лайба» остановилась. А Матвейха все уходила, уходила вперед. Руки его лежали на баранке и уже не чувствовали от нее приятной прохлады, не было в сердце той радости, той остроты, какую пережил он сегодня утром, принимая у механика технику.

Сидел и смотрел тетке вслед. Да чем он хуже Витьки-то, чем? Пошоферит, поездит на этой старушке — дадут

потом новую. Да что ему Матвейкин Витька? Квартира у Витьки в городе и «Жигули»? И у него будет квартира, на центральной усадьбе строится дом. А в город ему и не надо. Он свое место знает. Грудь — наковальню ставь да молотом грохай — не прохудится. А у Витьки от чертежей да бессонных ночей штаны уже соскочили. Тоже мне работенка... В общем, кого куда клонит... Так что трепаться трепись, тетк, да не заговаривайся. Это тебя, мякина, плохо в школе учили: забыла о роли рабочего класса. Загорать бы тебе под солнцем на станции со своей свинофермой в обнимку, если бы не эта вот «лайба», не эти вот руки. Сколько им еще покрутить баранку придется, все только начинается.

Вспомнил про косорукого учителя, сконфуженно крутанул головой: «Надо же так получиться. Как теперь глянешь в глаза человеку?»

*с. Губкино*



В сумерках с пролетевшей мимо машины через забор Петру Беспалову перебросили тюк. Петр подбежал к нему, развернул брезент, да так и присел: валенки! Целая вязанка: шесть пар и все черные, с фабричным клеймом. Разглядел под окном: добрые, крепко катанные, ворсистые изнутри, в голенище.

«Как с неба свалились», — подумал он, не зная, как к этому и отнестись. Но крестьянская жилка взяла в нем свое, и он стал прикидывать, куда и кому пойдут эти валенки. Каждому выходило по паре, еще и останется. Запирая сарай, с интересом взглянул на небо, но оттуда уже ничего не валилось.

Между тем сумерки сделались синими, тени от сарая и у собачьей будки стали глубже, плотнее. Из-за взрыхленных снеговых туч на Оладьевку взглянула луна.

— «Кто бы это мог бросить? — прикидывал так и сяк про себя Беспалов. — Щедрый нашелся, валенками швыряется... А может, Никишке метили?..»

— А попали сюда, — докончил он вслух, глядя в перламутровые, сквозящие преданностью бельма старой дворняги.

Кидайка вильнула хвостом и из подхалимства скрипнула два раза таким заржавленным голосом, что по телу Беспалова прокатились мурашки. Смазать пора ей горло, принести хлеба, что осталось от телки. Кидайка ела де-

ликатно и деликатно поглядывала на хозяина, на брезентовый тюк.

— Разбирается,— заворчал на нее хозяин и поспешил упрятать поживу в кладовку.

После ужина лежал на железной кровати у печки и думал. Так, не то, чтобы прямо о валенках, но они, дьяволы, все выныривали, сбивали с мысли в неподходящий момент. Вспоминалось о сыне, который служит сейчас на Амуре. Каково Ванюшке сидеть там в секретах? Должно, в сапожонках, а лютый мороз. Валенки б ему... Интересно, есть среди них сорок третий? Хороши бы Ванюшке. «И чего волноваться? — успокаивал он себя, пораскинув мозгами. — Чай, не что-нибудь — армия, выдадут... Такой он у них с бабкой смирный, такой тихоня. Этот непременно вернется к ним, старикам. Что ему делать, тихоне, где-то? Пусть лучше дома».

Это старшая, Шурка, та имеет подход. Такая невзраченькая, из трех щепок составлена, а поди как устроилась: экспедитор! И муж у нее толковый, непьющий, шофером. И детки такие белесые, культурные, все: «мамочка», «папочка». Все в нее, в Шурку... Не была такой, научилась. Жизнь и горбатого выпрямит. В городах-то всякого приходилось откушивать — и хорошего, и плохого... Ездит в свои командировки, по селам ей без валенок как без рук... тьфу без ног... Фу ты, господи! Опять на эти валенки вихлянулся, житья, право, нет.

Потом в памяти всплыло крупное, чуть припухлое лицо средненькой, Насти. Эта у них непутевая. Красивой, говорят, легче сбиться с пути. То они, парни, как игрушкой, ею играют, то она ими. Эх-хе-хе...

— Бабк,— позвал он Федотовну.

Петр Стефаныч повернулся к стене, вслушивался, как свистит в трубе ветер, должно, пурга разыграется.

Вон она, старуха его, Федотовна, обширная такая, серьезная женщина. Весь век в колхозе свинаркой, все стенки в горнице оклеила почетными грамотами. И клеит, и кле-

ит. Как вдарится в постель, так и мертвая. Только что носом посвистывает. А с прошлой осени еще и стала поставывать — ревматизм в ногах, вот прицепился. И ей бы валенки не помешали на ферме, на ее сквозняки, хотя без резиновых сапог там, пожалуй что, делать нечего. А если с калошами? Фу черт, опять эти валенки...

Так и лежал, распределял Петр Стефаныч Беспалов, оладьевский слесарь-ремонтник, эти чертовы валенки, пока не посинело окно. Тогда-то с новой силой вступило в голову то, о чем подумал еще вчера сразу же: кто б это мог удружить ему? В душе стало тревожно. «Сеньке, должно, а не мне вознамерились, — подумал он о соседе слева Семене Хромове, кладовщике. — Все же не чист на руку, недаром приезжал участковый... Ему, конечно, кому же, — утверждался в мысли Беспалов. — А может, грешат люди? Может, соседу справа Тишке Неврову? Смирен-смирен, ангел божий, на людях стукнуть босиком боится, а кошни совесть — такие вот... валенки»...

— Валенки, опять эти валенки, — сплюнул Петр Стефаныч на пол с досадой.

— Чего ты? — заворочалась за перегородкой Федотовна.

— Да так, отдыхай.

Сон явно не шел, тревога теперь просто ломила грудь. Свалились в душу чертовы валенки. Подвернулись, а ты и распахнулся, держи мешок шире. Как же, крепкие, вывалянные, ворсистые. А если бы были неважные?.. Да чьи хоть они? Ведь ничьи же. Тьфу, господи! Этак можно до чего докатиться...

Беспалов встал, вышел в переднюю, к верстаку. Это, по Ванюшкиному, его это самое... «хобби». Не серьезное дело, а так, когда на гулянке. Сколько сбито всяких скворечников, полочек, сколько слеплено табуреток. В последнее время одолела треклятая мысль — часы деревянные. Все деревянное: шестеренки, оси, полуоси, вся ходовая часть...

Включил свет, приблизил к очкам розоватую плашку из бука, углубился в привычную думку. Всегда выручало, сегодня и это никак не срабатывало. Перед глазами черные, белые, рыжие валенки, идут себе, уминая морозный, сыпучий наст, молоденький снег, хрусткую утреннюю наледь, мартовскую грязцу. В калошах и без калош, подшитые и неразношенные, в валеных и хромовых задниках... Сколько их то же самое пропущено через руки, пока не поднялись ребятишки. А теперь уже выросли, встали, пошли... Позарился, старый хрен, а? Добро бы тыщи на новую хату ай на «Жигули», а то — валенки... Своего не хватает? Живешь, колобанишь, как в молодости, а из-за чего? Из-за денег? Да что нам двоим со старухой в три горла, что ли? Так в чем оно, дело? Живешь — работаешь, не работаешь — не живешь...

Федотовне с вечера он ничего не сказал и потому казнил себя еще горше. Ну, что он сделал плохого? Ну, подобрал, ну, отнес их в кладовку, валялись же...

Едва дождавшись рассвета, Петр Стефаныч потащился в правление. Пришел, бухнул мешок на стол председателю. Председатель колхоза Кострикин — шустряк, молодой еще, недавно из школы — долго вслушивался в путавую речь Беспалова, потом поставил ладонь на ребро:

— Короче, украл, говоришь?

— Ну не то, чтоб украл, Егор Семеныч, а как бы... украл. — От натуги Петр Стефаныч даже вспотел. — Воровать нынче, конечно, воруют. А как же. Где забыл что — тоже своим не зови. Только мне — что? Мне во двор перекинули, а я, дурак, спрятал.

— Укрывательство, что ль? Признаешься?

— Вон сосед мой справа Тишка Невров, — не слышал себя Петр Стефаныч. — Может, он? Дык он вроде смирный, ему чужого не надо. А может, левый сосед, Хромов Сенька? Тот лихой, а грешить не хочу. А может, еще через двор — тезка Петр Замарашкин? Того в позапрошлом году с семенной пшеницей ловили...

— Все у тебя такие,— встал из-за стола председатель.— Тот лихой, этого с пшеницей ловили. Себя на рентген поставь да вагляни, все мы хороши... Машенька,— поднял он телефонную трубку,— сбегай за участковым, он в гараже.

— Так мы что? Мы люди маленькие,— побледнел Петр Стефаныч и уж не рад был, что приволок сюда эти валенки, лучше бы выкинул на дорогу.

Шумно вошел участковый Храпоничев в новенькой форме, плюхнулся у стола, скосил на Петра Стефаныча глаз.

— Вот мы гадаем тут вместе, Матвейч,— изменил тон председатель.— Понимаешь, такая история: валенки вот ему через забор перекинули. По ошибке, говорит. Кто б это мог?.. Из сельпо?

Участковый привел в движение лоб, потом брови, потом снова лоб. Только собрался что-то сказать, как вбежала старшая дочка Беспалова — Шурка, Александра Петровна.

— А, вот они где,— увидела она на столе ворох валенок.— А мне мать сказала, ушел в правление с каким-то чувалом. Ну я бежать сюда... Отец,— сказала она с укоризной,— ну что ты устроил тут? Я же валенки привезла тебе с матерью и соседям, просили... А вчера проезжали мимо в Еропкино, мне в Еропкино надо было, там и ночевали. А шофер заартачился — выпивши был, не остановился. Я и скинула их за забор: разберемся потом...

— Ты меня, Шурка, чуть в могилу не загнала, а уж в тюрьму б это точно,— поднялся, как сто пудов свалил с себя Петр Стефаныч, и щека у него дернулась.— А я уж в тюрьму засобирался. И на людей грешить начал...

— Еще чего! — вспыхнула Шурка и хватала, выхватывала из вороха валенки, искала нужный номер.— Вот! — тряхнула она и решительно приставила к ноге отца новенькие, черные, в следу шатко-валкие, которые так и при-

валились к голени Петра Стефаныча, едва она выпустила их из рук.

— Ну пет уж,— отодвинулся Петр Стефаныч,— я как-нибудь... того... обойдусь.

— Да гляди они у тебя какие! Пять раз подшитые, разбухались. Как лоханки.

— Подумала б, Шурка, что говорить. Выставлять отца так вот перед людьми,— улыбнулся целовко Петр Стефаныч и утер лоб ладонью. Наклонился, взглянул искоса вниз, пришаркнул левой ногой.— Да мне они, может, в пять раз дороже твоих перазношенных. Может, я в них, когда ты еще во-от такусенькая была, на станцию за зернофуражом по два раза за день мотался. А то в чем еще ездил на Север лес пилить от колхоза? Из какого матерьяла правление, в котором в данный момент заседаем? Как куды ехать, бывало, все в легкой обуви, нельзя. А мне можно, я похватной. Сколько в этих лоханках я всего своего оттоптал, сколько стежек-дорожек? В самую непогодь, в пургу несусветную...

Неожиданно взгляд Беспалова упал на ноги председателя, сверкнувшие под столом матово-хромовым блеском. Председатель заметил взгляд, подтянул ноги под табуретку, но было поздно.

— Во кому нужнее они — это факт! — поднял валенки с полу и поставил на стол перед председателем старый Беспалов.— Носи, Егор Семеныч, тебе нужнее, носи! А то без них, гляжу, ты как без рук. На Рыкановскую ферму все никак не проберешься, а там корма уже располовинили... «левани»... Носи, носи, в них тебе всюду ход и тепло, как на печке. Носи на здоровье. С мое походишь, растопчешь, оценишь, Егор Семеныч, эти... лоханки... А тебя, Шурк, сниму ремень, да и выпорю, не посмотрю, что сама уж два раза мать. Все-таки думать надо, у отца не железное сердце...

Беспалов двинулся к двери, Шурка кинулась следом и все тараторила, тараторила, держа его за рукав. Храпони-

чев всё еще сидел напряженно. Председатель тепло проводил Беспаловых взглядом до самой двери, усмехнулся Храпошичеву: «Ну, народ! Ну, артисты!» И уже звонил — позванивал в мастерские: как там насчет снегозадержания, спешить нужно, пока снег не сметало в овраги.

*Хутор Лимовский*

•



Три дня бушевала пурга, забивала дороги, на четвертый подуспокоилась. Тогда и проскочил в Крепыши, дальнюю бригаду «Серпа и молота», выдавший виды «уазик». Люди спрыгнули наземь в демисезонных пальто и туфельках, похлопывая нога о ногу, гуськом потянулись в бригадный дом. Бригадир Карп Щепотин подпирал плечом угол, удивлялся десанту: надо же, прорвались.

— Принимай гостей, — нарочито громко сказал председатель «Серпа и молота» Вадим Еремеевич Клятный, присланный в прошлом месяце из района для укрепления. — Тут, понимаешь, такое дело... народ надо собрать. Товарищи вот приехали к нам, кой-чего, такое дело, скажут.

— И-и-и, — засмеялся бригадир в кулак беззвучно, одним только дыханием, и замотал головой, — у нас мигом никак невозможно.

— Организуй! — твердо сказал председатель. — Товарищи специально и, заметь, такое дело, из области.

— У нас завсегда с двух-трех раз, — входя, еще с порога заговорил Поликарп Измоденов, бывший бригадир, отстраненный Клятным за превышение власти. — Здравствуйте, — поклонился он низко и сел поспешно на лавку: в ногах правды нет, подведут и сегодня.

Хотя Поликарп был отстраненным, но — по старой привычке — вмешивался в руководство. Да Карп Щепотин и не

возражал, для пущей важности даже именовал Поликарпа «советом бригады». В народе, перекрестив маленько, звали бывшего Полукарпом, а обоих вместе Карп-Полукарп.

— Товарищи,— выступил вперед один из областных гостей, седой уже, но еще хлыщеватый.— Мы, собственно говоря, обращаемся к вам за помощью. Здесь по соседству на хуторе... в колхозе «Прожектор»... несчастный случай: обварился ребенок, выплеснул на себя кипящее масло. Срочно требуется пересадка кожи, нужны доноры... это у кого кожу взять... а там в хуторе одни старики. Мы приехали к вам. Соберите село, скажите, мол, так и так, обварился...

— Господи! — всплеснула руками топившая дом бригады бабушка Даша.— Случай-то уже не в Лимовском ли?

— В Лимовском,— сказал неуверенно хлыщеватый и утвердил кивком.— В Лимовском, пожалуй.

Бабушка Даша толкнула от себя дверцу плиты и, не обратив внимания на просыпавшийся жар, метнулась к порогу. Карп-Полукарп встали, оглядели всех вместе и каждого врозь, надели треухи, вздохнули и двинулись к выходу. В комнате стало тихо. Перестал гулять парок у рта: то ли уже надышали, то ли начало действовать отопление. Углы прямо на глазах серели, таяли и потекли. Пурга закрыла половину оконца, в комнате было сумрачно, красноватый отсвет лежал на серебряных стенках.

Через полчаса стал сбиваться народ. Кто входил, запалившись: шутка ли, аж с другого края села. Кто не успел переодеться, прилетел, в чем ходил давать поросенку. Нецветайха — огромная, стопудовая женщина — как влетела, грохнулась на скамью, так скамья под ней и затрепала.

— Это Ванечка, внучек мой, там обварился,— закрыла она руками лицо.— Это Ванечка, Сдобнов Ванечка... Ой, горюшко горькое! Ой, убили, свари-и-и-ли! Негодяй Петька по дому не помогает, а Клаве хоть разорви-и-ись...

— Да не Сдобнов, не Сдобнов, гражданочка,— подошел к пей хлыщеватый.— Успокойтесь. Это и не в Лимовском.

Народ валил пачками, быстро расставили скамейки, выдвинули стол на серединку, расстилали кумач. Сидели все в заблуждении, бригадиры Карп-Полукарп ничего толком не объяснили. Один — нынешний — все помалкивает, опыту никак не нахватается, а у другого — бывшего — дюже этого опыту много, рот не запахивается, тоже ни черта не поймешь. Сидели, молчали — мышь слышна в подполе, уперлись взглядом в своего председателя, а Клятый и сам непонятный какой-то. Лишь Витька Сермягин — бывалый парнишка, прошел кумы-умы по всем ГЭСам и городам, а сейчас коштовался у бабки до лета — впушал вслух сомнения. «А где у них эти... белые халаты? И кресты на машине?» — «Витька, заткнись! — делал ему большие глаза бригадир.— Ты долго на нервах у людей будешь играть? Что же, тут с тебя шкуру драть? Отвезут, куда надо». Витька не знал, чем ответить, и потому вскоре заткнулся.

— Не надо бы,— кивнул на кумач хлыщеватый, и тут его пригласили к столу.— Меня зовут Иона Ионыч Крестительский,— сказал он поспешно,— я возглавляю, э, эту вот группу... Итак, товарищи, вы все уже в курсе, объяснять не надо. И потому сразу, быка, так сказать, за рога: кто хочет дать кожу на пересадку? Подумайте хорошенько и пройдите сюда, в этот угол...

Встали человек пять — всегда на все встают первые, народ подготовленный. Потом Витька Сермягин. После того еще человека три, в том числе Нецветайха и бригадиры. Сделался шум, гам, все повскакивали и закричали:

— Пиши всех, пиши!

— Товарищи, тихо,— усмиря ладонью, сделал шаг к передней скамейке Иона Ионыч. Стало тихо. Слышно было, как задувало в щелку между рамою и стеклом.— Так ведь это, товарищи, больно, болезненно... Представляете: взять кусок кожи с живота или с бока? Это же сколько по-

том в больнице лежать. Это шрамы навек, а если вот вас, дамочка, супруг возьмет да разлюбит?

— Ты вот навроде профессор, а в голове эти... фрагменты,— поднялась во весь свой неограниченный рост Нецветайха.— Ты давай нас пиши, не сомневайся. А с мужьями как-нибудь сами справимся.

— Эт-та справится,— загудели в углу.— У эт-той не вырвешься.

— А теперь меня вот что интересует: мотивация,— обернулся Иона Ионыч к своим областным, те достали блокшоты и что-то записывали.— Иными словами, граждане: по какой причине решаетесь вы на такой серьезный шаг? Во имя, конечно, самого прекрасного — спасения человека? Вот вы, например, гражданка...

— Нецветаева.

— Гражданка Нецветаева.

— А я бегу,— повернулась Нецветайха полубоком к народу,— а в глазах белые мухи так и сигают, так и сигают. Боже, думаю, неужто что с моим внучком, с Ванечкой? — повторила она уже гораздо спокойнее, губы сами собой перекинулись, глаза налились слезой.

— Ясно; садитесь,— остановил ее Иона Ионыч. Та села не очень довольная тем, что ее сбили со слова.— Ясно, родственные отношения... А вы? — выделил жестом он Селиверстову Зину — худую, нервную женщину с болезненным тонким лицом.— Вот вы почему? Вы ведь боитесь. Ведь резать будут, это ужасно больно.

— Боюсь,— едва слышно сказала Зина и задержала дыхание.— Палец порежу когда, сердце заходится... А тому ребенку-то разве не больно? У меня вон их трое по лавке, за любого дашь руку отсечь...

— На почве родственных отношений,— сделав ей знак садиться, кинул через плечо свите Иона Ионыч и повернулся к Карпу-Полукарпу: — А вы?

— Мы-то? — переглянулись они.— Мы — начальство,

нам без того-этого, брат, нельзя. Нам реагировать следовало.

— А вы? — указал Иона Ионыч на крупного, с окладистой бородой деда в углу, давно его приметил. — Как вас зовут?

— Дед Петро первый, — зашумел народ.

— Да ну? — изумился Иона Ионыч, ему стало крайне интересно, даже смешно.

Оказывается, деда называли здесь первым, поскольку в Крепышах был еще дед Петро, немного дробнее. И хотя тот, второй, уже помер, этого, живущего, все называли по-прежнему первым.

— Ну вот вы, именно вы... первый... почему? — повторил вопрос Иона Ионыч.

— Я-то? — привстал дед Петро первый и посмотрел зачем-то себе под ноги, потом на коленки, на грудь. — Пришел, одно слово, и все, — махнул он рукой и сел. Потом встал опять и прищурился. — Это верно, кожа у меня уже старая, не подходит. Так ведь как оно рассудить. Н-но! — тут он задернул, словно конь, головой, — когда-то были и мы я те дам. Мой дед — эвон люди сидят, соврать не дадут — служил у царя в лейб-гвардии. Пятак царский — с орлом и короной — пальцами слушит и ни мур-мур. Под жеребца подсядет и встанет, а жеребец, как воротник у него, брык-брык...

— Ясно, — остановил деда Иона Ионыч. — Ты — старый солдат, боли ты не боишься.

— Хм, боишься, — усмехнулся дед Петро первый и повел головою вокруг. — Да у меня все и без того исполосовано, в дырках. Мы, братцы мои, от шрамов не бегали, грудью стояли. Между прочим, участник трех войн, семь раз раненый, из них два тяжело, в последний раз фугасом под Понырями. А ничего, отремонтировали, — хлопнул дед себя по коленке. — Латам-перелатам, на мне, как на собаке... Я к тому, — подался он чуть вперед, к Ионе Ионычу, — что у меня хучь кожа и ношенная, да сносу ей нет. Если то-

му мальцу ее, — засмеялся дед Петро первый и сбил свой заячий малахай на затылок, — никакая тебе война, никакое ранение... Так что пиши меня в списочек, не ошибешься. Так и так, мол, от деда Петра, бывшего защитника, дядю тому — будущему, значит, защитнику...

— Короче, патриотизм, — оглянулся к своей свите Иона Ионыч, те, не поднимая глаз, строчили в блокнотах. — Патриотизм, товарищи! — голос Ионы Ионыча зазвенел благородным металлом. — Это великая вещь, движитель наших дней. Спасибо, товарищи, большое спасибо. Я лично другого от вас и не ожидал. Общие интересы, беззаветная любовь к стране, стремление прийти на помощь друг другу — вот черты нашего современника, настоящего советского человека. И вы, дорогие товарищи колхозники, только что это прекрасно нам здесь продемонстрировали. Мы все тут, — Ион Ионыч опять повернулся к своим ассистентам, те оторвались от блокнотов, закивали, задвигались, заулыбались, — мы все вами очень гордимся...

Дело подходило к концу. При последних словах областного представителя мысли у Витьки Сермягина взвились: «А как же я? Даже деда записали, а... меня? Да с него, Витьки, шкуру хоть на барабан. Сколько он носится по всем этим стройкам. Само собой — деньги платят, само собой — белый свет видит, но хоть бы разок кто черкнул в газету... А тут такой случай... И если даже в районную, то и из нее Зося из Каменки все узнает, она газетки читает»...

— А как же я? — поднялся растерянно Витька Сермягин. — Я ведь раньше, чем дед, в числе первых.

— Осади, доброволец, — усмехнулся дед. — Знай, дуби еще кожу-то, время твое придет.

— Так вот мы все вами очень гордимся, — наконец, связал Иона Ионыч обрывки мыслей. — А теперь остается сказать самое главное: кто это мы? — Здесь он сделал передышку и дернул галстук левой рукой. — Мы — это социологическая лаборатория при нашем областном педагогическом институте, а я ее руководитель, доцент. Тут некото-

рые ошибались, называя меня профессором. Мы исследуем...

Навалилась тишина, даже дырка в окне перестала свететь. Лишь дрова трещали — известно, осина дерет, что резина.

— Я ж говорил, — первым очухался Витька Сермягин и во всеуслышание провозгласил: — Говорил, никакие они не врачи. Где у них эти... белые халаты и крест на машине?

Ближние тут же прижались к окну: в самом деле, нет креста на машине, нет и белых халатов. Социологическая лаборатория. Что хоть это такое? Семенная, молокоприемная, коноплеводческая...

— Мы, товарищи, — как на лекции, заиграл твердо поставленным голосом Иона Ионыч, — проводим исследование такого порядка: как наши люди реагируют на несчастье друг друга, насколько смогут быть активны в моменты больших потрясений...

— Так где же тот мальчик-то? — перебил его дед Петро первый.

— А никакого мальчика нет, — вскинул брови Иона Ионыч и щелкнул пальцами. — Это, так сказать, миф, легенда, если хотите, сказка.

— Брехня, значит, — сказал дед сокрушенно и вздохнул едва слышно: — Сволочи, а? Кого — свой народ проверяют.

Сразу же со всех скамеек взметнулись крики. Кричали все вместе и врозь.

— Бегу, а белые мухи мельтешат, прыгают, — выделялся голос Нецветаихи. — Ну, думаю, Ванечка, внучек мой, а это... исследование. Ишь, что на людях удумала эта лаборатория.

Напряжение спало. Сидели теперь, не стесняясь приезжих, вели меж собой разговор, тары-бары.

— Это у меня горло сейчас неправильное, труба заржавела, — оправдывался перед бригадирами дед Петро пер-

вый. — Как раз железки раздуло, а то бы как гаркнул, ссадил бы в момент.

— Сказал он, а мне как по глазу, сто огней засияло, — пахло, встревала в их разговор Селиверстова Зина, та, которая боялась всяческой боли.

— Мальчишка, говорит, это... маслом себя. Без аннексий и контрибуций, — через Зинкину голову доносил свою мысль бригадиру Карпу Полукарп отстраненный.

— Да, глаз у тебя слабоват, щелчком можно, — обращался к Селиверстовой дед Петро первый. — Ничего, если что, вставят теперь и стеклянный. Теперь медицина...

— Не знаю, что бы и отдала, здоровычко возвернуть, — едва сдерживала себя Зина в слезливости. — Бактерия одолевает. Дают на медпункте таблетки, чтоб сердце не падало, да что там таблетки. А тут, говорят, врачи из города. Полмашины врачей. Я опрометью.

— Бактерия — да, особо когда больная, — кивал ей дед Петро первый. — А то, понимаешь ли, горло, труба заржавела. Есть, говорят, такой колодец — нарзан называется. Вставят трубку в него, и вода бузует себе. И мне бы так-то. А то теперь засипел, сбился с курса на целый месяц... А эти приехали, думают, мы тут ничего не соображаем, а мы тут тоже кой-чего в стратегии шпрехаем. Война эта по свету дала поблукать, кой-чего повидали.

— Витька! — перегнулся через скамейку назад Полукарп, тот, который был от всего отстранен. — Ты скажи ему, этому... в галстук... спроси, мол, что это за такое явление природы: в Казахстане, мол, мальчишка, гигант, три года, а уже пятьдесят кило. Как на это смотрит лаборатория?

— Сам спрашивай, — огрызнулся Витька Сермягин.

— Пятьдесят? — удивился дед Петро первый. — Прямо какой-то статуя.

— Вышил и сиди, — усмирял бригадир Полукарп. — Скуло за скуло не заводи, дай людям спокойно уехать.

— Ах, боже ж мой, — вздыхал Полукарп от всего от-

страненный.— Все-то учат нас, как пахать, когда сеять. У меня грудь болит за работу, пусть дают мне штатную.

— Ты потише, потише,— гладил его по плечу Карп, бригадир.— Не твори безобразия по нетрезвому состоянию. Сейчас это, знаешь сам, р-раз и под указ.

— Ладно,— соглашался Полукарп Измоденов.— Ты спроси у них лучше, куда они дели мальчонку.

— Какого, статуя?

— Ну того, обварили какого.

— Так его, говорят, вовсе и не было.

— Как не было? А обварили... Натворили делов, а с нас кожу драть? Не па-а-зволю.

Иона Ионыч стоял, потерявшись. Долетали обрывки фраз, целые фразы. Своя жизнь у них, свои интересы. Следовало более менее достойно выйти из этого положения, соблюсти вид хотя бы перед своими сотрудниками.

— Между прочим, в соседнем колхозе мы уже проводили все это,— откашлялся Иона Ионыч.— И ничего.

— Так это оглобли там не оказалось,— едва слышно подал кто-то голос из массы, но Иона Ионыч услышал. Кажется, тот вон парнишка, что тоже просил записать.

— Какой оглобли? — шевельнул машинально губами Иона Ионыч и понял, что глупо, не надо.

— А ну, Витьк, скажи ему,— порывался встать со скамьи Полукарп отстраненный, но Карп усаживал его, все урезонивал.— Покажи, Витьк, где раки зимуют.

Иона отвернулся от них, захлопнул блокнотик.

— Ну, хорошо. Вся программа исчерпана. Спасибо вам, дорогие товарищи, за ответы. Конечно, с ребенком не совсем все оказалось продумано. Вы тут нам кое-что подсказали, возможно, от этого хода следует отказаться. Однако вы дали нам яркий, разнообразный и весьма содержательный материал. Наш современник, как и предполагалось, оказался на высоте... Иными словами, товарищи, не побоюсь высокого «штиля», как это в песне: когда страна быть прикажет героем... Спасибо и до свиданья.

Было уж сумеречно. Народ расходился. По Крепышам, там и сям, в морозном воздухе слышались голоса. Последними выбирались из дома бригадиры Карп-Полукарп. Карп Щепотин поддерживал одной рукой отстраненного, другой вешал замок: «Все, ларчик этот для тебя больше открываться не будет». — «Карп, — хватал Полукарп воздух руками, — а где туалет? Был здесь. Вот что значит кругом изменения».

«Уазик» ждал Карпа Щепотина, не уезжал.

— Ты что с ним валандаешься? — хмурился председатель.

— Да он же пятнадцать лет был бригадиром, а я сколько? Подучивает, — ответил уклончиво Карп и предложил: — Может, ко мне заедем? Я жене уже стукнул, чтобы картошечку там, яишенку... Да я тут через два двора, можно и без машины.

— Ну нет уж, — подал звук с сиденья возле шофера Иона Ионыч. — Это все-таки техника, куда от нее? — И вспомнил при этом парнишку, сказавшего про оглоблю, передернул плечами.

Торопко заскрипели шаги. Оказалось, жена Щепотина, Валентина. Подошла, покрасневшись, выделила из всех председателя:

— Вадим Еремеич, прошу к нам. Уже все на столе. И вас прошу, дорогие гостечки, — обернулась она к областным и подмигнула Клятному: — И графинчик поставила.

Председатель смотрел в одну точку, покачал головою, вздохнул: нельзя, Валентина, завтра с утра на бюро. Иона Ионыч сказал тут же: а нам в соседний колхоз.

— Тоже с ребеночком? — не выдержала Валентина.

— С каким это?

— Ну какого вы возите... Правда иль нет, — двинулась она к Клятному. — Нюрка, соседка тут прибежала, говорят, ребеночка где-то нашли, кто-то сжег. Грудного прямо, есть же такие изверги. Кожу ездят на него собирают.

Иона Ионыч, угнувшись, молчал.

— Будет тебе, сорока,— остановил жену Карп.— Растрещались. Кожу им собирают. Собирают,— ухмыльнулся он,— и не на ребеночка, а на сапоги.

— На сапоги! — всплеснула Валентина руками и покосилась на него: — Не плети.

— Ну ты думаешь, что повторяешь? — стыдно стало Карпу за Валентину.— Это ж так только Гитлер мог: шкуру для сумочек драть с людей, как с крокодилов. И вообще, прекрати!

— Всегда так с женой,— поднялась Валентина обиженно.— То молчит месяцами, а то вот так: прекрати.

— Ладно, Валюша,— засмеялся председатель.— Ты баба еще в соку, я тебе мужика другого сосватаю — Измоденова Поликарпа.

— На черта он! — вспыхнула Валентина.— Этот хучь дело делает, да молчит, а тот... Мой-то лишнего не пропьет, а другого корить не хочу.

— Молодец, Валентина,— подмигнул председатель.— Летом в ясли нянчить пойдешь?

— А правда, Вадим Еремеич,— наклонилась она к Клятному, задышала в самое ухо,— про того, про ребеночка, а? Про сожженного-то? Я же там не была, ничего не слыхала.

— Выбрось ты это все из головы, как и не было,— посоветовал Клятный.

Ночь совсем загустела. За окном ни луны, ни звездочки. Тьма тьмушая, поля, перелески, стихия. И стоит у последней хаты с оглоблей тот парень, ничего себе, прыткий парнишка. У Ионы Ионыча даже засосало под ложечкой. Мотаешься вот так по командировкам, зарабатываешь себе язву, крутишь мозгами, выкручиваешься, ведь совсем-совсем новое дело, Москве даже безынтересно, Москва заинтересована, вакасия у них даже имеется... А тут, вполне возможно, оглоблей, обидно...

— Бабам нашим жалко стало ребеночка-то,— вздохнул Карп.— Они у нас дюже жалостные. На той неделе у Не-

цветайки крыльцо отгорело, так они все сбежались, сотни три ей насобирали, моя тоже десятку снесла.

— Ехать надо, — толкнул шофера Иона Ионыч.

«Уазик» катил санным следом. И откуда он взялся, совсем свежий. Проезжали мимо бригадного дома, колючни; словно вымерло, лишь разок бухнул о пол жеребец и отфыркнулся. Впереди между туч прокололась звезда. Или волк где-нибудь на холме? Или сигарета? Говорят, прошлой осенью завезли из Сибири и пустили по области волков.

*с. Турейка*



Он налетел на Матрену, как вихрь. Ожег пагайкой, так что расселся пиджак на плече. Она обхватила руками голову, ожидая захлестов еще и еще, и незнамо как опустилась на подорожник. Пришла в себя, смотрела на всадника твердо, решительно. Гнат держался над ней каланчой, поги его почти волоклись по земле, лошадь-монголка вертелась и все норовила ухватить его за коленку, и он скалил зубы; его рыжая голова сливалась с конской гривой, и она успела подумать, как же схож он со зверюгой, подобрал же себе зверюгу по масти.

— Я тебя прроучу! — шипел он натужно, чужим металлическим голосом. — Как гусей в рожь пускать, как на колхозное зариться! — В горле его клокотало, свистело, кричать он не мог, что-то было нарушено в горле, черная повязка обхлестывала его шею. Всегда так: когда сильно хотелось кричать, он бурел, одной рукой, пальцем, нажимал горло, а другой махал, колотил по чем вздумает.

А монголка крутилась, пыль стояла столбом, Матрена уходила лицом под себя, чтобы не выстебало глаза. Вдруг пагайкой задело монголку по крупу, она взвилась свечой, потом дернулась в сторону, сбросив Гната, унеслась в широкую степь.

Матрена разглядывала его впервые так явственно, близко. Был Гнат Вырин сморщен, болезненно желт, как клеповый лист осенью, словно бы страдал малярией и кор-

мился таблетками. Вспомнилось ей, по Селищу ходили упорные слухи, что вся желчь у Вырина оттого, что травился он, дьявол, табачным настоем, чтобы скорее на пенсию, что ли? Может, оно и вправду так, а может и нет. Да хоть что и знаешь про него, не будешь доказывать, ведь вроде сродства он ей, муж старшей дочери, зять.

— За что... меня... так вот? — наконец зашевелилась Матрена.

— Гусей залучай, — просвистел Гнат. — Мало тебе придорожья?

Уже издали погрозил он нагайкой и нырнул в Тугаринский ров.

Она передыхает и думает, думает. Всю жизнь вот так бьешься, крутишься, не заметишь, как подберется и старость. Ведь как было тягостно сразу после войны. Старшая, Фросюшка, жила уже с Выриным, а младшую Полину — семья есть семья — надо было кормить. Э, да чего там, доставалось Полине, напрягалась, училась, а как придет, бывало, из своего института — что положишь ей в торбу? Так, одно горе-слезы, олады-тошнотики. Пешком, бедная, до станции с торбой картох на горбике. А ведь там, в институте, не фьють — мозгами крутить-вертеть надо; покрути одною картошкой... Сын бы с фронта пришел, того б не было. Сергей у нее деловой. Пропал без вести человек. Да как это без вести? Что, иголка, что ль, — человек! Пиши, говорят, все в народе, пиши. Может, где под секретом. Ведь приходили, являлись. До сих пор Поля пишет. Был бы жив, ну куда он от дома, от матери, господи... За Сергеем бы, конечно, как за спиной. Вырин не распоясался бы, окаянный...

Матрена возвращается в хуторок только в полдень. Проходит в хату огородами, мимо клена, который посадила сама еще в дни своей молодости. Сколько всего перевидал он, сколько перетерпел. Прямо в Матренином и выринском огородах начинался лесок и тянулся до самой речки Слезянки. Многие тогда, в войну, выходили из лесу.

В хате пад дверью — примечает она — висит на невидимой нити паук. «К вестям,— толкается в груди у Матрены.— От Серезья?»). Всегда так: думает сразу о сыне и сдерживает теплынь в себе, страшится, что сердце сгорит, оборвется.

Так и живет в своей хатенке в трудах и заботах, размышляя о годах ушедших и предстоящих, о людях близких и дальних. Хатенка у нее не бог весть какая, слажена в прошлом сезоне. Не горючая, из самана. Стенки в сенцах ерундовенькие, из плетня, так что в одну из них, сквозь обвалившуюся глину, виден пятистенник Гната Вырина, по другой бок оврага. Редко кто из деревенских заглядывал к ним сюда, в Хуторок. Хуторок стоит от всего Селища отрубом, километрах в полутора, неподручно ходить, а тем паче по доброй воле, во двор к Гнату Вырину.

С возрастом Вырин не выцвел: громоздится на своей рыжей кобыле, привык к тому, что иной прохожий, встретившись на дороге, раскроет рот, без стеснения скажет: «Во, гля-ко! Одной масти конь с мужиком-то». Селищенские мужики говорят в спину ему: «Бог шельму метит». Зато нет никому пощады, если какая-нибудь дуреха-телка или дура-овца нырнет в клеверища или в луг-заказник. Когда скотина не является домой, мужики идут на выручку вдвоем-втроем в Хуторок, к дому Вырина.

Но больше всех страдает от Вырина, конечно, Матрена. И на глазах у него она больше других; таит, таит Гнат кое-что против Матрены. Ну, для чего бы ей они, эти гуси? Для Полинки все, для семьи ее, внуков, чтобы было чем встретить их, глаз в сторону не отвести. Да и так сказать, предана она, Матрена, хозяйству. Все толкается, хлопочет, заботится, чтоб накормить, напоить. Были зимой две овечки-ярочки, а к весне — Полинку послушалась — перевела. Снег сошел, травка брызнула, люди провожают, встречают овечек, а тут в окнушки глянешь — такая тоска рукам, хоть ложись, да и помирай. Плохо, когда не о ком человеку заботиться.

На той неделе Вырин загнал к себе с луга всех, какие были, гусей. Матрене через овраг все видать: как нагрянули из деревни мужики, бабы, как на шум прискочил сам председатель.

— Матрену сармат твой съедает! — кричали председателю бабы. — До пенсии дослужилась, все силы в колхоз уложила, а он ее так-то!

Председатель — молодой и нездешний, и жалостливый — кивнул Вырину:

— Отдай гусей, она тебе не в пример...

— И у Ермилихи гусей загнал. А у нее девять ртов по лавке.

— И Ермилиха не в пример, — кивнул председатель.

— У Столбова загнал, инвалид...

— И Столбов тебе не в пример.

— Добро всенародное, держать надо в жмене! — сверкнул Вырин глазами. — Я за всеобщее дело.

— Ты, мужик, конечно, старательный, — оборвал его председатель, — а гусей отпусти.

Если вспомнить, многих колхоз перебрал председателей. Гнат держался при том, другом и при третьем. Все мотался по полям на своей рыжей монголке. Лет несколько тому, когда деревню вливали в большой колхоз, совсем было аннулировали Гнатов пост. Парторг был вроде против Вырина, но потом махнул рукой: ладно, пусть дотянет до пенсии, не выкидывать же человека.

Не знает толком Матрена, за что Вырин ненавидит ее. Вроде жизнь его с Фросюшкой не разбивала, только что и сказала ему после свадьбы: сделался муж, не говори, что не дюж. Оскалился, положил на плечо Фросюшки рыжую лапу. Придавил проклятуций, свел в могилу в молодые-то годы...

Так и не отдохнув за тяжелыми думками, Матрена начинает управляться по дому: а тем часом думки разъясняются, проветриваются; вспоминая о пауке, легче размышляет она о Полинке, о том, как живет ей там, в Запо-

рожье. Что ж, живется ей хорошо, муж степенный, непьющий; он — шофер, она — после своего института в торговле, младшенький у них — уже в седьмом классе. Все при деле. Обещались летом прикатить на своей легковой. Вот опять с неделю тому получила от Полинки письмо и деньги; перестраивайся, дескать, выходи из своей саманной временки, поможем. И то верно, может, и их сюда, на землю, потянет?

Подмешав гусям крапивы в корм, Матрена выносит чугунок из сеней.

Мимо ракич по дороге проколотила на телеге бригадирова жена Варька, крикнула, что Матрене на почте от Полины лежит телеграмма, сообщает, что сама едет в Селище и что с ней приезжает летчик, герой, какого они спасли тогда, в сорок втором, — нашла его по газетам...

Матрена ахает, разогнувшись, вслушивается, как в конце дороги, брэнча чекой, исчезает Варькина телега.

Всю ночь Матрена не может сомкнуть глаз, с рассвета она уже на ногах, а после полудня в черно-цветном полупальто и в новой кофте горошком, в шерстяной юбке, скрипучих ботинках, с праздником на недвижимом лице, Матрена медленно движется к бригадному дому. Туда же со всей окрестности течет потихонечку люд: летчик, интересное дело, будет какой-то высказываться — не то сына Матрена наконец доискала, не то едет к ней иная какая героическая знаменитость. Матрена идет вся в мыслях о сыне, ничего не видя, не замечая, слушая только себя. Неожиданно из Тугаринского рва вымахивает Вырин, осаживает перед ее носом монголку. Пропускает Матрену, молчит.

Она оборачивается: во-он уж где в полях его голова. Не гляди, что такой-то сухой — сильный до страсти. Дед Кривов видел, как Гнат воз с сеном утопил у Пронькиного моста. Дед хотел помочь Вырину, а Вырин как сверкнет глазами да зубами хрясь, так Кривов и отскочил. Вытащил Вырин на бугор и телегу и лошаденку за хвост, утер лоб: где ж тебе, говорит, милая, когда я еле-еле...

Каждый шаг к бригадному дому отдаляет Матрену от нехорошей встречи, заполняет всю ее ожиданием предстоящего. Какой он, герой, этот летчик? Похож ли на сына ее, на Сережу? Вроде, помнится, был похож, только росточком пониже, Сережкины брюки пришлось подворачивать. Люди подходят к Матрене, кивают, улыбаются, говорят что-то, идут по улице рядом, так и движется вместе с ними Матрена к бригадному току, где и ждут люди гостей.

На току гудят машины, высятся вороха, золотое зерно льется в ненасытные кузова. Она стоит, слегка затомившись от напряжения. На мосту показывается «Волга». Народ сдвигается, подается вперед. Она видит Полину, человека в полковничьей форме, впивается в лицо его. И вдруг все перед ней начинает качаться и плыть куда-то. Она приходит в себя уже на груди у летчика...

Матрена расставляет столы прямо в саду, возле горки опшуренного кругляка, предназначенного на новую хату. В саду сейчас самая благодать. Время такое, когда до яблочного Спаса еще не дошло и плоды на деревьях, уже раздобрев, еще не расперлись изнутри, не разомлелись, но все равно чужды, и чуждо в застолье отгонять, летящую на сладкое трудягу-пчелку, чуют спиной грузность яблоневой ветки, трогать ладонью под лавкой сочную, теньевую отаву. Рядом с Матреной сидят самые почетные гости — сам колхозный председатель Семен Никитич и, конечно, он, летчик, полковник с геройской звездой Иван Борисович Колесанов.

Во двор просовывается соседка — жена Гната Вырина.

— Слушай, Федотовна, — говорит она, бегая глазами вокруг, — гусыня моя к вам сюда не заходила?

— А к чему ей сюда? — поджимает губы Матрена. — К петуху?

Матрена видит только его, Колесанова. Его лицо в шрамах, с искусственным глазом. И силится вспомнить его молодым и себя помоложе в то время, в глухое военное время...

Самолет тогда плюхнулся перед леском, у них в огородах. Когда они с Полей прибежали к нему, летчик висел вприз головой и был без памяти. Поливка мигом слетала в хату за кухонным ножом. Надо было спешить: немцы всего в трех километрах, на другом крае Селища. Матрена изорвала на бинты простыню, сняла с летчика обмундирование и сунула в печь; покрутилась-покрутилась, вытащила лучший Сережин костюм. Дала кочергу вместо палки, вывела к клену: иди. Он пошел, согнувшись, прихрамывая. А куда? Что он знает здесь? Наткнется на батареи, они стоят сплошняком. Обернулся, помахал рукой, даже крикнул:

— Спасибо, мать!

Как он был похож на Сережку, особенно в этом костюме. Дети еще, а приходится воевать. Полина стояла, потупившись. Что-то сорвалось в Матрене, бросилась она следом, кивнула на дочь:

— Вот, последнее, что есть у меня, доверяю. Выведет к линии фронта, идите.

Затрещали мотоциклы. Немцы забегали, засуетились, и грудь ее занемела тревогой...

А застолье в самом разгаре. Маленько передохнув, Матрена вскакивает со скамейки, бежит к печи под навесом, где все кипит, шкварчит и булькает, и, как в молодости, живо несетя с подносами, сама подает Ивану Борисовичу куски, какие послаще, — индеек, гусей, карпятину, бутылки с шишучим квасом.

— Вот такая у меня мать, — громогласно, во все застолье гордится полковник и обнимает ее, касается щекой головы, и она замирает от счастья и тут же, ойкнув по какому-то блюду еще, бежит к помощницам под навес, на кухню. Не видать, где под яблонями кончаются столы, не слышать, какие ведутся в том конце разговоры. Устав, Матрена иногда подсаживается к летчику и просто смотрит на него: как он говорит, как ест, как слушает других. Кругом сидят свои, селищенские, почти вся деревня. И раз-

говоры-то все свои, привычные разговоры. Вон хоть бригадир Фрол Семеныч — все толкает Фому Чеботаева.

— Гляди,— показывает бригадир под ноги на утят.— Гляди, москвичи.

— Это чего так?

— А они, как москвичи. Все бегом, все бегом.

— Мирowo в саду,— расправляет Фома Чеботаев плечи до хруста.— Буду всегда в саду теперь завтракать.

— Как природа ловко устроилась,— смотрит Фрол Семеныч сквозь ветки на солнце,— летом работы поболее и день подоле, а зимой как раз и так хорошо.

— Плеснуть еще кваску вам, ребята? — подходит Матрена и шумит своей главной помощнице Федоре Стефеевой: — Неси еще бутыл. Как зайдешь во времянку, так по правую руку...

За столом возле самого сруба идет толкование про авиацию. Каждый норовит высказаться или сидит, тужась не забыть свой заряд, и слабо слышит другого. Дед Кривов все добивается внимания.

— Вот дела чрезвычайные! — бьет он по столу кулаком, так что прыгает рядом тарелка.— Вот, понимаешь, история... Еще отец-покойник рассказывал, раньше в церкви тоже всем говорили, что будут железные птицы летать, клювом друг друга долбать. И будут в них анчихристы наподобье людей... Так отец мой самолетов и не увидал. Паровозы — в Ростов ходил — видел, а самолетов не видел. Чего не видел, того не видел, брехать не хочу. Но говорил, что землю вскорости всю запутают проволокой.

— Паровозы — это что,— дымит самосадам другой дед — отец Федоры Стефеевой.— У нас в войну самолет сел прямо на погреб. Да-а!.. Бегу с луга, думаю, пока добегу, старый, он кадушки мне разворотит. Ничего. Вылезли летчики. Все в шерсти, в шубах. Говорят, там, наверху, — правда аль, нет? — дюже холодно. Посидел-посидел самолет...

— На насесте-то?

— Снесся, петух. На погребе... Сволокли мы его на Лебединый бугор, оттолкнули и — туту...

— А у нас в деревне, в Мироновке, — выпускает свой козырь еще сильный, но уже в годах мужик — деверь Федоры Стефеевой, — у нас одни подле кооперации живут, так у жены его брат еще в ту войну, с Вильгельмой еще, летчиком был. Говорят, взлетел наверх, а потом как за что-то зацепится или что-то сломалось, так он и закубырлся...

Матрена проходит во всю длину стола, наклоняется, спрашивает, кому чего еще, просто стоит и слушает. Но все ее мысли в другом месте. Обойдя всех, она присаживается опять к нему на свободное место и гладит рукав его и погоны, и геройскую звездочку и, не скрываясь, смотрит в лицо.

— А где же, милый, глазик ты свой потерял? — наконец решается она на вопрос и припадает к груди его, и слышит сердце его, и слышит сердце свое, и уже не слышит ничего, что говорит он о боях, о таранах, ранениях, о Кенигсбергах и Данцигах...

Гости ушли уже ночью. Они остались втроем — Иван Борисович, она, Матрена, и Поля. Летчик сидел, опершись затылком о ствол яблони, и молчал, глядя в небо, в неслетную звездность.

— Расскажите, — положил он на плечи женщинам руки, — как и что было потом...

Говорила Полина. Матрена слушала все спокойно, словно чужое, как бы со стороны.

— ...А меня мать спровадила в дальнее село, а сама здесь осталась. Жандармерия нагрянула, били мать, вывели к бывшему барскому амбару:

— Где летчик? Куда летчика дела?

Линия фронта стояла почти что два года. Как какая часть из окопов сюда, так за мать. Восемь раз подливалась в крови. Как-то из леска вышла наша разведка и к нам, в первый дом. Мать им все расскажи, обогрей, вы-

шла с ними. Через час немцы — вот они. Мать опять в шомпола, а разведку всю до единого уложили в Тугаринском рву.

Вступили в Селище наши войска. Бежим в центр деревни на митинг, мать останавливает то одного, то другого:

— Летчика мово не видали? Не видели?

— А какой он, мать, из себя? — спрашивают ребята на танке.

— Ну такой... героический.

— Да у нас,— смеются,— смотри: все один в один, все герои.

— Кто тебя обижал, мать, скажи?? — спрашивают ребята.

— Супостаты,— сказала,— сарматы...

— Да-а, пришлось вам тут,— вздыхает Колесанов, провожает взглядом звезду. И снова сидит в задумчивости. Ветерок налетает, шелестит; шлепаются яровые яблоки. Небо прочертила звезда, протянулась до горизонта.

Утром, умываясь в саду, Колесанов роняет на камень пузырек одеколона.

— Что там, мама, толкуют твои приметы? — улыбается он, вспомнив ее рассказ о вестнике-пауке.— К добру иль как?

— На всех запах пойдет,— подходит к нему с полотенцем Матрена.— Значит, к добру.

После завтрака Колесанов решает пройти к месту посадки его самолета, посмотреть, где с Полиной уходили к линии фронта. Идет широко по земле, подмечает, как поредел тот лесок, за Матрениным огородом, зато маскировочные кустики у окопов вымахали в деревья.

— Вот она, та березка,— гладит Колесанов ладонью шершавый ствол.— Вот и зарубка моя, оставил на память. Вон куда поднялась.

— Истоцился лесок,— замечает Матрена.— А вот тут была школа. А сейчас ребятшек мало стало, бегают все на

тот край, в большую школу. А это амбар, где по железу работают, ну, слесарня, что ли...

— Мать,— останавливается Колесанов решительно,— мне вчера говорили, один тебя тут обижает. В глаза хочу посмотреть ему.

— Не падо, сынок,— опускает плечи Матрена.— Ну, к чему это?

— Нет, надо, мать!

Жена Вырина стоит твердой ногой на твориле в погреб, словно бы прикрывая его.

— Чего пришли? — глядит недобро опа.— Петуха сво-во у гусей моих ищите?

— Ну, и лиха ж ты, Зинка, на ругово,— отвечает слабо Матрена.

— Хозяина нетти,— заключает Зинка уже помирнее.— А чего без хозяина делать?

Колесанов уехал, уехала и Полина. И опять потекли привычные дни. Прошел яблочный спас — рукавички про запас, бабье лето, молодое и старое. Подобралась и зима. Управляться со скотиной после этого лета Матрене все труднее, труднее. Матрена чует, как убавляются силы: от колодца до хаты пройти и то уже нелегко — ноги вихляются, стебает водой по ногам. Прихитрилась в ведра класть ивовые кольца, чтоб не плескалось, и опять вроде носится, опять с водой.

— Разочаровалась в хозяйстве я,— объясняется она с бригадировой Варькой.— На тот год телушку уже не заведу, на кой она...

Но к первому снегу корова принесла, как и ожидалось, телушку. Учит пить Матрена ее, всовывая в мягкий, слюнявый рот пальцы, пропускает сквозь них молозиво из поддоиника, ворчит тихо и ласково:

— У, наелась, напилась, трудно тебе, раскряхтелась... А манит, манит тебя к молочку. Ах ты, Маня, Манюшка... А все ж преданы мы с тобой хозяйству, Маня. Куда нам

друг без дружки? Отдохнешь, когда не дыкнешь, верпо, Маюшка?

Она говорит с телушкой, а сама думает про Полину, про внуков. Слаба становится, и куда все это добро — сад, корову с телушкой, домишко и лес-кругляк? Хоть бы Поли согласилась сюда переехать. Сама бы в правление бухгалтером, теперь в колхозе вон сколько тоже с институтами, а мужик может шофером, механиком.

Получает письма от Полины, от Колесанова, ждет новые. Живет от письма до письма.

Шла как-то на почту, срезая путь, конопляником. Все на той же стежке встретился Гнат. Выволокся из Тугаринского рва и, наткнувшись на нее, так и присел. Стояла, смотрела на него: жалкий, слезливый, уже и не такой рыжий — пыльный какой-то, червоточный, словно яблоко непеченое, весь иссох на ветру.

— Из больницы я, Матрена Федотовна, — просипел Гнат и, разгоняя горловые свои механизмы, засвистел, заклокотал: — С сердцем плохо, кроводавление, и так.

— Укатали сивку...

— Да ить тяжко, Матрена Федотовна, — дергал Вырин левой щекой. — Как интервент какой в родном-то селе. На весь мир пирога не пропечешь, кому-нибудь сырой кус да достанется.

— Вот тебе и достался.

Гнат лежит за оврагом и помирает. Другой месяц помирает, мучаясь неумемной болезнью. Может, она еще обойдет тебя, смерть-то твоя. Ведь ни черта не пожил, не отдохнул, не поел, не попил всласть. Не жизнь — каторга. Так чего и жалеть ее, такую-то? Так уйдет ведь и не вернется. Не вернется, а пожить еще хочется.

— Воды, — хрипит Гнат и пьет принесенную Зинкой теплую воду. — Молока б хотя подала.

Во второй вторник после пасхи, когда помипают родителей, Матрена собирается на погост помянуть Фросюшку и родителей, хоть и камушка от них не осталось. Приходит,

кладет кулич и конфеты на чью-то могилку, подсаживается к женщине в черном, наверно, из залесенской Удеревки.

— Пришла вот помянуть своих,— говорит виновато Матрена.— А то, может, скоро идти туда к ним, проведывать.

Матрена проходит погостом, оглядывая его по-хозяйски. Все честь по чести. Окопано канавокопалкой, чтоб скотина не шкодничала. Калипа-рябина кругом, воробьи. Вот житье кому! Солнцу радуются, ветру радуются, земле талой радуются. Жить да жить весной, а, гляди, помирают люди. Вот свежий холм и веноч железный. И вот. Портреты, портреты. Председатель колхоза, учителя, врачи, трактористы, доярки — хорошие люди, и нате...

Возле хаты ей встречается Зинка — всклокоченная, растормошенная.

— Зашла бы,— говорит та,— Гнат зовет, помирать взялся.

Захватив с собой, что было — яблочка да жамок, направляется туда, через овраг.

Гнат лежал, поставив торчком кривую свою бороденку.

— Г-га! — вскинулся он и глянул на нее дико, по-сатанински.

«Господи,— шевелится в душе у Матрены,— вот человек мучится».

Гнат помирал. Скрежетал зубами, стонал, хохотал, но хотел помирать.

— В пыль зубы истер,— плакалась Зинка.— В порошок все, дюже лихо ему.

Наконец, боль сошла, Вырин затих. Зинка смахнула со лба его пот полотенцем, и Гнат повернулся к Матрене.

— Пришла? — прижав палец к горлу, слабо свистнул он горлом и усмехнулся.

— Пришла,— говорит Матрена с готовностью.

— Вот и слушай,— надвинулся на нее Вырин и зашипел, васвистел, ваклокотал: — Вши, вши, вши кругом, блохи...

— Это он бредит,— сказала Зинка.

— Нет, не брежу,— повел глазами Гнат.— При единоличии вшей и блох куда больше было. Отец на железной дороге работал, вшей, бывало, с себя на рельсы да молотком. Народ жил раньше сильнее, румяней, кровянистей...

— Пожалел чего,— вздыхает Матрена.

— Мне теперь терять нечего... Всю жизнь оборвало мне ваше отродье. Прикупил землицы после гражданской, думал, поживу хоть, похозяйствую, разведу культуру не хуже, чем у Брасова в его экономии. Муж твой, Степан — черти б ему на том свете приснились — пришел в коммунию: вот я, возьмите. Первый председатель колхозный. Не я стрелял в него, но мог бы и я... Ненавижу вас, ненавижу весь род твой, Матрена! Жить не дали мне, как хотел. Всю жизнь в ужимках, где бы и торчком, а ты гнешься, рюмки на людях не выпил.

— Бельма навертишь на глазах, полегше,— трогает пальцами Матрена свои седые виски.— Рюмки стеснялся — боялся нешто проговориться?

— Да, боялся. А теперь не боюсь... Так вот: я твою Фросю сгноил, угробил. Я — лично. Больно много знала.

— Ох! — осела Матрена на стул.— Ох, сатана!

Матрена переметнула овраг. Бежит, и все дрожит в ней, грохочет, как мельничные жернова. Вот вражина, вот печисть! Давным-давно, когда была еще девочкой, помирал так-то дед Крайновых — нехристь и конокрад. Колдуном, говорят, был, в кошку мог превращаться и пакостить: молоко пить из-под коров, напустить на стадо порчу, сибирку, у цыган коня увести из-под носа, а не то что у мужика.

— Матрена Федотовна,— слышит она за плетнем голос бригадировой Варьки,— Фрол Семеныч спрашивал, не придешь ли на склад, с семенами бригаде помочь?

— Как не прийти? — отвечает ей Матрена, словно во сне.— Приду, конечно, по силе-возможности.— И кричит исступленно: — Подай, Варька, топор! Топор подай!

Схватив топор, Матрена начинает отдирать в сенечном потолке доску.

— Чегой-то, ай спятила? — суетится сбоку Варька.

— Оборотень помирает, никак не помрет, — трещит доской Матрена. — Так-то спорее, пусть скорее отходит. Не-чистая...

И пошло, понеслось сначала по Хуторку, а потом по всему Селищу: Гнат помирает, перед смертью высказывался, и Матрена оторвала доску от потолка. И уже судили-рядили селищенцы, куда бы это определить Гната Вырина: ить человек — не собака; ить собака — не человек. Не на общий же погост его, где лежит Матренина дочь и другие, и куда честному люду путь не заказан.

И едва апрельская теплынь выгнала из почек клейкие листья, в сад к Матрене нагрянула ребятня — пионерский отряд; гомонили, галдели, все же упросили Матрену пойти с ними на сбор к той самой «березке с зарубкой». Грянула песня про чибиса, колыхнулось, потянулось ввысь знамя. Матрена семенила, путалась, все старалась попасть в погу, шла впервые так непривычно этой привычной дорогой. «Тра-та-та-та! Тра-та-та-та!» — лихо выщелкивал на барабане Сережа — бригадировой Варьки сышок.

*с. Ярище*



*Владимиру Демьяновичу Козыреву*

В ночь выпал первый снег. Родион открыл дверь наружу и зажмурился от яркой непривычности: так болезненно глазу. Он нырнул обратно; наскоро перекусив кой-чего, набросил на плечи стеганку и уже без стеснения, широко, с удовольствием зашагал по молодому, хрупающему снегу на взлобье, к колченогому деревянному кресту. Отсюда виден весь Синявинский хутор, речка Алешня, Сойминская плотина, за плотиной — в полнеба пологий бугор; он сейчас весь в теневой синеве. Синева мягка, завлекающая. Как рисованные, выделяются на ней оснеженные ракиты, султаны дымов плотные («гляди оно: разжигают печи соломой»), а сами хаты еще глохнут в тени, и он вздрагивает в поздней догадке: «А ведь деды аккурат хутор рубили, называли Сипявинским...»

Крест выветрен, сер, кривобок. Означает он место расстрела. Расстреливали его, Родьку, прямо здесь, перед собственной хатой. Расстреливали еще шестерых из их хутора. Все шестеро были уже повидавшие жизнь, пахватавшие в ней седых волос и морщин, а ему едва перешло за четырнадцать. Сестренка с братишкой впились в окно, закоченели, мать отвернулась; он до сих пор чувствует, как пуля укусила его в плечо и осушила руку...

Ночью он перевалился через мельника Осипа Савельева и сполз к берегу, прямо в Алешню, отвязал лодку, и его понесло к Абрикосовой пасеке дорогой, которой прошла сюда наша разведка.

Когда немцы уехали, бабы поставили этот крест, и младший братишка Сенька вырезал ножиком имена: Козырев Федор Никитич, Самойлов Поликарп Тимофеевич, Козырев Сергей Павлович — староста, Савельев Осип Демьянович, Шапинков Егор Васильевич, Масленников...

Свою фамилию Родька после стесал топором, да метина так и осталась, держится выемкой. И крест стоит, держится («а чего ему — пусть»), хотя расстрелянные уж давно лежат в коллективной солдатской могиле вровень с бойцами-освободителями.

На работу, к Абрикосовой пасеке, Родиону проходить мимо креста. Нет-нет, да и вспомнится прошлое, кипятком плеснет в душу, и тогда Родион опять, весь запекшись, смотрит в провальные дула винтовок, и опять чует на плече руку дяди Сережи, опять колышется в лодке, плывет по Алешне путем, каким прошла сквозь врага до Синявинского наша разведка, опять на мысу, вывалившись из лодки, уползает в прибрежный тальник... Напротив, из-за бугра торчит карандаш водонапорной башни. Там Устиньина ферма; Устинья додаивает, небось, уж последнюю Рябуху. С того бугра обещают в колхозе дать воду на весь Синявинский хутор, потому как с водой здесь беда.

Так за мыслями и идет Родион берегом, к Абрикосовой пасеке, на хутор Затишье. Идет неторопко, в спокойной степенности, ему мельтешиться нельзя, здоровьишко не позволяет: нет его после того пулевого знакомства да впоследствии недельной отлежки в кустах. Остыл легкими; как ни лечись, на веках воспаленный ободок так и держится, как ни харчись — тело в сухости так и стоит. После курсишек пришился вот к пасеке, векуует с пчелами, здесь чистый рай состоянию здоровья, и имя ему — хутор Затишье. Всюду вихрь, пурга, а тут затишек, солнышко. Южный

склон — теплый склон, пропеченный, прожаренный, все равно что южнее километров на двести. Знал Абрикосов, известный до революции пчеловод, что выбрать для пасеки. Вот его пенышек; тут ученый грелся, читывал книжки, писал труды по пчеловодству...

Родион садится на пень, достает из кармана газетку, сидит и смотрит прямо перед собой. Это ему как нектар; он и дня не может прожить, чтоб не посидеть так-то вот, не поглядеть, не подумать. Напротив через долину то же самое вагорье, северный склон — залесенный, в дубках. Он-то и прикрывает от ветра хутор и между ними речку Алешню, луг выгульный, заливной, медоносную пойму, где, боже мой, чего не растет только. Любит Родион посидеть, поддержать взглядом перед собой с этого места каждое время года. Вот ведь как сейчас все обукрашено, в краске на волоске, в одолении осени укрепляющейся зимой. На холодном склоне — снежно, тenevато, а вообще небо прояснено, чисто; небо и в речке Алешне — синей водою прикинулось, только литее, свинцовее; волна чистоты небывалой, так бы и пил до сведения skulls.

Березы стоят, придержав листву, золотые. Белое с них по стволу спускается к белому на земле, золотое уходит в легкое небо, в невозможные глыбы. Припекает солнце — и белое на глазах опадает.

Весь этот тихий уголок земли так привычен, по-домашнему близок ему, Родиону. Где и как что стоит, как и куда сдвинется известно ему наперед. Вот усами водит лоза, под лозой подзабыты им верши и кубарь, вмерзнут в лед вместе с подустом, подлещиком, шелешпером иль щучкой, окуньком или плотвичкой. Надо бы глянуть...

От лозы в гору идет человек. С ружьем. Кто это, а? В заячьей шапке, в брезентовой куртке, перехваченной поясом, в сапогах. Может, старше, а может, годок. Взгляд тяжелый, шаг легкий.

— Здорово бывал,— говорит пришелец шепеляво по причине отсутствия двух передних зубов.

— Здорово,— отзывается Родион и педоуменно следит за руками, лежащими на ружейном ремне. Руки путника пухлые, красные, волосы на них длинные да белесые.

— Ты и будешь лесхозовский пасечник? — спрашивает незнакомец.— Родион Сивявин? Так вот, я новый егерь. По фамилии — Зюзин. Зовут Александр, Шюра, значит.

— Шюра? — переспрашивает Родион.— Щур, значит? Тебе б со своим именем аккурат в рыбной инспекции — щук гонять...

— Хе-хе-хе,— смеется щербатым ртом Щур.— Шютишь, братец... Ну, медком угостишь?

Поднимаются выше, к пасеке. Ульи еще не в омшанике, стоят ряд за рядом, крашены в черное, чтобы солнце сильнее пригревало, чтобы пчела не засиживалась, была бы в облете подольше, зима бы оказалась короче... Самих строений давным-давно уже нет. Об абрикосовских стараниях говорит лишь древожизненная несокрушимость: липовая обсадка, подвыщербленные вишнево-яблоневые сады, сирень и акация, да еще, правда, остатки фундамента. Над шиповником, в тернах вертятся воробьи. Попадают мерзлые гряды и опенки, следы лося. Пахнет вялым дубовым листом, острым гнилостным запахом.

Вот и омшаник — под шифером, полувросший в дерновину; тут же в золотых макушках березы.

— Слушай, товарищ,— глядит Родион долгим взглядом на Зюзина,— а почему, скажи мне, с березы все уже послетело снизу, а на макушке вот держится?

— В шапке, понимаешь, макушка,— усмехается Зювин,— чтобы чох не схватить...

— Так-то оно так... А может, оттого, что снизу холодом лист прижимает, а сверху лист аккурат молодой еще, крепкий?

— Может, и так.

— А летки в ульях зачем позакрыты?

— От снега.

— Мыши чтоб не подточили,— говорит Родион и смотрит сбоку на Зюзина: — Да и егерь ли ты?

— Егерь,— снимает Зюзин картуз и хлопает им по колеске.— Выдвинут на эту должность. В конторе работал...

— А как там главный лесничий? Трубку курит иль... сигареты?

— Да что ты пристал! Трубку курит Егор Кириллыч, трубку... Ну, так что, угостишь медком-то, хозяин?

Родион успокаивается, идет в омшаник, выволакивает из него тяжеленный бидон.

— Вот медок так медок,— хлопает он бидон по боку и лезет с чистой ложкой в бидонные недра. И кладет кусками, накладывает в деревянную миску.— Засахарился. А когда качаешь,— не мед, а слезинка. стакан словно пустой. Это мед из подснежников, из первоцветов.

— Ну да?

— Ей-богу. Берегу с весны, не сдаю в лесхоз — пчелам, думал, пойдет зимой на подкормку. А тут дело такое. Интернат какой-то в сосновом бору открыли. Детишки со слабыми легкими. Да... Попал намедни к ним, окружили детишки-то. Воспитательница им: мол, это дядя самый главный по пчелам. Тогда они — шустер народ! — говорят: а какой мед, дядя самый главный, будет тоже самый-пресамый? «Ну, говорю, какой... из подснежников». — «Из подснежников не бывает», — говорит один сомневающийся, такой светлячок, карапузишко.— «Да вот и бывает,— говорю,— аккурат сами увидите...». — Вот и решил им свезти бидон. Ну, а пчел сахарком подкормлю. Всем аккурат хорошо...

Родион ставит чашку на стол под березками, кладет рассыпчатый мед перед Зюзиным, хлеб. И сидит смотрит, как тот смазывает медом поздреватые ломти и, оглядывая, отправляет их в рот. От усердия бороденка у Зюзина кособочится, брови уходят в разлет, в волосатых поздрах пыхает с подсвистом. Смоляной, сыроватый в теле, старательный — в еде, как в работе. «Съестной мужик-то», — реша-

ст про себя Родион, и душу ему отпускает. Всегда так, когда угощает медком. Угостит, а потом так и тянет, влечет его на любимую тему поговорить — о пчелах.

— Мед, медок — сила цвета, земли! Подвяжи к чирею медовую тряпицу — все с тебя как рукой... Мед числят аккуратно трех сортов: первый сорт — из цветов, после — гречишный, ну и тот, что от... тли. У нас тут пчелкам благодать — гони мед первым сортом. Липы, клены, всякие травы... Как пойдет медуница с апреля, цвет-подснежник, послеснежник-трава! Только надо медуницу уметь ухватить. Шагаешь леском — любо-дорого, но еще пусто-вато. Глядишь, водица катится по травке — под листвою, значит, снег последний дотаивает. А к водице той уже кловится стебелек мохнатый с цветками, и роется в них вольный труженик-шмель. «Ну, что же, пора и пчеле», — скажешь сам себе и пойдешь глядеть ульи. Слабую пчелу па подснежник не выпустишь. Чтобы первый мед взять, нужны крепкие, сильные семьи. Для того-то и трудимся, рук не жалеем. И в зиму пчел как надо пускаем, и зимой как надо содержим...

Солнце уже припекло, и сосулька над Родионом засохла, заколотила по доскам капелью.

— Пошел я, — подпимается Родион, — прогляжу пасаку.

Зюзин следом увязывается. Родион открывает летки, и пчелы выползают на солнышко, летят к ветхозаветному самовару, установленному под ивой на столе-дощанике, тикаются по зеленым от времени самоварным бокам. У Родиона и тут свой расчет и механика. Все до любой проржавелости в самоваре заткнуто пучками травы. А как же! Чтоб пчела не пролезала и не тонула в сладковатой водице. Чтоб не тонула пчела, построено и все самоварное предприятие — пей, пчелушка, здесь из желоба, не летай на Алепню-реку, где волна шкочит, забивает.

Родион открывает край, и вода бежит в желоб, выдолбленный в дубовой доске.

— Ты вот, Зюзин, скажи мне,— говорит Родион между делом.— Кто кого разумнее — люди иль пчелы? Аккурат скажешь — люди... А во многом нам до пчел не дойти, нет. Как у них все устроено — позавидуешь. Вот где принцип в натуре, этот... кто не работает, тот не ест. Поддержат-поддержат рабочие пчелы трутня, а в конце концов возьмут да отсекут ему крылья — нечего, дескать, жить трутнем. Так-то. Пасека — государство, целый, понимаешь, колхоз. И ты у пчел как бы за председателя, да. Выше матки пчелиной. Отец им родной. Пчелы в заботе у тебя и в догляде... Матка знай себе червит, потомство дает. Одни ее кормят, другие — у леток крыльями вертят, помещенье проветривают, третьи — добычу несут и, скажи, находят к пасеке путь и без солнца. Пробовал травку с дальних лугов отварить и питье в самовар им — после найдут любой луг, где та травка росла...

Зюзин слушает его, Родиона, с молчанием, вроде бы даже с усмешкой, странный егерь. Прошлые годы был здесь егерем, пока не пошел на пенсию, Куприяныч. Куприяныча только толкни, бывало, на разговор про пчелку, про цветок, про животину — и сам не рад. Уж и дела призывают, а он на каждое слово — случай тебе. Вот говорун-человек! Даром что век свой прожил в лесу, а этот угрюм, недоверчив.

Говорит, выдвинут из конторы, работал среди людей...

— Да ведь кто такой пасечник? — идет Родион по ульи-истому городку и метит мелом домики, какие надо в ошпаник пораньше, а какие потом.— Пасечник — это, прямо сказать, царь природы. Вишь, какой здесь простор, все поля да поля. По сю сторону хутора — поля аккурат колхоза «Россия». А кто поля ошедряет, оплодотворяет в цвету, кто гречихе, прямо сказать, зерно нагоняет? Мы аккурат с малой пчелкой...

— Тебе же за это медок.

— А пошли, проведу тебя,— не слушая Зюзина, гово-

рит свое Родион, — пошли, покажу, коль ты новый тут, территорию.

Закрыв дверь омшаника на «чепок», Родион ведет Зюзиша к речке. Дело к обеду, воздух уже прогрет, но берега, особо в тени, меж ивовых прутьев, еще в льдистых корках.

«Скоро станет Алешенка, — примечает Родион, — ульи в омшаник». Они идут к низкому берегу. Здесь, зацепившись пеньковым канатом за кол, кланяется волне плоскодонка. Поискав, Родион находит в кустах припрятанный ореховый «болт» и, упираясь им в близкое дно, отправляется вместе с Зюзиным в путь.

Раздвигаясь в берегах, Алешня впадает в полноводную Зушу, подпертую там, пониже, у деревни Козюлькино, крупной плотиной. Волна здесь уже посмелее, с белым барашком. Белое закипает и пропадает на синем, и лишь гуси остаются, белеют, бьются грудью о волны. Закричали, поднялись, полетели, снизились, пролетели навстречу волне — и шлеп снова в волну. И еще поднялись. И еще.

— Летуны, — кивает на них Родион и причаливает к берегу. — Специально таких заводят... Утром из дома лётом на зерно в поле, вечером тоже самое лётом. Ишь, отъелись — затяжелели, теперь ледок сглатывают, в теле жир укрепляют...

Они стоят на полуострове, упершемся стержнем в синюю воду; синева впереди и с боков, в синеве вся протока, за протокой — остров и островок, оба песчанистые, в лозняке, перехваченные друг с другом мелкой зарослью.

— Вот где лягушатник-то, — Родион ведет дальше Зюзиша.

На обрыве следы тех, военных времен: окоп на окопе, блиндаж на блиндаже. За обрывом — лес-крупняк, за крупняком — снова поле. Все в бурьяне, в тяжелой осеменной траве.

Родион замедляет ход.

— Тебе черти! — сплевывает он в огорчении. — Вот работнички!

— Чего ты? — оборачивается Зюзин.

— Да погоди ты, смола, погоди! — отмахивается Родион и шагает, считает рядок за рядком до самого берега. — Свекла! Сахарная... Никак три гектара! Ну, хозяйева! А вчера председатель колхоза хвалился, что завершили уборку на все сто процентов.

Возвращаются к пасеке. Родион идет молча, невесело. Проходят мимо пашни, мимо пекосей, загрубелого перестоя.

— Фацелия тут была у нас, медонос, — кивает Зюзину Родион. — Конвейер, понимаешь, для пчел. Да! — оживает пасечник. — С этой фацелией целая, брат, история. Есть у нас на хуторе один тракторист — по-уличному Адмирал. И не потому что фамилией Нахимов, а потому что пил крепко и с трактором не раз плавал в Алешне... Приставили его как-то летом ко мне. Как возьмет гадость какую в рот, так пчелы его аккурат в обработку. Разок да другой. Глаза заплывут на задвижку, а работать-то надо, дело не ждет. Бросил пить Адмирал. Отучили пчелы человека от водки, а может, еще отчего так случилось.

— Заливаешь, — ухмыляется Зюзин. — Ну, и дает!

— Видал, как у нас тут, а? Нравится?

— Жить, оно можно... Да мне эти места знакомы. Стоял тут за Зушей в сорок втором.

— Да ну! А чего же молчишь? — удивляется Родион и смеется и уже радуется знакомству. — Значит, ты ветеран? Да, жить здесь, правильно, можно... Так и быть, солдат, давай за знакомство.

Родион выносит из омшаника бутылочку с медовухой. С год стоит бачок с медовухой без дела, устаивается, а теперь вот понадобилась, с хорошим человеком чего и не выпить.

«Жить можно!» Это он верно...

— Ладно, забирай остальное, — говорит широко, от души Родион. — На еще и медку. Заходи — не стесняйся ко-

гда.— И сует ему в руки деревянную чашку, полную желтых матово-сахаристых кусков.

Домой Родион возвращается верхней дорогой.

А крепка медовуха-то; ух, как крепка! Утерев лоб полотенцем, Родион проходит в горницу и садится к столу. Нет в душе радости, нет, да и только. Три гектара впустую. Весь колхоз поднимали на свеклу, даже доярок, Устинью от коров отрывали. Удобрения туда, техпику, семена, и — пате. Ну, нет, покамест не поздно... Родион находит тетрадку — чистую, по арифметике. Вырывает лист с последней страницы и выводит крупно: «Председателю колхоза тов. Верховоду». Завтра сынишка пойдет в школу и отнесет. «Ты чего ж это всех, дорогой председатель, в заблуждение вво...» — начинает Родион, и вдруг гаснет свет. Опять вырубили на подстанции.

Родион сидит, размышляет: что делать? Как, понимаешь, без света? Там в омшанике где-то свеча. Сходить, что ли?

Он примечает, что у омшаника кто-то стоит, наклонившись к двери. Батюшки, это же егерь! А возле него бак с медом. С последним, с тем, что для ребят.

Родион поспешает.

— Что ты делаешь тут?! — толкает он в спину Зюзина.

Зюзин поворачивается навстречу. Рожка краснющая — пьян, подлец. «Вылакал бачок мой заветный, — мелькает у Родиона. — И бак с медом унести, должпо, вздумал».

— Эх ты! — вздыхает Родион. — Посади свинью за стол...

Родион хватает бак, горячится, сорвавшись пальцами с ручки, падает павзничь, Зюзин пьяно валится на него. Громадным усилием Родион сбрасывает с себя Зюзина, и они катятся под бугор, следом гремит и бидон. Все ближе, ближе к самому берегу, к речке Алешне, вода плещется уже возле уха. «Тогда не утоп, так сейчас!» — обжигает Родиона мысль. А Зюзин наваливается, дышит в лицо, и они снова катятся, закатываются под баркас — педелю

назад Адмирал вытащил его уже на зиму. Баркас сушится, задрав худой нос на подпоре. Родион видит перед собой просмоленные доски, и вдруг подпор отлетает в сторону, баркас падает, наваливается на Родиона. Родион чувствует, как что-то останавливается в груди у него, он затихает. Зюзин сидит на траве, уронив чуб на камень. Рядом валяется сумка, в сумке — рыжая шкурка ондатры.

— Пчелиный царь, царь природы, — бормочет под нос себе Зюзин. — Сволочь ты, а не царь. Мне медком по губам, а себе внакладку?

Он встает, ковыляет к бидону, открывает крышку и лезет рукой внутрь — мед кусками вываливается на землю. Зюзин падает, снова садится. Замечает, что Родион открыл глаза, шевелится.

— Ну, что? — тянет Зюзина на рассуждения. — Из подснежников мед, значит? Качество даем? А жена, говоришь, дояркой на ферме? Водички в молоко подливает? Летом зачем подливать, молоко и так летом жидкое, а сейчас туда хоть пол-литра на литр. И все довольны, самые строгие ОТК. И доярочки, и в магазинах — молочка всем хватает.

— Какой ты аккурат егеря! — тяжело дышит Родион под баркасом. — К зверюшкам только таких подпусти.

— А ты тут лежи, набирайся ума, — бормочет Зюзин. — В общем, не поминай лихом.

И поднимается, пошатываясь, хочет идти вниз по Алешке. Потом, вспомнив что-то, поворачивает обратно. Подходит к воде, наклоняется. Родион видит, как губы его, вытянувшись блинами, трогают сизую воду. «Меду нажрался, — думает Родион. — Ведь подохнет от холодной воды-то».

— Нельзя тебе, — подает Родион голос. — Помрешь от холодничка после меду.

— Ш-шютишь? — останавливается Зюзин.

— Ты живой людям пужен, судить будут.

— А-а, — равнодушно протягивает Зюзин и возвраща-

ется, сваливает с Родиона баркас. Трезвея, уходит вверх по Алешне валкой, нетвердой походкой.

Затрещал, зачихал мотор. От Зуши подлетела лодка — из рыбгоснадзора.

— Эй, кто там? Ты, что ль, Демьяныч? — слышит Родион знакомый голос старшего инспектора Коноплева. — Никого тут ныче не видел? Браконьеров ловим, поразбежались...

— Туда, — указывает Родион. — В брезентовом плаще, шепелявый, без двух передних зубов.

Родион сидит, отдыхает, гладит шершавый баркас.

Вот тебе и Щур, новый егерь. Эх ты, Родя, Родя. Егеря от браконьера не отличил. Ишь, подлец, кем прикинулся: воевал, говорит, стоял за Зушей. Да и как оно воевал, когда годок он тебе, а то, может, малость постарше? Ну, растяпа ты, дурак дураком.

Повалявшись дома денька три, оправившись, Родион опять собирается на хутор Затишье. К Абрикосовой пасеке один путь — мимо деревянного креста с той самой отметиной. Солнышко припекает, черное поле парует вовсю. На пасеке и вовсе теплынь. «Пусть еще пошевелиятся, потрудятся», — решает он и вынимает пучки трав из леток. Пчелы выползают наружу — одна, другая, десятая. И словно бы сговорившись, летят на Алешню, к Адмираловой лодке. «За медом... Аккурат там просыпали мед из бака, — вспоминает Родион и хлопочет, спешит открыть больше леток. — Сказать кому, а? Взяток осенью из подснежников. Все у пчел на контроле-учете. А медок, что остался, завтра же отвезу ребятишкам. И тому светлячку-карапузишке. Аккурат самый главный медок».

*Хутор Затишье*



*Ивану Ефимовичу Терехову*

Их выстроили на длинном плацу — крепких, осадистых русских мастеровых, в ладонях которых еще держались запахи камня и дерева, ржавого железа, известки. Поскрипывая ремнями, бодро ходил перед строем молодецкий взводный:

— Земляки, ребята? Орловские? — Посерьезнев вдруг, кивнул чубатой головой на зубчатую кромку леса. — Там и будем строить, понимаете сами, объекты...

Понимали ребята. Там, за лесом, проходила по речке граница, там горела, металась в огне Европа, стальной вал накатывался на Восток. Понимали ребята: неспроста оторвали их — кузнецов, бетонщиков, плотников — от мирного дела, от семьи, от жен и детей, неспроста привезли на границу. И тревожно было, и жутко от такого соседства, неизвестно, как еще проживешь-то завтрашний день.

Но вся жуть ушла вместе с началом работ.

Иван возил на ЗИСе из карьера щебенку и камень, сбрасывал перед лесом, и не его было дело, куда шел его груз, на какие-такие доты и дзоты. Пообвыкнув, он перестал чувствовать себя мобилизованным — не все ли равно, где крутить баранку? С дисциплиной в стройбате было не так уж строго; как и на гражданке, здесь платили за рей-

сы деньги, а по правде — не зарабатывал Иван по столько на гражданке.

Порою, лежа после отбоя на нарах, Иван мысленно считывал заработанное — выходило уже на корову и даже больше, и тогда он щурился, хмыкал, довольный: «Ничего, теперь бы еще на хатенку», — и, расслабившись, воображал, как висит преспокойно в каптерке его новый брезентовый «сидор» — вещмешок, поднабитый червонцами, вкрученными в тонкую кашемировую шаль. Эту шаль он купил в подарок матери. И с тех пор не мог уж не думать о доме — поскорей бы к себе, на Орловщину, поскорей! Быцветало и блекло все остальное перед этим острым желанием, уходило вглубь смутные страхи за завтрашний день.

А граница дышала, как зверь, — тяжело и сипло. Чувли ребята: оживает ночами тот берег — подползают к воде лазутчики в пятнистых халатах, вырастают к рассвету у поймы рощицы из кудрявых берез...

Всю неделю спали одетыми. Раза по два-три за ночь вскакивали по тревоге, ошалелые, мчались за оружием к «козлам», торопливо выравнивались на плацу. И хоть после до самого утра на душе было мутно и зыбко, хоть ворчали, поругивали за эти тревоги начальство, но никто не то, чтобы вслух, а и про себя вряд ли назвал это страшное слово, которое давно висело над всеми, о котором боялись даже подумать, — война.

Она грянула воскресною ночью, когда, наконец, разрешили раздеться, когда казарма забылась в густом предрасветном сне. Она грохнула, словно треснула и обвалилась часть неба. Люди метались по плацу в нижнем белье, а белье отливало розовым и даже кровавым от огненных снарядных полос, протягивающихся над головой. За казармой заклокотала длинная очередь, следом — вторая.

— Автоматчики! — закричал молодецкий взводный. И бросился к ближнему ЗИСу. Люди посыпались в кузов. Несколько машин рванулись в ворота.

— За мной! — отчаянно махал винтовкой комроты. — За мной!! — И бежал с кучкой бойцов за казарму занимать оборону.

Иван стоял онемелый, не соображая спросонья, не разбираясь в происходящем. Очнувшись, лихорадочно, не попадая в штанины, натянул галифе, качнулся к своему ЗИСу, сиротливо прижавшемуся к каменной стенке, и замер. Молнией пронзило: «А сидор?»...

Каптерка была совсем рядом. Как на грех, «сидор» не попадался. Иван тыкался в чужие вещмешки. Озлившись, срывал их с гвоздей и швырял наземь и топтал ногами, бешено вертя белками, искал свой, привычный, пузатый брезентовый «сидор». Он увидел его, когда по потолку запрыгали блики, когда в каптерке от снаряда загорелось крыльцо: висел, как обычно, в дальнем углу его новый зеленый, брезентовый «сидор».

Через минуту ЗИС прыгнул в ворота, исчез в темноте. Иван вцепился в баранку, едва различая перед собою серость асфальта, слабо отливающего жидким рассветом. Асфальт слегка зарозовел — Иван оторвал глаза от летящей навстречу дороги, поднял чуть вверх: облака сделались красными, слева полыхал пограничный городок. Иван вылетел на него. Увидел развилку и, не зная куда, не успев осмыслить, что будет потом, рванул баранку на дорогу правее. Подальше от взрывов, от снарядов, от пламени. На Восток, на Восток...

Проскочил луговину, вклинился в лес. Пламя и выстрелы были уже за спиной. «У-ух ты», — смахнул он рукавом пот, льющийся со лба прямо на руки, на баранку. Почуял у колен «сидор», подумал устало, но радостно: «А все же выкрутился ты, Иван»... И сразу же все, что пережил за эти десять минут, сделалось вдруг не таким уж большим и значительным. И все эти взрывы, огонь и первые ответные выстрелы стали, как сон; он так и не понял еще, что все это вместе и была война. «Это ненадолго, — успокаивал

он себя, слабый после страшного напряжения.— Отобьем нарушителей — вернемся в казармы...»

— Стой! — выросли на дороге фигуры. Иван осадил машину. Увидел военных — на петлицах кубики, шпалы: полковник и лейтенант. По обочинам чувствовалось скопление людей, приглушенные голоса, позвякивание лопат: видимо, рыли окопы.

— Стой! — повторил полковник, но уже значительно тише.— Разворачивайся!

В кузов вскочил лейтенант с пистолетом:

— В город! К штабу!

Городок полыхал. ЗИС перескакивал через воропки, через горящие бревна, падающие со второго этажа на брусчатку, пробивал завалы из железа и кирпича. У штаба они остановились, лейтенант пулей взлетел по лестнице. Показался в дверях с чемоданом. Рядом ахнул снаряд, лейтенант упал. Иван увидел на лестнице помертвевшую женщину с живым белым свертком в руках и у ее колен мальчишку в матроске, подхватил его, ринулся к выходу:

— За мной!

ЗИС петлял меж горящих развалин. Улиц как не бывало — только огонь и развалины. Чудом выбрались на знакомый развилок. Сзади трещали выстрелы, туго рвались гранаты.

ЗИС летел на Восток. Подобравшись, сжавшись в один нервный узел, рядом с Иваном сидела женщина. Какал красивая женщина. Ребенок вадрагивал у нее на руках, а тот, что побольше, уткнувшись в плечо матери смотрел на Ивана грустно, доверчиво. И такой теплой волной окатило Ивана, так стало больно ему за мыкающих горе детишек, за эту враз расстроившуюся семью («где-то сейчас глава их семейства, пограничник — полковник?»), так стало тяжело, обидно за свою и за их судьбу, что обмякло Иваново сердце, навернулись на глаза слезы. Он отвернулся, чтоб незаметно стряхнуть их, и... обмер: слева в брезжущей

серости, над густомолочной гладью тумана наперерез им ползли темные башни с крестами.

— Танки! — вырвалось у Ивана. А у самого оборвались руки и поги. «Проскочить. Проскочить. Проскочить», — колотилось Иваново сердце. В каком-нибудь полукилометре маячил спасительный лес, в него, завиваясь, уходила дорога. «Проскочить, Проскочить. Проскочить», — отдавало в ушах. А ЗИС словно замер, прижавшись к асфальту. Нога не слушается, пляшет — выплясывает на акселераторе: т-д-д-д-д-д... т-д-д-д... «Что делать? Что делать?» — прошибает Ивана холодный пот, и юркие струйки бегут по спине. А башни, рванувшись (заметили!), идут все быстрее и хлещут смертельным пламенем, и впереди кромсают землю снаряды. И женщина накрывает собой белый сверток, и мальчишка глядит на него, на Ивана, грустно, доверчиво.

«Проскочить. Проскочить. Проскочить». — Иван кладет правую руку на прыгающую коленку, что есть силы давит рукою вниз, упирая ногу в педаль акселератора. ЗИС подпрыгивает, рвется вперед. Иван крутит баранку левой. Танки уплывают, уплывают, уплывают назад. Навстречу летят вековые сосны...

Они едут медленно по лесной дороге, проложенной в просеке, отдыхая от только что пережитого. Из-за сосен поднимается солнце — круглое, большое, спокойное. Такое обычное.

— А ведь сегодня оно будет долго, — поворачивается Иван к женщине.

— Да, — оживляется та, — сегодня самый большой день в году.

Они выехали на большак, влились в общий поток беженцев. Шли дети, старики, женщины. Шли быстро, потому что еще были силы, потому что это был только первый день их пути. Шли, побросав все в квартирах, захватив самое необходимое. Один старичок в пенсне с клинообразной бородкой, возможно, профессор, нес зачем-то степные

часы. Они били через каждые четверть часа, и мелодичные звоны были до дикости глупы здесь, на этом шоссе, в этом людском потоке; и люди вздрагивали от звонов, напоми-  
нающих время, их квартиры, вчерашние планы.

Шли, толкая перед собой детские коляски. Шли, падев на себя в жару зимнее пальто, освободив руки, чтобы нести ребятишек.

Иван чувствовал себя слабой, бессильной песчинкой, которую увлекал с собою этот поток, эта стихия движения, всеобщий страх перед тем, что творилось там, на границе. С полным кузовом стариков, ребятишек попытался ехать быстрее, свернул на обочину.

Сзади зашли самолеты. Они летели вдоль ленты шоссе, летели так низко, что различались маслянистые пятна на свастике, и глазастые шлемы летчиков, и даже, казалось, их узкие, в улыбке поджатые, губы. А люди на шоссе не бежали, не прятались, еще не обученные войной. И только, когда, развернувшись, самолеты ринулись вниз, когда заиграли, качая крыльями, над безоружной толпой, когда хлестнуло из пулеметов и строчки фонтанчиков брызнули по асфальту и когда упали первые подстреленные, люди бросились кто куда.

Дзинькнуло в ветровое стекло, вскрикнул и захрипел рядом ребенок. Кровавое пятно растеклось по белому свертку. Ребенок был еще жив. Кто-то сказал, что неподалеку в селе должен быть медпункт. Иван свернул на проселок и гнал, гнал, не щадя, машину, подпрыгивая, подлетая на кочках. Скорее, скорее! И только постанывал ребенок, застыла в отчаянии мать, и мальчишка смотрел на Ивана грустно, доверчиво.

И вдруг мотор зачихал, машина остановилась — бензин кончился, стало тихо. Ребенок уже не стонал. И только в кузове отсчитывали время стенные часы в руках старичка с клинообразной бородкой, возможно, профессора, пенсне которого с золотою дужкой тускло смотрело в небо.

Их хоронили вместе, ребенка и старика. Под развеси-

стым ясенем выбили шоферским ведром могилу. Старика так и оставили в обнимку с часами, ребеночка — в белой простынке. И когда мать упала в последний раз наземь, Ивап, не зная, чем помочь этой женщине, как утешить ее, постоял, потоптался, вытащил из кабины ЗИСа свой брезентовый «сидор», вывернул его за углы, вывалил наземь шаль кашемировую, которую мечтал, возвратившись домой, набросить на плечи старенькой матери, закрыл этой шалью лица погибших. Комья земли мягко упали на шаль, зашуршал сыпучий песок. Вскоре под ясенем вырос свежестемяющий холмик.

Потом все шли по тропам, проселкам. Шли на восток. На одном плече у Ивана болтался похудевший «сидор», на другом — сидел пятилетний Андрюшка.

Когда в одной деревушке едва не напоролись на немецкий десант, они стали бояться поселков и деревень. Шли лесами. Ели малину и ежевику, пили ржавую болотную воду.

«Какая красивая женщина!» — смотрел на спутницу сбоку Иван украдкой, не без волнения. — «Какие глаза, пышные черные волосы. Должно быть, артистка». Заметил, как темные, голодные круги начинают расходиться под глазами Андрюшки, как Ольга Сергеевна все чаще опирается на березы и сосны, решил: «Надо достать где-то хлеба...»

С тех пор, как поулегся первый страх перед немцами и первая паника сменилась тягучей тревогой за судьбы тех, с кем он был на шоссе, за свою судьбу, за судьбу Ольги Сергеевны и Андрюшки, с тех пор, как снова обрел способность думать и рассуждать, Иван спрашивал себя бесконечно: «Почему так нелепо все вышло? Разве не ждали нападения фашистов? Разве не строил он сам, своими руками подземные ангары для самолетов, дзотами-дотами разве не укрепляли границу?»

И душу Ивана начинало бередить сознание какой-то неловкости за то, что его самого не оказалось в бою, что

его место, хоть он всего лишь стройбатовец, там, на границе, что вместо него, схватившись в смертельной схватке с фашистом, лежит в растерзанном окопе кто-то другой, может, муж ее, Ольги Сергеевны, Андриюшкин отец. Нет, он обязан вывести эту семью из окружения, выйти с ними к своим.

Вечерело. Они лежали на смолистых сосновых лапах, уставшие после трудного дня пути. Верховой ветер гудел, гудел, раскачивая могучие сосны. «Кого и за что они любят, такие красавицы? — смотрел Иван ввысь и чувствовал Ольгу Сергеевну совсем близко, где-то слева, на хвойных лапах. — Какой ее муж — лихой рубака и песельник? Девушки любят таких... Может, он еще жив? Отстреливается где-нибудь из последних сил...»

Сосны качались, шумели, нагоняли тяжкую дрему, и Ивану чудилось, что не в ржаво-болотных лесах Белоруссии, а в глубинной России играет деревьями ветер, что идет он, гриневский парень, золотыми полями и дубравами с невестой, и мать долго стоит на родимой околице и все шепчет вслед: «Будьте счастливы, дети...»

Он лежал и слушал, как подсвистывает во сне на хвойной постели Андриюшка, как поет где-то рядом серебрястый ручей. Будто и не было взрывов, самолетов со свастикой, мелодичных звонов под ясенем.

Начинала светать. Где-то слабо вскрикнул петух. «Деревня», — обрадовался Иван и стал дожидаться утра.

Они стояли на холмистой опушке, а вниз уходила дорога. По обе стороны гати синее начинало столбиться из болотных оконцев и, приподнявшись, растекаться по низине плотным туманом. Вдали, утонув в молоке выше окон, по крытым щепою крышам угадывались избы.

— Ждите, здесь, — коротко бросил Иван. — Пойду на разведку.

У крайней избы отбивал косу хозяин — сильный, в гимнастёрке мужчина. Тонкие звуки глуховато, тоскующе неслись по деревне. Иван мысленно примерился, как бы при-

шлась ему эта коса. «В самый раз пришлась бы. И-эх, в самый раз!..»

— Здорово, мил человек,— как можно приветливее обратился к мужчине Иван.

— Здорово,— буркнул хозяин, полоснув глазами из-под косматых бровей.

— Хлебушка не будет продажного?

— Много вас тут...

— За деньги, хозяин.— Иван вытащил для убедительности из «сидора» целую пачку червонцев.

— Убери, мусор. Теперь они ни к чему.

Подошли Ольга Сергеевна и Андриюшка.

— Дай, говорю, хлеба ребенку,— горячился Иван.— Третий день маковой росинки во рту не держали.

— Проходи, проходи.

— Даже мальцу? — опешил Иван. И его осенило.— Ах, ты из бывших, из кулаков? Немцев ждешь, свол-лочь?! — И увидел литые плечи, волосатую грудь.— Не в армии, гражданин, почему?

— Оно и ты, гляжу, воюешь подле юбки.

Иван как-то сник и расслабился. Что было ответить, чем оправдаться? Да, он бежал, потому что бежали другие. Он бежал тогда, но не побежал бы сейчас. Он теперь шел к оружию, к армии, шел и выводил к своим семью командира. И сознание этого подняло, поддержало Ивана. Он напряжился, подобрался, и, ощутив вдруг всю разницу между собою и этим — дезертиром, радостно, почти ликуя, крикнул, захлебнувшись от хриплого крика:

— Родину предаешь, шкур-ра?! — И, повернувшись, зашагал прочь.

Они постучались в избу на околице. Увидев его — в красноармейской форме, советского — забегала, захлопotala старушка. С печи, из чулана вывалилась ребятня — человек семь, мал мала меньше — и смотрела на голодных, измученных, и, прихивая, плакала над Андриюшкой ста-

руха, утирала морщинно-печеные щеки рукой, совала им на дорогу сала и коржиков, приговаривала:

— Ах ты, боже ж мой, вы народа не бойтесь. Заходите в деревни, люди накормят, напоят, укроют от ворога.

И, чтобы хоть чем-то ответить на щедрость ее, приласкать ребятишек, у которых «отец бился тоже где-то на фронте», Иван решительно скинул с плеча свой брезентовый «сидор», взглянул искоса на Ольгу Сергеевну, выложил на стол тугие пачки червонцев:

— На, мать, пригодятся. Еще будет в этих краях Советская власть.

Они не боялись теперь деревушек — заходили за хлебом, молоком и за солью. И когда в одной деревушке увидели в магазине открытые двери и продавца за прилавком, а на полках засиженные мухами пачки горчицы, дошку из жеребенка — серую от толстого слоя пыли, задохнулись от радости: «Неужели конец пути? Неужели выбрались?»

— Да, — сказала женщина-продавец. — Немцев сдерживают на узловой стапции. А до соседней — километров двенадцать.

Он купил зачем-то Ольге Сергеевне эту дошку («чтобы не мерзнуть вам больше рассветами»), а Андрюшке — парусиновые ботинки и шапку и, тряхнув своим опустевшим «сидором», оставив спутников в ближней избе, пошел по деревне искать сельсовет.

На станцию их провожала пышноволосая, остроглазая девушка, дочь сельсоветского председателя. Осталось немного до частей Красной Армии. Иван чувствовал, как волнение сжигает его, срывает с места, заставляет бежать навстречу железной дороге. Но он сдерживался, играл желваками, молчал. Теперь он не чувствовал себя песчинкой, как в ту страшную ночь нападения. Много дали ему эти июньские дни.

На путях под парами стоял эшелон. По перрону ходил военный патруль. Ольга Сергеевна подошла к патрулю, протянула свои документы. Все вытянулись, отдали честь.

— А этот? — кивнул лейтенант на Ивана.

— Сопровождает нас, — ответила Ольга Сергеевна.

Седой комендант, в чине батальонного комиссара, оказался другом мужа Ольги Сергеевны. И только здесь, только перед ним она дала, наконец, волю слезам и сквозь всхлипы, сквозь плач рассказала ему обо всем.

— Спасибо, товарищ, — сказал комиссар и протянул руку Ивану. Иван, смутившись, повернулся совсем не по форме, швырнул за плечо свой брезентовый «сидор». За дверью вдруг вспомнил, что так ведь и не спросил фамилии у Ольги Сергеевны, махнул устало рукой: «Э, ладно. Встретимся — живы будем — после войны». И зашагал на сборный пункт, туда, где формировались из окруженцев роты и батальоны.

*д. Гриневка*



Это лето дождливое. Льет и льет. Чиркнешь по палатке печаянно — потемнеет полоска, нальется водой, закапает. И все норовит зашиворот, на книги, на записи. Записи эти — дело всей моей жизни. Про здешние отроги Курской магнитной аномалии. Кто летом отдыхать в Крым или на Рижское взморье, а я вечно сюда, на свой курорт, — в Новую Ялту.

Все излазил с геологами, оконтуривал с ними участки, кое на что составил и собственное мнение. Земля здесь особая: полита кровью, на железе замешана. Дед мой с Деникиным воевал, батя в Отечественную героически пал, похоронен. Говорят, плуг идет — осколки по нему, как по сердцу; пробу возьмешь — керн багряный, кровавый. По науке — окисел железа, а в народе на это легенда: кровь с полей просочилась в самую землю да на твердом слое внизу, на руде, задержалась. Силы весны выгоняют ее к Дню Победы обратно, является она земле жаркими всходами, красными маками.

Уж так раздождилось, так набухло все, пришлось просить приют в ближней деревне у одной чистенькой доброй старушки. У нее стоит на квартире учитель, а на каникулах укатил куда-то. Я устроился за его столом и работаю допоздна.

— Все и пишут, и пишут, — вздыхает хозяйка. Пришла, смотрит, поглядывает на меня с табуретки, из своего

уголочка, так ласково, так ей слово хочется молвить. — И постоялец мой, учитель, все и пишет, и пишет. Читал недавно — про войну, про одну тут монашку. Спрашивал: понятно, мать, нравится? А как же, говорю, все как есть, как живое. В Дергачах у нас, говорю, такой случай случался. Отдала она жизнь за боль общую, за народ наш... Да вон на полке у него эта тетрадка. Михалыч людям читать не стесняется, на всех пишет. Соседи к нам, — не хуже как в кино... Может, и вы свое почитаете? А если стесняетесь, то из тетрадки Михалыча, а я еще разочек послушаю.

— Лучше из тетрадки, Акимовна.

— Ну, хорошо, милоч, почитай, почитай.

— «В начальный период Великой Отечественной войны, когда надо было сплотить и поднять на борьбу весь народ... партия напоявила имена Александра Невского и Дмитрия Донского, Глинки и Чайковского, Пушкина и Толстого»...

— Да не то, не про то, переверни листок, — советует из своего уголочка старушка и, приготовившись слушать, упирается пальцем в щеку, поворачивает в мою сторону ухо.

«Старуха была когда-то монашкой. Но монастырь после напа прикрыли, разбрелись послушницы по России в поисках крова и хлеба. Она приехала сюда к сестре, в Снегири, в тихий уездный городишко, где и думала дожить до смерти под сенью церковных звонниц, под золотистыми шпильями, которые там и сям пронзали бездымно спокойное небо, укрывавшее собой этот смиренный угол земли.

Ни собор, ни церквушки, правда, уже не служили — в иных были склады, хранились хомуты и зерно, в иных располагались районные учреждения, но старуха, выходя утрами во двор, каждый раз крестилась на них, а потом, вспомнив о богохульстве местных властей, дико и злобно плевалась, запиралась на весь день в комнатенке и вор-

чала под нос себе злые молитвы, выпрашивая у господ-бога ниспослания кары на греховодников, на теперешние порядки, на все новое время.

Она стояла на острых коленях перед комнатным иконостасом, смотрела в нечеловечески крупные, глубокие, как колодцы, глаза пресвятой девы Марии и, млея от чувственности, захватившей все ее тощее тело, ее сухие, так и не расцветшие груди, шептала в экстазе псалмы и молитвы, которые помнила с монастыря, но в которых с каждым годом тускнели значения слов, стирались, как буквы на пятаке, захватанном жадными пальцами. От этих молитв, песнопений оставалось в ней одно лишь туманно-расплывчатое сознание, что все услышанное ею в себе — от бога, она давно уж разговаривала с ним обыкновенными, простыми словами, выпрашивая у него мелкие и большие подачки. В последний раз она просила, чтобы господь прибрал ее вслед за сестрой, но он не услышал ее мольбы.

Недавно, когда она схорошила сестру и даже сам господь-бог не мог развеять ее тоски-одиночества, и до Снегирей докатилась война. На пятый месяц война заглянула и к ней в комнату. Замерев на закате в долгом поклоне, она почуяла лбом, как по шершавому полу потек от двери тонкий слой холода. Покосилась назад, разглядела кованые сапоги. И полу́ непривычно зеленой шинели. И квадратную белую пряжку.

На постой к старухе никого не поставили. Приходил офицер с переводчиком, хлопал тросточкой по спине: «Гут, матка, гут. Караше». Уходил прямой и скрипучий. А она все молила, молилась своей пресвятой деве Марии и не слышала, что творилось на улице за окном: ни стон раненых в проходящих автофургонах, ни шуршания по снегу полураздетых колонн военнопленных, ни гор-таных окриков — ничего.

Временами к ней наведывались крестьянки — помолиться за сына, за мужа, за брата, воюющих вместе со

всеми нашими где-то на дальней стороне. Они стояли во дворе друг за дружкой, в повязанных до бровей темных платках и молчали, томясь ожиданием, что скажет монашка: а вдруг уже нет их защитников, вдруг их синие очи навсегда закрыты землей? Старуха выделяла взглядом одну уже немолодую крестьянку с Судьбищей Варвару. Варвара ожидала спокойно череда, тиская в руках узелки с «благодарностью» — с краюхой пополам с лебедой чугунного хлеба, со стаканом пшена; и когда заходила в комнатенку к монашке, еще с порога бухалась на колени, с надеждой вцеплялась в глаза старухи:

— Живой али нет? Хоть словечко замолви за мово перед богом.

И старушка каменно глядела в глухие колодцы пресвятой девы Марии, в полузабытьи шевелила сухими губами, и каждое слово ложилось, попадало в самую душу Варвары, оживляя надежды.

— Господь мой, ты великодушен,— тяжело дышала монашка,— прошу тебя еще раз. Ну, в последний... у Варвары шестеро маленьких, услышь ее, господи. Помогни воину Фролу возвратиться живым из огня, из полымя... В последний раз прошу тебя, боже...

А потом оборачивалась, говорила крестьянке:

— Иди. Бог услышал меня. Твой муж живой. Он вернется. Жди.

Прослышав про знаменитую монашку-заступницу, тянулись к старухе бабы со всей округи, из далеких и ближних сел.

Однажды, уже позднею осенью, когда тугую грязь, взбитую узорными шинами немецких машин, принакрыло молоденьким снегом, они вдруг слышали колокольные звоны — звонили на главном соборе. Что-то давнее, полузабытое колыхнулось в душе старой монашки, вспомнилась ей щербатая паперть Александринской церкви, властная игуменья Марфа, монастырская звонница-красавица...

А колокол малиново пел, сзывая к обедне, сбрасывая с себя многолетнюю ржавчину, захлебываясь и ликуя, словно спешил выговориться после долгого отдыха. Опираясь на палку, старуха медленно, задыхаясь от усталости и радостного волнения, внезапно ослабившего ее и без того хилое тело, шла на богослужение, словно на праздник, и краем глаза следила, как в одиночку и группками со всех улочек и закоулков, стекались под автоматами люди.

Она проплыла по паперти, мимо верующих и неверующих, почтительно расступившихся перед ней, прошествовала к самому алтарю, замерла в первом ряду — строгая в своей черной одежде, писаная, как икона. Она ощущала всем своим телом давно забытую гулкость большого здания, вдыхала привычные запахи ладана и чувствовала, как сладко кружится голова, как слабые крылья, крепчая, поднимают ее к хорам и выше — к темным стрельчатым сводам, где звенят в мольбе души страждущих, слившись с мечтою о боге...

Толпа шевельнулась и ахнула — в золоченой ризе появился сам батюшка. «Это же наш водовоз! — смотрит, не верит глазам старуха. — Он же воду возил по дворам».

— Пьянь несусветная... До революции именем владел... Поп-расстрига, — прошелестело по церкви.

Батюшка задрал волосатый кадык, рывкнул, густо налившись кровью:

— Отцу нашему Адольфу Гитлеру — за избавление от красной заразы, за разрушение большевистских колхозов, за дарование истинной свободы, за вызволение наше и прочая, и прочая, и прочая — многая ле-е-е-та!

— Многая-многая лета-лета, — робко и вразнобой, словно мелкие колокола под неумелой рукою, прогнусавили подле попа жидкие голоса и — обрезались.

Народ стоял, не качнувшись.

— Славному воину Адольфу Гитлеру, — лез вой из кожи батюшка и беспокойно вертел белками на автоматчи-

ков, стоящих сбоку от алтаря, — за сметение с земли Красной Армии, за убийство партизанских бандитов и коммунистов-антихристов — чтоб им сдохнуть, проклятым! — за все прошлые и будущие победы немецко-фашистских... то есть, э-э... доблестной немецкой армии, и прочая, и прочая, и прочая — многая ле-е-е-е...

— А-а-а, — заголосил, завыл в истерике кто-то, но тут же смолк.

Монашка беспомощно огляделась, повела растерянным взглядом по расписанным, облущенным стенам, повернулась к многоликому иконостасу: боже, что же это творится такое, до чего допускаешь в своих владениях? — и, сжавшись от неожиданной боли за все виданное и слышанное здесь сегодня, за испоганенную святость храма, шатаясь, ничего не замечая перед собою, двинулась к выходу. Перед ней расступались, ей давали дорогу, а она шла, стуча перед собой клюкой, словно слепая, словно в каком-то дурмане, не различая ни своих, ни немцев, сбившихся с автоматами у соборных ворот.

С тех пор она не покидала своей комнатенки. Изредка к ней приходили крестьянки, приносили хорошие вести: объявились в лесах партизаны, а попу грозились вырвать поганый язык, оставляли старухе в узелках «благодарность», она, пощипав краюху хлеба неделю-другую, забывала про него, хлеб лежал, пока не делался камнем, не покрывался зеленой плесенью. Иногда она, будто очнувшись, сбросив оцепенение, бормоча, принималась складывать в тряпку и эту краюшку, и пару луковиц, и десяток картофелин — все свои съестные припасы, и выносила тряпицу во двор, молча совала вечно голодному Стеньке — сыну многодетной Ребрихи, который тут же скрывался с добычей в соседних дверях.

А потом оттуда выскакивала Ребриха — бледная, исхудалая, в рваном мужском пиджаке. Кланялась чересчур низко старухе, жалко улыбалась своими вечно слезящимися глазами, а старуха уже торопилась домой, по желая

сталкиваться с ее униженным взглядом. А сегодня Ребриха что-то шепчет, идет прямо к монашке. Как согнулись у женщины плечи с той поры, как забрали мужа ее Мисаила; немцы взяли его еще осенью и, говорят, расстреляли. Днем и ночью дрожит теперь за дощатою дверью Ребриха: вот-вот придут и за ней, за детьми. И они вчера приходили.

— Что мне делать? — морщится, вытирая глаза, Ребриха. — Ты старая, мудрая. Научи. — И дрожит, и трясется в беззвучном плаче. — Говорили, выдай десятерых коммунистов или всех нас туда... к Мисаилу.

— Бог тебе судия, — шевелит пергаментными губами старуха.

И опять приходили крестьянки, говорили, знакомые, мол, сестрины, Веры Ивановны. Оставили на время троих: двух парней и девчонку. Старуха определила их в темный подвальчик в сарае и ночами стонала, не спала. «Молодые и богомольны, — размышляла она. — Господи, спаси их и помилуй». И подергивалась, всхлипывала бесконечно. Через несколько дней эти трое ушли, а еще через несколько дней всех сгоняли на главную площадь, к углу городского парка, где стояла свежееотесанная виселица и ветер раскачивал три пеньковых петли...

Весна съела снега, высушила дороги. В Снегирях дружно выстрелили тополиные почки и растеклось такое разливанное море запахов, будто по улицам и перекресткам, по садам и даже по мокрым крышам пролили, не жалея, бочки одеколона.

Старуха готовилась к Пасхе. Засветила лампаду, которую жгла теперь, экономя лампадное масло, только по праздникам, нагрела водицы, вымылась в кленовой лохани, как привыкла мыться в чистый четверг еще с монастыря, стояла на коленях перед иконами — чистая, строгая, вознося свою душу к страданиям Иисуса в эту страстную неделю.

В сенях вдруг застучало, загромыхало, как будто два-

лился табун лошадей. Рванули дверь. Старуха покосилась назад — разглядела кованые сапоги. И полу зеленой шинели. И квадратную белую пряжку. Запыло сердце в смутной, едва ощутимой тревоге, которая обвалилась, разом превратилась в смятение, когда за шинелями мелькнуло бледное, испуганное лицо Ребрихи.

Сыплет и сыплет слова офицер, захлебывается переводчик, а старуха из всего, что обрушилось на нее, улавливает только одно: что оставили те, что прятались, трое? «Что оставили? Что оставили?» — звенит в висках наковальня, ломит голову от мыслей, тучей бросившихся в нее; все летит, все кружится, все проваливается. «Что оставили?» Офицер весь с игопочки. Хваткий, надменный, чужой. «Что оставили?!» Били, повесили тех ребяташек...

— Говори — ну! — наклоняется переводчик.

Старуха грохается на колени перед девой Марией, страстно шепчет прыгающими от волнения губами.

— Не оставляли ничего, нет! Видит бог.— И истово крестится на образа, кладет в святой угол земные поклоны.

Обмякло за спинами окостеневшее лицо Ребрихи, кто-то вытолкнул ее к офицеру.

По сениям прогрохали кованые сапоги, солдат передал офицеру металлический ящик. Вскинулись в гневе бесцветные брови, налились желваки. Старуха поняла, случилось что-то ужасное, непоправимое, что уничтожило, разметало ~~разметало~~ появившуюся надежду.

— Не оставляли, яволь? — впился офицер взглядом в старуху, а в глазах уже прыгает, мечется бешепство.— А это? Это? — И хлещет перчаткой ее по щекам.

— Рация, — вставляет свое переводчик. — Найдена сейчас в сарае... Врешь, значит, своему богу, старуха?

— Нет, я не вру, — распрямляясь, смотрит старуха прямо в бешеные глаза. — Я не вру! — уже с силой, вдруг нахлынувшей, переполнившей всю ее душу, укрепляясь в

сознание своей правоты, правоты и тех троих, и крестьянок, и их мужиков, воюющих против пемцев где-то на дальней стороне, как заклятие, повторяет она.

Вздохнула Ребриха, солдат-верзила саданул коленом ее под живот. Она как-то странно, словно мешок, осела на пол, свесила голову набок.

— Ироды,— глухо выдохнула старуха.— Звери лютые.— И столкнувшись с бешеными глазами, впервые в жизни так остро почувствовав нехристианскую ненависть к человеку, плюнула что было мочи в эти глаза.

Хлопнул сухой выстрел.

Она лежала на полу черным пятном, и тонкая струйка крови, дымясь еще, катилась под образа, которым старуха верила вчера и сегодня — всю свою жизнь и которые не смогли защитить ее в эту минуту. Не мигая, тускло светилась лампадка, удивленно смотрела на грешницу пресвятая дева Мария».

Последний вздох, последняя строчка. Я выхожу во двор. Отсюда, с Новой Ялты, видать далеко. Уже поздно. За леском, в междуречье, перемигиваются скопления звезд на земле, вспыхивает шаровая молния — наверное, электросварка на строительстве горнообогатительного комбината. А вон те скопления звезд — Дергачи, Снегири, словом, любой городок и поселок, где вполне могла произойти эта история. Растут, набирают сил Дергачи, шумит Курская аномалия. И цветут в полях, стучат в сердце красные маки.

— Так-то, милоч,— выходя следом, гремит щеколдою старушка.— А Варвара-то... вон живет за ручьем и Варвара. Мужа своего отмолила, живой.— И смотрит, смотрит туда, в междуречье, покачивает головою Акимовна.— Одного не пойму, сынок: какая же она ему грешница, когда смерть пришла за народ?



Наш пеньковый заводик тенистый, весь какой-то игрушечный, из девятнадцатого века. Но в краснокирпичные, основательной кладки стены вложено современное оборудование, к которому мы с Женькой, дружкой моим, и представлены механиками после техникума. Дали нам комнатку с видом на «террикон» — огромную гору костры посередине заводского двора, зато другое окно выходит на большое красивое озеро, исчезающее где-то там, в камышах. Там утиный заказник, в заказнике вот уже третий сезон хороводятся лоси. До того облаггели, что приходят и к нам сюда, на территорию, сносят зубами осины даже у окон директорского кабинета. После одного из таких набегов Степан Васильевич, директор наш, говорят, будто кивнул за окно на дорожку:

— Вот бы куда самострел приладить. Одного — двух снести, другим было бы неповадно.

Нынешняя должность у Ефимова, директора нашего, — не самая высшая. Человек он пожизненный, масштабный, прошел всевозможные «ати и яти». У него характерный румянец на щеках, на носу сизоватый налет, особенно в вечеру. Но взгляд поставлен прямо, бровь широкая удивлением не изломается: боится выйти из равновесия; надо — по возможности — беречь себя и подчиненных от модного пыле стресса. А как уберечься, когда жизнь из сплошной первотрепки? Главное — чтобы производство не

трясло в конце месяца. А не получается. И на то не одна причина. На заводик, что в семи километрах от районного городка, да еще в таком райском местечке, в любой момент жди инспекцию. Отбывая с наезжающими по направлению к заказнику, Степан Васильевич сообщает своей секретарше: «Ушел в сторону моря».

Степан Васильевич обращает слова больше к Женьке. Женька легче сходитя с людьми, за каких-нибудь три месяца он и здесь уже свой человек. Иное дело со мной. Вот и учился в городе и живу вон сколько, а вкипело в меня это мое деревенское, все здесь как будто печальный: там не то скажешь, тут не так промолчишь.

Поселок наш, согласно местной шутке, тихий уголок Москвы: улицы кольцами вокруг заводика. Неподалеку от конторы — комбинат бытового обслуживания, где, сколько помнят в поселке, шьют и отправляют куда-то серые шапки. Ходят в них все наши конторские. И нам с Женькой Степан Васильевич предложил «по знакомству», «без особого ущерба бюджету» и «чтобы мы не выширали». Женька помялся-помялся, да и принял предложение, ходит теперь, как и все, — с затылка можно принять за любого конторского. А я как брякнул тогда, что, мол, не детдомовец, не военное время, так и стою на своем. Мне от моего характера одни неприятности.

Степан Васильевич — человек обходительный. Кулаком бухать по столу разрешает лишь начальнику производства. Правда, Степан Васильевич, говорят, не всегда был таковым. Не то теперь время, все больше нужно к душе подобраться, к сознанию. Беседует с тобой, а сам заглядывает в тебя скорбно: дескать, за всех вас страдаю, за ваши невыполненные планы. Скажет слово — языком чмок-чмок, словно конфетку сосет, и с пяточки на носочек перекатывается. Туда-сюда. Как пресс-папье. И левой рукой по виску, по чубу. Точь-в-точь, как один, говорят, районный руководитель — любитель ездить сюда на инспекцию.

Зашел как-то Степан Васильевич к нам в холостяцкую комнатку.

— Что ж это у вас стенки голые? — повел взглядом вокруг. Усмехнулся: — Голых бы на голое, что ли, повесили? Из иностранных журналов.

— В техникуме иностранному не обучали, — отвечаю я.

— А это вот... развлекаетесь? — указывает Степан Васильевич пальцем на мой магнитофончик.

— Хобби у него, — кивает на меня Жецька. — Песни по деревням записывает.

— Задание имею, — отвечаю я мягче, словно бы извиняясь. — От руководителя нашего хора.

Крутится, крутится магнитофонная катушка — песни все больше старинные да про войну. Склоняет Степан Васильевич седоватую голову: доволен. Любит он, чтоб и у нас на заводе все вот так же заведенно катилось, крутилось, чтоб не дай бог что-нибудь произошло. Ни в отстающие, ни в передовые не надо нам. Да, а тут такой случай. Поместила городская газета заметку про сома, якобы выросшего в бревне, это, значит, в дупле. Поместила под вывеской «Фенологические наблюдения». Степан Васильевич прочитал заметку, покрутил-покрутил газету в руках, призадумался, спрашивает: тут подписано «Е. Старых», мол, не та ли, что в наружной у нас охране? Вроде та, отвечают. Вызывает Степан Васильевич ее и с лентой этак, для пущей важности и говорит:

— Ты, что ли, милая, пропечаталась в газетенке, про сома оповестила?

А сам расправляет брови, расправляет.

— Оповестила, батюшка, — отвечает Старых и улыбается. — Внук написал, а я оповестила.

— В дупле, значит, вырос?

— Кто?

— Сом-то.

— В дупле.

— А где же вы, милая, вместе с внуком своим видали, чтобы бревна не за здорово живешь где-то плавали?

— Так, Степан Васильевич, у нас же, где пилорама...  
Со склада и в речку

— Энтерресно.

— Как-как?

— Энтерресно, говорю!

— Конечно, конечно. И вниз по течению. И после кому куда.

— Интересно, говорю, надо прямо в газетку. На всех.

— Так внук же. А я, Степан Василич, уже от годов отошла. Если что не так, прости меня, старую. У меня сын парализованный...

— От годов, говоришь, отошла? — смотрит в окно Степан Васильевич. — Ну, иди, голубка, иди. Иди, милая, с богом.

Дверь за ней затворяется. Степан Васильевич нажимает на кнопку.

— В грузчицы ее, — кивает он секретарше. — Нет, куда ей? В самом деле, пусть идет себе с богом на пенсию. Оформить. — И оборачивается, замечает нас с Женькой, вздыхает. — Матерей наших надо беречь. Пускай отдыхают.

И вот теперь, когда Степан Васильевич сидит у нас на табуретке, я решаюсь наконец спросить у него:

— А как же тогда с той... Е. Старых?

— Со Старых-то? — стрельнул из-под могучих бровей Степан Васильевич и зачмокал языком, засосал конфетку. — Согласно закону...

В субботу Женьке надо в районный городок — к теще, а мне по пути и дальше. Я беру в руки магнитофончик с запасной катушкой, и мы с ним выходим на большак. Дня три назад подсыпало снегу, неделей раньше стала река. Автобусами и на машинах катят из города удочки с пешнями и дрелями, просто лыжники с рюкзаками, и все к нам сюда — на воздух, на лоно природы. Через плечо

у меня друг-товарищ, магнитофон-бегунок. Сколько им намотано пленки с напевами, песнями, речитативами. Заведу, словно бреднем, по краям и закрайкам — в нем и свадебные, и хороводные, и веснянки, и овсени. Отвезу в свой техникум нашему хору, там их вызвончат, высветлят, пустят по белому свету. Слушали как-то в конторе по радио одну найденную мною песню, и всем, видел, нравилось. И кому до того, кто нашел эту песню, что за нею пешиком приходится в выходные...

Машины идут мимо. Дорогу начинает пересивать поземка, пальцы в ботинках покалывает. Сейчас разогреемся песней. «Бегунок» шелестит и потрескивает. Бьется голос — она, Василиса с Полднего. Как ведет!

— Ах ты, ягодка-сомородинка,  
Распрекрасное мое деревце!  
Ты когда взошла, когда выросла,  
Ты когда росла, когда вызрела?

Потом поет хор. Весь в басах и с оркестром. Как волны на поле, когда только выкинет колос. Да неужто все это мы, наше, нашеньское? Слушаю, и в ветровых стеклах идущих мимо машин вижу поле, когда только выкинет колос, и в хлебах я по шею, по брови...

Рыкнул тормозами зилковский самосвал.

— Садитесь, — слышим знакомый голос — это же наш Степан Васильевич. — В тесноте, да не в обиде. Мне у заказчика выходить. — Он в белом халате с капюшоном, меж коленок ружье. Садимся — я, потом к дверце — Женька.

Шофер еще пацаненок — такой рыжеватенький, жидкий, глаза-кромочки, подрагивают. Ездит, пожалуй, недавно.

— Факт, — успеваешь кивнуть он на ухабе. — После курсов в «Сельхозтехнике».

Вечереет. Дорога живет, шевелится. На гололедных участках шофер впивается в руль, оттирает лоб рукавом. Снег на их складках уже посинел, тeneватый, потемнели

и лесопосадки. Мотор урчит, втягивает в теплую дрему. Вдруг под колеса метнулся живой заячий ком. Шофер рванул в сторону, машину подбросило, накренило, и она долго, слишком долго катилась на правых колесах, потом всех куда-то швырнуло. Едва выбрались вверх через дверцу. Женька где-то там, под машиной. Еще вертятся колеса. В снежном месиве стон — Женькин стон. И тихий от ужаса шепот шофера:

— Там человек... живой...

Оказывается, это Женька — вывалился из кабины, попал между кабиной и кузовом.

— Сейчас будем взрываться! — обрел наконец голос шофер. — Сича-ас...

Мотор уже загорелся. Дым перекинулся на бензобак. «Взорвется, — доходит до сознания, и ноги мякнут, становятся ватными. — Сейчас вниз хлынет бензин».

— Женька! — кричу я вне себя. — Женька!!

— Я к телефону, — пятится Степан Васильевич за металлический кузов. — К людям я. Скорую помощь вызову, К телефону я.

А огонь уже садит искрами. Сыпать снегом, снегом! Споткнувшись, падаю и втыкаюсь зубами в паст. Далеко в сторону отлетает магнитофон-бегунок, включился сам, возник тонкий трепетный голос:

— Ты когда взшла, когда выросла,  
Ты когда росла, когда вызрела?

Женькина рука торчит из-под машины и водит, водит по насту, по воздуху. Я хватаю снег, он сыплется между пальцами. Надо взять ухватистее. Надо шапкой и бросать на мотор. Пришел в себя пацаненок-шофер, помогает черпать снег ведром. Сейчас бензобак ахнет — и все к чертовой матери! Чувствую, почти физически слышу, как бьет ударной волной, лицо обдает огненной лавой, плавятся, шипят и трещат нос и щеки, и грудь, и даже за-

тылок. Отбежать, отскочить, ну хотя бы встать за железный кузов.

Я весной взошла, летом выросла,  
С зарей цвела, солнцем вызрела.

Черный дым покрывает с головой — горит резина в кабине, это сиденье. Захлебывается кашлем шофер.

Снег уже не успевает таять, мы набиваем снегом огненные потроха, кажется, пламя осаживается, кипит, перебулькивается вода. В последний раз из горловины бака рвануло пламя. Шофер накрыл его заячьей шапкой, шкурка вспыхнула. Черные шоферские пальцы медленно закручивают горловину.

От села уже бегут люди. Машину ставят на колеса: в снеговую мешанину под нею жутко смотреть. Спичкой высвечивают лицо — Женька, живой! В «летучку». В больницу. Скорее.

— Я звонил,— бежит от деревни Степан Васильевич.— Сейчас будет «скорая».

Гоня пустую катушку, валяется в стороне мой «беунок». Подходит ко мне пацаненок-шофер, левой, несожженной рукой утирает у меня на лбу кровь.

— Чей будешь? — спрашиваю я.

— Старых. Елены Егоровны, что была в наружной охране, ввук... .

Мне теперь ехать некуда. Надо к Женьке в больницу. В приемном покое горит ночничок.

— Из аварии? Евгений Бакин? Парень в счастливой рубашке. Ушиб бедра, нервное потрясение. Ничего, утром свидитесь...

На вокзале толпится народ — люди пришли к электричке. Обсуждается свежая новость: только что за пенькозаводом сгорела машина и в ней трое намертво, а четвертый сбежал.

— А чего ж четвертый-то сбежал? — переспрашивает худую усатую женщину полненькая старушка.

— Трус оказался,— скривилась худая и, сожалея, покачала головой.— А эти выручали дружка и сгорели, родимые. Своими глазами видала сгоревших-то.

— Ну? Царство им небесное...

В дверях показывается Ефимов, директор. Ищет кого-то глазами. Стоит напротив, молчит. И я молчу, по взгляда не отвожжу.

— Клянешь меня,— присаживается рядом Ефимов.— Дескать, подлец, сволочь, трус. А сам в собственном мнении — личность, герой. А тот шофер, из-за которого все... Я молчу.

— Поживи с мое,— вздыхает Ефимов. — Научись, брат, вертеться... Смотришь по телевизору спортивные передачи? Жизнь — состязание, люди в ней — игроки. Я играю на грани фола, в притык.

— Трус вы, Степан Васильевич.

— Да-а, не понял меня... По-твоему, и мне падо было швырять снег в машину? Втроем бесполезно. Бак взорвется — и нас, и того, что выпзу... Я бегу за людьми. Я рискую... своим добрым именем. Сам бегу, от кого у телефона больше проку? Так что все относительно. Выжал из ситуации максимум пользы.

— Удобная философия,— смотрю я в глаза ему.— А если бы не хватило именно вашей горсти? Я вот песни собираю, душу народа. Там все просто: трус есть трус, герой есть герой. Есть устой.

— Тогда проще все было, теперь жизнь другая.

— «Аннушка разлила масло»,— ухажу я от дальнейшего разговора.

— Ну и что? — говорит он обеспокоенно.

— «А у Берлиоза соскочила голова»... В бревно попал сом, сом — в газету, вы уволили старую женщину, внук бросил школу, пошел зарабатывать, устроил аварию, и в результате вы излагаете свою философию, которую всю жизнь скрывали от всех.

— Устой-то? Устой движутся вместе с людьми. И Ев-

гений Бакин будет больше благодарен мне, чем тебе. Так что все относительно. До свиданья, герой.

Треск в репродукторе. Объявляют прибытие электрички. Надо куда-нибудь ехать, только не стоять, не выслушивать умную ложь. Стучат колеса, тянутся путевые огни. Взошла луна, пролетают селения. Поезд мчит меня, а куда? Я кручусь на сиденье, ворочаюсь, вздрагиваю. А чья-то рука все водит, водит по снегу, и горит на бензобаке заячья шапка. И на меня движется вражеский танк — хлещет огнем и свинцом. А у меня лишь граната. Танк идет, а у меня от ужаса на спине замерзает кожа, и я отступаю, пачусь, сжимаюсь в пружину, выбрасываю руку и гранатой его... Очнулся. Как он сказал тогда на перроне: Женя будет больше благодарен ему? Приду утром в больницу и скажу: «Аннушка разлила масло, а с Ефимова, Женя, соскочила серая шапка».

*Поселок Змиевка*



*Дух веет, где хочет.*

— Кастальский ключ... Что это такое? — спросил его сын, большой дока по части всяких словечек и выражений.

— Идем, — сказал отец, и с Невского проспекта они свернули на боковую улицу. Прочитали: «Большой зал филармонии». Вошли в дверь и увидели кассы.

— Извините, — сказал отец в окошко неожиданно громко, Митя услышал, как голос его непривычно дрожит. — У вас сегодня «Шестая патетическая». Окажите любезность, мы с сыном приезжие... Нельзя ли всего два билетика...

— Я постараюсь, — ответили им из окошка и куда-то ушли. Минут через пятнадцать тот же голос произнес: — Вы родились в счастливой сорочке, вот вам два входных.

— Вот и отлично, — облегченно вздохнул отец и поклонился к сыну: — Чайковский вечером тебе и ответит, сам Петр Ильич...

Первый день в Ленинграде и попасть в филармонию на Мравинского — это было прекрасно. Когда подходили к билетерше, строгой, в голубом нарядом costume, оба почему-то заволновались. Сын протянул билеты, ладони его отсырели.

— Музыкант? — улыбнулась ему билетерша.

— Да-да, пианист,— закивал он с готовностью и, пожалуй, впервые за свои прожитые двенадцать лет понял, что не зря ходил в детскую музыкальную школу, хорошо, что не бросил ее.

Поднимались по мраморной лестнице вверх, в царство музыки. Сын подумал: «Вот бы взлететь одним махом», а отец: «Этот мрамор мели шлейфом княгини». Зал их встретил праздником света: сияли по центру большие хрустальные люстры, интригуя, прятались за колоннами боковые хрустальные, и колонны сияли — стройные, беломраморные, и люди сияли — было уютно, радостно, хорошо.

И тут они увидели своего земляка. Удивительно, за тысячи километров от родного Заокска, в многомиллионном городе, в одном зале, на концерте симфонического оркестра увидеть своего земляка. И хотя в Заокске они даже не здоровались, встречали его иной раз на улице, знали, что он ведет в городе музыкальный лекторий и что у него богатая личная фонотека, Митя тут же подлетел к нему, а Илья Серафимыч поклонился с почти юпошеской пылкостью.

— Рад вас видеть. И где! Замечательно,— засмеялся земляк и пошел, как бы прогуливаясь, рядом.— Видите ли, в любом месте в наши дни можно духовно расти — это мое убеждение. Пожелал черпнуть культуры полной горстью — поезжай в Москву, Ленинград, они тебе не за тридевять земель. Не любишь ездить — черпай то, что имеется. Тут же, поблизости.

Отец купил программу. Прислонившись к колонне, они с Митей читали: «Шестая симфония П. И. Чайковского — величайшее достижение композитора... Написанная перед самой кончиной, она поистине трагедийна, наполнена борьбой темных и светлых сил... Первое исполнение не встретило понимания современников»...

Илья Серафимыч помнил этот зал, эту симфонию еще

со студенческих лет. Тогда, купив билет на медные деньги, они стояли именно здесь с Наташей, Натальей Ростовцевой — его однокурсницей. Девятая справа колонна. Она, Наташа, уехала от него к другому, в Москву, оставив ему сына: «Потому что слишком похож на тебя». Он должен был выстоять, но где же взять силы?.. И вот теперь он с Митей здесь, у этой девятой справа колонны, в городе, где были они с Наташею когда-то счастливы...

Вспыхнули аплодисменты: выходил и рассаживался оркестр. Пышная шевелюра гастролирующего в Союзе пианиста-француза качнулась в низком поклоне, белые манжеты взлетели над головой дирижера. Скрипки взвились и унеслись, прорезались духовые; сквозь черные тучи и проблески света рвется, клокочет, взывает к себе душа, полная чистоты и отчаяния. Илья Серафимыч чувствует холод мрамора, тепло прижавшегося к нему сына и закрывает глаза. Он не профессионал, ему не нужно подмечать ни дирижерских акцентов, ни асинхронности пианиста. Он слушает себя самого, свою и ту, гениальную душу, которая входит в него, слагаясь из звуков, полных любви и страдания.

Да, в этом городе они были с Наташей когда-то счастливы. Вот они, старшекурсники, без пяти минут врачи, в Пушкино, Екатерининском парке. Ветер задирает деревья, меняя гамму тонко подобранной зелени, обнаруживая за ветвями дворец. Наташа ловит каждое движение Ильи, каждое слово, она любит его и будет любить до конца своих дней за пылкость характера, за то, что он откроет новые средства борьбы с полиомиелитом, облегчит страдания детей. Она любит его... Потом он всегда вызывал в памяти то, бесконечно далекое время, Екатерининский парк и ее, Наташу, в скользкой шелковой кофте...

В Заокске он, конечно, не открывал Америк, не изобретал сывороток против полиомиелита, за него это делали институты. Он был просто врачом, обычным человеком в житейской стихии, честно делающим свое дело — разве

этого мало? После того, как Митя попросил и пошел в детский сад, жена увлеклась театром, пересмотрела весь местный репертуар, потом взялась за живопись.

Павел Мирский появился в их доме вместе с женой — тоже Наташей, для отличия — Нателлой, милой, худенькой, вечно озабоченной женщиной, и сразу же заполнил собой их квартирку, стены, кажется, стали дрожать от его баса. Илья прозвал его про себя «луженой глоткой». Любимым коньком Павла были импрессионисты, он знал и читал с удовольствием поэтов этого направления — Рембо, Бодлера, Верлена, мимоходом мог сказать, как, к примеру, Клод Дебюсси сумел создать нечто подобное в музыке и увлечь, между прочим, нашего молодого Стравинского.

— Вы говорите так, будто у нас в то время не было собственного искусства,— возразил ему однажды Илья Серафимыч.— А постановка Михаила Фокина балета «Жар-птица», а Шаляпин в «Борисе Годунове», а «Половецкие пляски» в «Князе Игоре»? Наконец, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский... Изысканному искусству мы противопоставили поэзию жизненной правды, полную драматизма, борьбы...

— Ты просто злишься,— сказала ему впервые резко Наташа, когда Мирские ушли.— Павел — настоящий художник, он эрудирован, обладает завидным вкусом, чутьем.

И это было началом конца...

Илья Серафимыч вздрогнул: мощные звуки оборвали воспоминания. Здесь Чайковский напряг все оркестровые силы, даже литавры едва пробиваются сквозь иступление звуков. Вдруг напряжение спадает, гобой ведут свою партию пианиссимо умиротворенно, готовя вступление скрипок. Итоги жизни, вершина борьбы...

— «Как хорошо быть ребенком,— думает Илья Серафимыч,— только детство счастливо и безотчетно».

— У этой колонны мы стояли когда-то с твоей мамой,— шепчет Мите Илья Серафимыч и отворачивается,

и его слезы стекают Мите на плечи, на шею, на пальцы. Митя вздрагивает, пожимает ему руку ответно. И снова взвиваются скрипки, мечется фортепьяно. «Ну, почему так? — с тоской думает Митя. — Папа и мама... ведь оба хорошие... Он обманывает меня, она не в командировке, она даже не пишет, хотя пошел уже третий месяц... Когда я был совсем маленьким, папа нес меня до самого леса на плечах, а мама подпрыгивала сзади, шлепала сзади ладошкой, смеялась: худой горшок, худой горшок!» Потом он, Митя, гонялся за бабочками, мама, раскинув руки, лежала в ромашках, а папа срывал с них лепесточки... Они думают, что мы, дети, — дети, а они, взрослые, — взрослые... Мама сначала не хотела, чтобы к нам приходил дядя Павел, а папа говорил: «Нет, почему же?..» Чайковский допишет это произведение и умрет, он все же понимает, но не хочет смириться, все у него сражается — флейты, тромбоны, скрипки, даже английский рожок, лишь молчит фортепьяно. Папа тоже молчал, а надо было сражаться — за всех, за себя, за нашу маму... Мамочка! Напиши мне письмо, ну, пожалуйста...

Оркестр на мгновение сделал паузу. И снова — звуки, в ритме железная четкость, отчего мысли и чувства, охватившие Илью Серафимыча, делаются похожими на солдат. Раз-два-три, раз-два-три.

— Митя, — кладет руку на плечо сыну Илья Серафимыч. — Завтра поедем проведаем дедушку, он погиб где-то тут под Ленинградом. Поедем на Серафимовское кладбище... как будто к нему...

— К дедушке Серафиму? Поедем, — ищет Митя рукой руку отца.

Последняя часть симфонии, как и начальная, снова в метаниях и борьбе. Человек молит о помощи, взывает к людям, и светлые, акварельные звуки, растворяя мрак, вещают победу Добра, вызывают новые образы, обретение новой, более сложной гармонии.

— Вы хоть что-нибудь понимаете? — трогает Митю за

локоть их земляк из Заокска, он стоял у восьмой колонны, подошел и встал рядом.

— Ага,— сверкает глазенками Митя.

«Они думают, что они, взрослые,— взрослые, а мы, дети, дети,— переминается Митя, и паркет под ногами скрипит.— Скорее бы стать большим. Писать тоже симфонии, сидеть за роялем с оркестром... Если бы я был моим папой, я бы не стал играть в кошки-мышки с дядей Павлом, я бы сказал ему еще тогда... когда на Новый год он танцевал с нашей мамой... чтобы он к нам больше не приходил. Или раньше сказал бы, раньше, когда мама ходила смотреть картины к нему в мастерскую... Или еще раньше, когда она говорила папе, что папа, «как тумба, не сдвинешь с места, с ним можно рассчитывать лишь на деревню». А куда из Заокска нам и зачем? Я в Заокске родился... Папа у нас добрый, хороший, но только, говорят, слабохарактерный. Чайковский — я читал — был тоже вроде нашего папы»...

Пианист поднимает руки, выжидает момент, бросая пальцы на клавиши, рассыпает тысячи звуков. Затихая, они тонут в оркестре, Мите вспоминается музей в Клину: зеленоватый фрак композитора, дирижерская палочка, золотеющие книги под стеклом и черный концертный рояль. Митя не удержался, улучил минутку, толкнул мизинцем клавишу — послышался одинокий, трепетный звук. Митя вздрогнул: рояль был настоящий. Интересно, какой марки на сцене рояль? У них в музыкальной школе фирмы Беккер.

Отец стоит, прислонившись щекой к колонне, и не чувствует прохлады. Все ко всему привыкают, привыкнет к своему состоянию и он. Наталье нужен идол, он перестал быть для нее идиолом, стал в этом мире слишком обыкновенным, потерялся в массе, растерял все. Женщина верит в силу, в мужество, в человека, которому по плечу устройство собственной жизни и жизни близких. Пока современные, железные ритмы не скрутили его, она готова идти

рядом, быть вместе, любить. Наталья ушла от него к более сильному. Женщина не понимает, что тем самым становится рабой своих чувств... В институте у нее было двое: он, Илья, и Вадим. Она предпочла его, Илью, и сокрушалась потом (он видел это), почему не Вадима. А если бы тогда предпочла Вадима? Никогда нельзя поручиться, что до конца знаешь даже собственную жену. Он где-то читал: женщина, что тень: ты к ней — она от тебя, ты от нее — она к тебе... Но отойти от нее уже поздно: Наталья ушла...

Сын стоит, прислонившись к отцу, и чувствует его живое тепло. Если бы он, Митя, стал на минутку волшебником, он бы сделал всех на свете счастливыми, как счастливы сейчас все в этом зале. Он видит лица — они, люди, счастливы. Он бы сделал все, чтобы не мучился папа. Папа молчит, но Митя знает: он мучится. Митя сделал бы так, чтобы у этой девятой справа колонны оказалась сейчас и мама, как тогда, когда его, Мити, совсем еще не было. Он бы сделал так, чтобы не страдал, не бился в трагических звуках любимый человек — композитор Чайковский. Не страдал бы? Но тогда бы не было музыки, этой симфонии. «Шестой патетической». Не было бы в зале этого счастья на лицах, не было бы папиных слез, упавших ему, Мите, на шею, не было бы их с папой у этой колонны, не было бы самого зала, филармонии, не было бы ничего. Звуки льются потоком, бесконечной струей. Бьется, мучится в звуках душа композитора, сжимает его, Митицу, душу.

— Ты понял, сын, что это такое — кастанльский ключ? — сказал отец, когда они вышли на площадь.

— Понял, — ответил Митя. — Это ключ, которым лишь... открывают.

— Да, сын, открывают в себе вдохновение, — сказал Илья Серафимыч.

Перед ними высился бронзовый Пушкин, светлел в отдалении Русский музей, мерцали непостижимые звезды.

Невский проспект терял свой железный ритм, машины и пешеходы редели. Илья Серафимыч искал глазами привычную букву «М» — метро: надо было ехать в сторону Александро-Невской лавры. Спускаться в помещение не хотелось, хотелось постоять, подышать свежим воздухом.

— Одно из созвездий Зодиака — созвездие Девы, — сказал отец, Митя насторожился. — По древнему мифу, дева Астрея с горя покинула землю, когда миновал золотой век.

Митя не шевелился. Он думал о маме.

— В золотой век, — вздохнул отец, — все были счастливы.

— Откуда они знали, что были счастливы? — сказал Митя.

— В поэме «Труды и дни» столь великий, сколь древний грек Гесиод, — продолжил отец, — воспевал золотой век, когда люди не знали ни горя, ни старости, ни тяжелых трудов. В серебряном веке детство длилось столетие, седовласые старцы были юны душой. В медный век люди надели доспехи, пачались войны. Это поколение родило героев. С Гесиода начался железный век...

— Папа, — повернул к нему Митя глаза, полные слез, — значит золотой век был и уже не будет?

— Будет, — сказал отец твердо и вздохнул, — а иначе зачем тогда жить... Сейчас мы с тобой слушали «Патетическую». Свой золотой век мы собираем крупинками.

Пролетали такси, взялся сеянец-дождь. В Москве буква «М» — ярко-красная, здесь непривычная, сипяя. Синий — цвет этого города. Цвет синего моря и синей Невы. Синий неон облекал в пепельно-серое угол Гостиного двора, лица редких прохожих, мокрые ветки. В городе мало деревьев, город красит себя металлом и камнем. «На почь мосты в Ленинграде разводятся, — всматривался в даль проспекта Илья Серафимыч, — чтобы прошли корабли. Днем же их снова сведут».

*г. Ленинград, Большой зал филармонии*



Свекровь прислала Машеньке свитер домашней вязки из пуха белой ангорской козы. Машенька как прислонила его к щеке, так щека в нем и утонула. Свитер сверкал перевозданной, снежнооблачной белизной. Машенька надела его, помолодела сразу лет на пять, карими глазками только поблескивала.

— Как раз к делу,— заключил в объятья жену Олег,— возьмешь его с собой в Питер. Там климат известный: ветра, мороз с сыростью, свитер тебе пригодится...

Машенька надавала своим мужчинам, Олегу и сыну Игорьку-третьекласснику, всевозможных домашних советов и все же в сильном беспокойстве за то, как они будут тут без нее, отбыла в Ленинград на целых четыре месяца повышать свою деловую квалификацию.

Общежитие оказалось на Васильевском острове —этажное старое, пожалуй, еще припетровское здание с низкими сводами, гулкими переходами, коридорами метров по двести. Комната ей досталась на четверых. Все собрались в тот же вечер. Во-первых, перезнакомились: Матильда Грезецкая из Сыктывкара, Светлана Сергеевна Шуба из Рязани, Варя Тулина из Читы, и она, Маша Масленникова, из Орла. Во-вторых, Светлана Сергеевна тут же полупуштя-полусерьезно толкнула речь о том, что не мешало бы кого-нибудь из них принести в жертву богам, поскольку волею всевышнего они вознесены на второй этаж, а

могли быть и на первом, где и холоднее и возможно традиционное наводнение, ибо это все-таки Питер со всеми вытекающими из Невы последствиями, так как весна на носу, а тем более жертва такая необходима, что их теперешний дом своим внутренним и внешним обликом здорово смахивает на монастырь, у которого, как у всякого приличного монастыря, должен быть свой покровитель — святой, коему и надлежит отныне печься об их быте и нравственности, дабы законные супруги не пострадала...

— А в третьих, не будем говорить периодами, — перебила Светлану Сергеевну Матильда из Сыктывкара. — Давайте, девочки, дадим клятву: хоть здесь не будем умничать, только сюда за порог — о работе... ну, о своих институтах, преподавательской деятельности, о диссертациях... ни звука. Все оставляем там, на курсах. А здесь у нас, как в салоне графини Шерер, только светские разговоры.

Предложение было поддержано. Матильду тут же перекрестили в Мотю, Варюшу Тулину принесли богам в жертву, выбрав старостой комнаты, развешали над изголовьями фото детей своих и возлюбленных, и жизнь в этом прекрасном, революционном, совершенно изумительном городе началась.

Машенька ринулась по театрам, музеям, концертным залам. Ее можно было понять: она училась в провинции и была здесь впервые. Прямо после занятий она бежала по театральным кассам, хватала билеты на две, три, четыре недели вперед — она теперь имела такую возможность; она здесь жила. Боже, сколько же тут всего! Она даже не подозревала. Музеи, товстоноговские спектакли, изящный ленинградский балет. Концерты в Большом зале филармонии, о которых только мечтала. Картины, знакомые по репродукциям, вот они, вот — только перейти через площадь, и, пожалуйста, Русский музей, Эрмитаж. И она может перейти сегодня, завтра, сию минуту, когда только захочет. Звуки русских симфоний смешались в душе ее с

красками французских импрессионистов, реплики из «Ревизора» в Большом драматическом звучали на улице...

Машенька сунулась в кошелек, кошелек был пуст. Вспомнились театральные буфеты с пирожными, бутербродики с красной рыбой, икрой. До денежного перевода оставалась почти неделя. Эту ночь она провела беспокойно, в мучениях. Наутро, когда все ушли, а Матильда чуть задержалась, Машенька подошла к ней и, чувствуя, как краснеет до самых корней волос, сказала, стараясь быть непринужденной:

— А у меня есть кое-что... интересенькое. Смотри, — и достала из своего рыженького чемоданчика свитер из пуха ангорской козы. Он сверкал первозданной, снежно-облачной красотой. Когда Матильда прислонила его к щеке, щека в нем так и утонула.

— Сколько? — спросила Матильда.

— А сколько дашь, — вздохнула Машенька и отвела глаза в сторону.

— Вот, — протянула Матильда три красненьких.

Вечером Светлана Сергеевна довольно прозрачно намекнула Варюше, что «театралка наша», наконец, выдохлась и теперь со своими театрами успокоится. Если Матильда в своем светлом, пышно взбитом парике, всегда модно одетая, производила впечатление человека с достатком, уверенной в себе, не без внимания к своей особе мужчин, достаточно ровной и жизнерадостной, то Светлана Сергеевна, хоть и была ей ровесница и кандидат наук, казалась потускневшей, чем-то обеспокоенной, язвила по поводу недостатков в общественной жизни и работы курсов, слегка брюзжала, но необходимо на всех остальных в комнате. Весьма оживлялась, когда говорила о своем муже — конструкторе, о двойне — пятилетних сынишках, без конца бегала по магазинам, на почту, отсылала домой посылки. Лучший и единственный костюм из кримплена приносил ей, в условиях холода и повышенной влажности, большие страдания, но она стойко переносила

их, если не считать кое-какого ворчания, которое вполне можно было отнести на счет вполне объяснимой тоски по дому. Машенька упрекала себя в том, что она, пожалуй, не так любит свой дом и домашних, как Светлана Сергеевна, даже слегка ей завидовала, когда видела ее в очередной раз на почте, по ничему, кроме писем через день да различных видов Ленинграда, наборов открыток и просто использованных театральных билетов, предложить мужчинам своим не могла, и оттого чувствовала свою вину перед ними и потому любила их с каждым днем и скучала по ним все больше.

Варюша у них была «божьей коровкой»: создал же бог человека без единой отрицательной черты. Светленькая, плотненькая, небольшого росточка, копия Александры Нахмутовой. Более доброго, ласкового человека Машенька в жизни своей не встречала. Прислали из Читы Варюше багульник, тут же раздергала каждой по веточке, как ребенок, прыгала, когда он вспыхнул на тумбочках в банках ровным фиолетовым пламенем. Машеньке жаль Варюшу: Светлана Сергеевна уже съездила в свою Рязань, Мотя в свой Сыктывкар собирается, даже она, Машенька, может в любой момент сесть в скорый, что идет на Кислые Воды, одна почь — и она в Орле, дома. И только Варюша не может — дорого, далеко. Такова судьба сибиряков...

Деньги Машенька теперь считала — рассчитывала, но все равно от соблазна не удержалась: билеты попались дешевые, всего по рублю, в молодежный народный театр. Она купила билеты на всех.

— Девочки, — говорила в тот вечер Машенька, — вы же совсем-совсем темные. Что же вы за преподаватели, если не хотите знать, чем живут студенты в столицах?

На спектакль «Сто братьев Бестужевых» поехала даже Светлана Сергеевна. В студенческом общежитии, на одном из этажей, при дрожащем свете свечей, декабристы бросали вызов царям, всходили на эшафот, уходили, звеня кандалами, в Сибирь, но последнее слово было за ними, друзь-

ями свободы и Пушкина. Звенит все в Машеньке. О, если бы видел все это Олег, слышал бы Игорь! Сегодня у нее был пушкинский день. Экскурсия в автобусе по Фонтанке, поездка на место дуэли поэта — на Черную речку, его квартира на Мойке, сам Пушкин перед Русским музеем с откинутой, вдохновенной рукой, в движении к живой, неубитой России: «Пока свободой горим, пока сердца для чести живы»...

— Ах, девочки, — сказала взволнованно даже Светлана Сергеевна, когда они возвратились в свой «монастырь», — как это здорово!

Нет, сразу спать было решительно невозможно. Уже в постели, облокотясь на подушку, они переживали переипетии трагедии декабристов, картины их самопожертвования.

— А вы заметили, в пьесе совершенно отсутствуют жепские роли, — приподнялась в возбуждении Машенька, задела и уронила с тумбочки Матильдин парик. — Как будто автор не знает, что были в природе Волконская, Трубецкая, Муравьева-Чернышева... Интересно, как поступили бы мы на их месте, поехали бы за мужьями в Сибирь? А, Матильда?

— Ты мне не то что парик, — подняла его с полу Матильда и положила опять на тумбочку, — голову скоро уронишь... Откровенно? Я бы, паверное, не поехала, нет. Не вижу, родная, смысла в бунтах. Ну чего они, декабристы, добились? Царь закрутил гайки, заморозил Россию на десятилетия, до Крымской кампании. Нет, не по мне это.

— Какая же ты... консерватор! — задохнулась Машенька от обиды. — Тебя хоть на трон с Николаем рядом сажай. Царица! Из-за таких и топтали...

— Светлана Сергеевна, — томно, низким голосом сказала Матильда, — скажите хоть вы ей: вы-то ринулись бы очертя голову?

— Мне нельзя, девочки, — вздохнула Светлана Сер-

геевна и сняла очки. Смотрела на всех подслеповато, с жалкой улыбкой.

— Ну да, вы хотели бы, как Трубецкой, — была к ней безжалостна Машенька. — Отсидеться в квартире, а потом, когда ясно... выйти на Сенатскую и возглавить.

— Мне нельзя, — повторила с усилием Светлана Сергеевна и повернула к Машеньке глаза, полные слез. — У меня двое маленьких и муж... слепой.

— Да что вы все — Сибирь да Сибирь! — вспыхнула кнопка Варюша. — Да вы приезжайте в Читу к нам, взгляните, как строят в Сибири сейчас, как живут... Какие масштабы! По декабристским местам — Баргузин, Акатуй, Петровский завод — теперь на экскурсию ездят. Всех на лето приглашаю к себе. Приезжайте. Отвезу вас в тайгу — к медведю, багульнику. На Тынду, на строительво БАМа...

— А кто, девочки, больше всех по дому соскучился? — спросила Матильда и засмеялась: — Наверное, Машенька. Скучает, переживает, а мне достается: в царицы определила. Ты бы, Машенька, выхлопотала мне в Зимнем дворце подходящую комнатку. Прописку свою я, пожалуй, не прочь сменить на ленинградскую...

— А летний дворец, Екатерининский, в Пушкино, не изволите осчастливить, Ваше Величество? — расшаркалась перед Матильдой Варюша, эта вертушка Варюша, и подмигнула Машеньке: — Они в Екатерининский не изволят, поскольку дворец после немецко-фашистского варварства отремонтирован пока лишь наполовину. Жизнь в нем умалит достоинство их августейшей особы.

— Ну, девочки, спать, — сказала строго Светлана Сергеевна. — Выключаю.

— А все же я бы, наверно, поехала, — вздохнула Машенька.

— Куда это?

— А за ними... в Сибирь, в неизвестность.

— Ну ты у нас приткая, — потянулась к выключателю Светлана Сергеевна. — Спи.

Утром их разбудила песня. За окном проходили строем солдаты, залихватски, с посвистом и подголосками взвивалось по улице:

— Солдатушки, бравы, ребятушки,  
Где же ваши жены?..

— Эй, жепы! — раздался громкий голос Светланы Сергеевны. — Подъем! Проспали все царство небесное, вот оно как ходить по театрам.

Спихватились: в самом деле, проспали. Машенька с Варей улетели пулею первые, у них сегодня была эстетика, занятие в Эрмитаже, а Светлана Сергеевна с Матильдой задержались: все равно на вторую пару часов.

— А у меня есть кое-что... интересное, вот смотрите, — достала Матильда из блестящего, плотной кожи коричневого саквояжа пуховый свитер. Он сверкал первозданной, ангорской, снежнооблачной белизной. Светлана Сергеевна прислонила его к щеке, щека в нем так и утопула.

— Сколько? — загорелась Светлана Сергеевна.

— Сколько дадите, — сказала Матильда и показала три средних пальца и половине большого.

— Вот, — протянула ей деньги Светлана Сергеевна.

Матильда сунула деньги в карман и заторопилась, чтобы успеть в Гостиный двор, в отдел трикотажка, где вчера присмотрела совершенно немислимую английскую кофточку с благородной серебряной нитью как раз за тридцать пять.

Свитер Светлане Сергеевне, конечно же, нравился, но уже к вечеру она стала прикидывать бюджет: посылку, выходило, в этот раз домой не пошлет, не из чего. Скверное дело. Что же придумать? «Надо пресекать в себе эгоистические чувства ради близких», — решила она и с нетерпением ждала окончания занятий, вечера, Варюши,

у которой, по всей видимости, еще были кое-какие сбережения.

Варюша прилетела раньше Машеньки, Машенька по пути заглянула в Исаакий.

— Варюша,— позвала ее Светлана Сергеевна, чувствуя, что у нее сейчас не свой голос: никогда в жизни не продавала вещи.— Варюша, а у меня что есть... интересное,— сказала она совершенно фальшиво («как это не хорошо, даже в жар бросает»).— Вот, смотри,— и достала из своего старенького, выдавшего виды чемоданчика свитер — пух ангорской козы. Он сверкал, он блистал, словно облако. Варюша притронулась к нему и отдернула руку, думала с тоской о деньгах, которые тают у нее здесь баспословно быстро, а платят ей тут, как и всем, без надбавки, а она из зарплаты берет себе лишь половину, другую половину отправляет маме обратно в Читу и в Улан-Удэ брату-студенту. Но Светлана Сергеевна смотрела на нее так грустно, а свитер был так хорош, что Варюша не выдержала:

— Сколько?

— А сколько дадите,— попяла ее затруднения Светлана Сергеевна и со стыда отвернулась, показала два средних пальца и половину большого.

— Вот,— протянула ей деньги Варюша.

Она положила свитер в свою большую хозяйственную сумку с четырьмя ручками, купленную здесь по okazji, и стала ждать подходящего случая, чтобы блеснуть в комнате перед девчатами.

А вечером затемпературила Машенька. Целую ночь ее бил страшный кашель, съедал жар. Температуру к утру сбили антибиотиками, а кашель продолжал сострясать. Светлана Сергеевна запретила ей идти на запятия, сама бегала в соседнюю аптеку, принесла кучу лекарств. На другой день Машеньке стало немного лучше, надо было идти на запятия.

Она выпила на дороге крепкого чая, надела демисезонное пальтецо, укутала грудь легким простеньким шарфом. За окном была обычная для марта василеостровская погода: дождь со снегом и ветер.

— Нет, я тебя так не пущу, — сказала Варюша и живо нырнула к себе под кровать, вытащила свою знаменитую сумку с четырьмя ручками.

— Вот, — достала она белый, сверкающий, совершенно немислимый свитер — пух ангорской козы.

— Ох! — качнулась Машенька, и едва удержалась за шкаф. — Твой? Какой же красивый.

— Надевай, надевай, — хлопотала Варюша. — Не стесняйся, ни разу еще не падеванный. Нравится?

— Нравится, — хотела улыбнуться ей Машенька, но улыбка — она это чувствовала — не получилась.

— Бери, — сказала Варюша. — Если хочешь, бери на совсем, а деньги потом. Когда будут.

— Сколько? — спросила Машенька.

— А сколько дашь, — повела Варюша плечом и посмотрела на Машеньку вопросительно, показала ей два средних пальца.

«Неужели он нехорош? — думала о своем свитере Машенька. — Или я ничего не понимаю? Ведь он стоит, если на рынке... рублей пятьдесят. Я Матильде продала за тридцать, а ко мне он вернулся через Варюшу и уже почему-то за двадцать. Странно, неужели он нехорош?» И она прислонила его к щеке, и щека в нем так и утонула. Он оказался как раз по ней, выделил ее тоненькую фигуру, и она в нем помолодела сразу лет на пять, карие глаза только поблескивали.

— Машенька! — всплеснула руками Варюша. — Хорошо-то как, ну ты прямо царица.

— И теплый, как печка, — улыбалась счастливая Машенька.

Вот он, свитер, ее мягонький, козий свитер, мамин подарок.

Утихали волнения, Машенька вдруг подумала, что заболела-то, наверно, от переживаний: как получила письмо от мужа, так почти сразу и заболела. Олег сообщил, что они с сыном едут к ней: он — от завода, в командировку, Игорек — на каникулы. Теперь все позади, не придется краснеть. То-то вышел бы номер, если бы Олег вдруг увидел свитер, связанный его матерью, на Варюше. «А Варюша наверняка бы поехала за ними, декабристами, в Сибирь,— подумала Маша, радостная, возбужденная, вся в предчувствии приезда своих, и вдруг вспомнила: — Да ведь она живет там, в Сибири. Интересно, может, какая ветвь, потомство от декабристов? Ну хоть веточка, хоть в девятом колене»...

Словно сон, увидела утром Олега в двери, за ним Игорька в новой заячьей шапке.

— Ах, вы родные мои, любимые,— обнимала их Машенька и целовала, ласкала, не стеснясь подруг.— Князья мои, дубиннички наши орловские... А я вас только завтра ждала.

— А мы сегодня решили,— Олег поставил чемодан к ней за шкаф.— Мы в воскресенье.— И шагнул из-за шкафа, забасил, загрохотал на всю комнату: — А ну, где тут у вас прорубают окно в Европу? Прощу в проект инженером.

Все проснулись, зашевелились.

— Где, где прорубают? — вертел головой Игорек, готовый все здесь увидеть, все запомнить и записать.

— Подрасти, княже,— потянувшись к тумбочке за париком, засмеялась Матильда.

*г. Ленинград, Васильевский остров*



*Fiat lux — да будет свет.*

I

Перроп оглушил Никиту Поповича. Едва выйдя из вагона, он попал в такой водоворот, что не мудрено было не только вещи — голову потерять. Но Никита был не из слабачков: как взял курс на металлические ворота с шишаками, на выход, так и пер. Затор получился от пассажиров, разом бросившихся в «дизель», поданный на Кишинев. Никита прорвался к шишкам, опустил к ноге рюкзак и улыбнулся утру, теплому южному солнцу, мокрым каштановым листьям, поливалке — машине с серебристыми струями-усами в стороны. На вокзальной громаде при дневном свете едва различалась надпись зеленым исоном: «Одесса». «Одесса — мама», — сказал он про себя, и в груди у него защемило.

Мимо валом валили ветераны — флотские и армейские, с орденами и медалями, с наградными планками на кителях и пиджаках. Их встречали и провожали к автобусам, и в голову никому не стукнуло подойти к Никите: на много ли старше он их самих? Но именно здесь он принял когда-то боевое крещение, был «сыном полка», любимцем морских «авиаволков», и это с его счастливой руки черные сигары-торпеды, на которых он выводил

гневные слова, насмерть разили врага. Кому сейчас интересно, что в одну из бомбежек здесь ему осколком пробило легкое...

Никита застегнул верхнюю пуговку, чтобы спрятать тельняшку — «морскую душу», и тут же услышал поблизости молодой женский голос: «Кому комнату, квартиру-комнату в стиле садового барокко и рококо... ампир... предлагаю»...

Последняя размолвка с Аннушкой подтолкнула его стремление уехать из дому хоть на время. А тут как раз праздник освобождения и слет ветеранов в Одессе. «Ну какой же ты у меня ветеран, ты у меня еще молодой, — говорила жена при прощании. — Не пригласили, не надо, а ты «дикарем». Раз душе нейдет, поезжай». И вот он здесь, и в подтверждение тому — эта женщина с обычным одесским юмором.

«Дворец» обладательницы приятного голоса и не менее приятной наружности — Зинаиды Петровны — оказался на одной из последних станций Большого фонтана. В узкой, заросшей акацией улочке белел свежей известковой забор из ракушечника, за ним скрывалось нечто вроде итальянского дворика с потолком из виноградных лоз — похоже, сошло с картины прошлого-позапрошлого века. «Ампиром» у Зинаиды Петровны считался дощатый домик впритык к забору — теперь жилье Никиты; «барокко» и «рококо» отстояли несколько дальше и были, кажется, уже заселены.

— Шарман, — мягко, почти с французским прононсом сказала хозяйка псу свирепой наружности и что-то швырнула ему из кармана.

— Служить!

Шарман ухмыльнулся, Никите подумалось, что ему специально показали крепкие стальные зубы, дали во всяком случае понять, чем можно завоевать собачье расположение.

— Располагайтесь, — глянула хозяйка на него манер-

по, из-за плеча, и ушла к себе, в белый каменный дом за виноградником — в «стационар».

В «ампире» уже пребывал один постоялец — инженер из Челябинска, тоже Никита, Никита Иванович, плотный, рыжеватый мужчина. Когда, представляясь, Никита сказал ему, что он с Орловщины, с того самого среднерусского подстепья, откуда вышло великое множество литераторов прошлого, и что сам он вот уже почти двадцать лет работает в селе библиотекарем, инженер поспешил ему сообщить, что где-то тут, говорят, есть поблизости такое местечко — «дача Ковалевского», где некогда жил русский писатель, между прочим, тоже орловец Иван Бунин. Сообщение это вывело Никиту из равновесия.

Как же, как же, Катаев пишет об этом в «Траве забвенья»... Что там ни говори, а Бунин — звучит. Какое проникновение в слово, какая деталь. Кстати, о национальном духе; в чем еще так выражается он, как не в слове? Протянуть слово из глубин в нынешний день, огранить его, служить им развитию того же народного духа в современном городе, современной деревне...

— О, да вы философ, — склонил голову инженер и тут же предложил скатать на эту самую «дачу», благо, туда вроде бы ходит трамвайчик.

Действительно, туда бегал маленький потешный трамвайчик. В единственном вагоне было два моторных отделения, на конечной остановке вожатый только переходил из одного отделения в другое, и, не разворачиваясь, по тем же рельсам трамвайчик мог мчаться назад. Кто-то из старожилков показал им «дачу Ковалевского», она была почти сразу за писательским Домом творчества, через овраг. Кусты сирени и старая липовая аллея напоминали Никите-орловцу что-то о бывших «дворянских гнездах» его родной стороны, простые проникновенные строки бунинского письма.

Они обошли высокую круглую башню из красного кирпича, — останки прежнего частновладельчества — и

оказались лицом к лицу с уже вечереющей степью, которая, изнемогая от дневного, не по-майски сердитого жара, полого опускалась сюда к ним волнистыми складками. У самого края ее, через дорогу, синели молодые посадки сосны, отсюда они поднимались волнами обратно туда, к горизонту. Начало мая, а уже как печет, как калит солнцем травы, всю эту плоскую степь до лесистых молдавских увалов, всю эту давнюю землю, знавшую скифов и царя Дария, помнившую Овидия, Пушкина.

Здесь лирой северной  
Пустыню оглашая,  
Скитался я.

Скитался Пушкин, скитаемся все мы, спешим к кому-то, от чего-то уходим. Никита шагнул за сирень, и в глаза ему бросилось синью море! Черное море. Свежее, молодое по-майски, с переблеском солнечного литья. Отсюда, с высокого берега, кажется зримой и Турция. Туда уходит сейчас белый корабль. И видят его только отсюда, и не видят внизу, под обрывом, весь этот утлый, дощатый, толсто-черепичный, изрезанный на огородики берег. Сейчас белый корабль перевалит за невидимую линию горизонта и пропадет. Навсегда. И этому мигу не повториться, уже не будет такого же сочетания бликов, такой волны, такого движения воздуха, и нас таких больше не будет...

Он писал тогда на черных торпедах «Никиткин подарочек», «Это тебе за отца», «У меня руки длинные. Никиток». Когда узкую, похожую на щуку, торпеду везли на тележке, он бежал сбоку, положив на нее руку и шептал свои заклинания. Убивать людей нехорошо, но тогда было сражение за жизнь. Война! У него от гравия тогда, разбились ботишки, и он отпустил их на волю: положил на волну и пустил, все упрашивал море, чтобы оно донесло их до берега, до другого края Черного моря...

— Эй, малец,— слышит он голос приятеля, Никиты Иваныча.— Говорят, тут писатель Бунин жил. А эта башня не музейчик случайно?

— Не знаю, не знаю,— бойко сыплет мальчишка в тельняшке.— Эту башню скоро снесут, это факт.

— Снесут?

— Боцман говорил, спросите у боцмана. У нас боцман все знает.

— А кто ж он такой у вас, боцман?

— Вожатый. У нас пионерлагерь детей моряков. Вернее, не лагерь, а экипаж, вожатые — боцманы, а мы — матросы... Гюйсы, шкотики, шканцы... Ревущие сороковые...

— Ишь ты,— изумился приятель.

«Ревущие сороковые»,— повторилось в Никите, и тут же в памяти возникли первые дни войны: от одной бомбы гибнут на рейде сразу мать и отец — капитан первого ранга. Он, Никитка, чудом остается живым. Его подбирают морские летчики — «аввалки». Лишь через два с половиной года, уже после госпиталя, попадет он на Орловщину к дедушке, в родную деревню. «Ишь ты, гюйсы, шкотики, шканцы,— усмехнулся Никита мальчишке.— Вряд ли боцман твой знает больше нас... о ревущих сороковых»...

Они возвращались тем же трамвайчиком к своей станции Большого фонтана.

— А что, Никита Иваныч, не отметить ли нам с тобой наше знакомство? — сказал Никита приятелю.

— Лады,— обрадовался инженер.— А то совсем одичал тут, один всю неделю кантуюсь.

Купили прямо на пляже бычков, выбирали еще не уснувших, черноспинных — лиманных, каких покрупнее. Никите помнился с детства их островато-тинистый запах. Пока он чистил их и заправлял сковородку, Никита Иваныч вытащил из-под кровати огромный баул, стал вытаскивать оттуда бутылки. Узкие в горлышке и в поясе перехваченные, с буквами русскими и латинскими, с пробками капроновыми и металлическими, послабее градусом и покрупче.

— Живу, как какой интервент, — жаловался он между делом. — Никак не найду себе пары... А каждый день бутылку из магазина тащу, зарок дал. Ну, все и киснет тут.

— А с ней? — кивнул Никита на «станционар».

Инженер пожал плечами.

Электроплитка едва давала накал, но в конце концов в сковородке все-таки зашкварчало, по «ампиру» распостранился, даже слюнки потекли, аромат. Никита Иваныч выбрал бутылку покрупнее, поярче, «с негром».

— Ну что, тезк, за твоего Бунина? — подпял он кружку.

— Это потом, никуда не уйдет. Давай-ка сначала за политую кровью одесскую землю. За отца моего и за мать...

Выпили, захрустели бычками. Их йодисто-тинистый запах стал вдруг осязаемым, ясно обозначилось детство, толчея рынка, бычки, что хрустят на зубах, скумбрия, что во рту тает, и отец рядом — веселый, огромный, могущественный в своей капитанке...

Никите захотелось что-то кому-то сейчас подарить. Сию же минуту. Он встал, потянулся к своему рюкзаку, достал кусок сала, завернутый в тряпицу.

— Вот, — сказал приятелю и вышел во дворик, по высланной плиткой дорожке двинулся было к «станционару», но передумал, махнув рукой, положил кусок перед будкой.

— Шарман, — швырнул следом псу Никита Иваныч рыбы остатки вместе со сковородой.

Еще выпили и еще. В соседнем дворе была, наверное, свадьба: кричали без конца «горько»; с утра ахали духовики, а под вечер валебезил инструментальный ансамбль, мужской голос, измененный усилителем, разносился по улочкам, шевелил виноградные листья. Слова были записисты, веселы, мелодии — всякие. Покинув свой будуар, приятели выбрались в роскошь ночную, к звездам.

Южные звезды сияли. В черноте ночи, сквозь шумы моря, слышалось танго. Женский голос звучал в усилителе и манил к себе, увлекал. Никита с приятелем долго стояли перед калиткой. И вдруг Никита решительно шагнул в глубину.

Он шел в неизвестность, к остроумным, веселым ребятам, удивившим его смелостью и мелодичностью песен. Песни были ему не знакомы.

А в музее временно  
висит сюртук простреленный...

По яблоням были развешаны электролампочки, светились они тускло, едва выделяли стол с остатками вышивки, молодых людей с бледными лицами, толкшихся в медленном тапце. Да, вблизи все было иным. Ансамблик играл механически, даже песни не придавали веселья. Жених казался унылым, счастлива, кажется, была лишь невеста — крупная, перезревшая.

— Трра-та-та,— вел ритм ударник.

— А в музее временно,— шел парень перед микрофоном.

Никите надо было сюда, к нему, к музыкантам. Он возник перед ними, руки сами взлетели вверх. Так дирижировал он у себя в сельском клубе. Парень — певец покосился на него и отодвинулся.

— Шеф,— махнул Никите ударник.— Не надо. Ты иди, иди...

«Шеф» развернулся и пошел на голос. Ударник работал сразу на всех своих инструментах.

— Молодец, Костя,— хлопнул его по плечу Никита: в душе у него колыхалась своя песня, мелодия того самого Кости, который приводил с кефалью шаланды. К ударнику у него зрели явно добрые чувства.

— Я вам не скажу за всю Одессу, — наклонился к нему Никита.

— Шеф, — умолял его Константин, успевая вести ритм, — шел бы ты, шеф, к своим.

— Люди есть люди... везде люди, — говорил Константину Никита. — Каждый сам себе первый сорт. — И уже твердо знал, что ему делать дальше. Вышел на видное место, выбрал взглядом распорядителя — старика, сухого, со всклокоченной шевелюрой. — Хозяин, — смотрел он ему строго в глаза, — вы забыли о музыкантах.

— Мы же с вами, ребята, как договаривались? — поморщился распорядитель. — Только наличными.

И ушел сухой, раздраженный. «Тьфу ты, вобла», — плюнул Никита и возвратился под яблоню. В душе его созревала буря... Сдатчики садовых «ампиров», экономисты-кусочники, наживальщики на спичках и электроплитках, для ребят пожалели бутылку. А тоже, небось, считают себя первым сортом... Все люди — люди... Когда в деревне у них случается свадьба, зовут баяниста, конечно, позвали бы и оркестр. Сажают музыку к жениху и невесте, ей — музыке — нужно вниманье, потому баянист — душа всего, а душу не обижай, мигом свернется, и что тогда? За деньги веселья не купишь...

Ударник ударил в медь, придержал звук, повел другой ритм:

— Шаланды, полные кефали...

Это что надо, хорошая песня.

— Спасибо, друг, — шепчет Никита ударнику и отходит душой, напевает все громче: — День и ночь гуляла вся Пересыпь... Слушай сюда, Константин, — наклоняется он к ударнику, — а ведь он, подлец, того... отказал. Я ему говорю: надо ребятам, а он отказал.

— Шеф! — грохнул Константин колотушкой по барабану. — Шеф, к чему эта вся самодеятельность?

— Да ведь люди вы? — недоумевает Никита. — Люди, конечно, вот в чем вопрос.

Ударник работал руками — ногами. Никита стоял, подпирая яблоню, чувствуя себя здесь уже лишним, не нужным даже и Константину. Никита стоял и страдал. На дорожке, возле калитки, возник шум, послышались ругательства и глухая возня. На свет вытолкнули человека.

— Дружок у меня тут, — отбивался Никита Иваныч. — Да вон он, вон же, с музыкантами!

Все — хозяева и музыканты — чуть ли не рты разинули: и этот, значит, чужой? Подлетели к Никите, схватили за шиворот, подталкивали к калитке:

— Вот эти «дикари» совсем озверели, понаедут сюда, сели на голову.

— Это вы озверели, — упрекал их Никита. — Да что же я сделал вам? Молодых поздравить зашел, так в шею за это? Да у нас на свадьбу всех, кто мимо, кто хочет, зовут-зывают. Что ж молодым своим счастье-то укорачиваете? Да не надо нам вашей рюмки, у нас своего хватает, по-соседски хотели к вам, поглядеть...

Там, у края стола, рыдала невеста, ей совали стакан.

— Да чего ж вы стоите? — кинулся к Никите тот, сухой и всклокоченный, распорядитель.

Ему стали помогать хозяева и музыканты, теснили «дикарей» к выходу. Никита выделил взглядом ударника, тот стоял, скрестив руки.

— Рабы вы, — усмехнулся горько Никита. — А еще поете... про Костю... Не трожь меня! — страшнул он с себя чьи-то руки. — Я кровь в Одессе за что проливал? За что?! За что?!

— Молод еще для ветерана. Иди-иди, братец, отсюда, вапцелся.

Прятели вышли на улицу.

«Ну навел им там шороху, — мстительно думал Никита, — устроил кордебалет. Пусть знают!»

— Надо ж тебе со своим уставом в чужой монастырь,— качнул головой Никита Иваныч.— Дал им пищу, до утра, поди, будут базарить.

— Пусть думают,— горячился Никита.— И эти-то тоже хороши, музыканты. Совесть шторкой задержали. А ведь хорошие песни поют, стервецы. Про Константина...

Вошли к себе в итальянский дворик. Бегуче и глуховато загремела о деревянное цепь: это Шарман. Как быстро привыкают к людям собаки. В окно, из «стационара», долетали взрывы женского смеха, им вторил мужской.

— Сосед гуляет,— кивнул на «ампир» слева Никита Иваныч.— Уже третью ночь развлекается.

Не спалось. Они вышли из дворика и по узенькой улочке двинулись к морю. Тускло подсвечивали бумажники, остро торчали пирамидальные тополя. После дневного зноя было свежо, мир казался тихим, уютным, домашним. Кажется, нигде по земле не могут греметь сейчас выстрелы, падать люди от пуль. А ведь падают. Поднимаются, снова падают, чтобы снова подняться...

Берег уходил резко вниз, где-то внизу было море. Луну на воде разбивало движением воздуха, она дрожала, вытягивалась, пропадала дорожкой далеко-далеко, на границе моря и неба. «Деньги за песни, музыканты за деньги. Деньги, деньги! Подавитесь ими, «стационарщики!»..

Никита нащупал под собой камень, размахнулся и с силой швырнул его в море. Он не услышал звука падения: так было здесь высоко.

— А не дурна эта... Зина,— хлопнул по земле палкой Никита Иваныч.— Представляю, как лежит сейчас на простынях, разметавшись.

— И все же обидно,— повернулся к нему Никита.— Ты же со всею душой...

— Конечно, обидно,— подхватил Никита Иваныч.— Я же к ней со всюю душой. И, учти, почти что неделю. А этот хлыщ в тот же день.

— Не судьба? — усмехнулся Никита.

— Не судьба-а.

### III

Утром Никита вспомнил про вчерашнее: дирижерство и прочее,— и застонал. Приятеля в постели уж не было. Никита взял со стола початую бутылку с «негром» и вышел из своих дощатых покоев. За виноградником, у «станции», Никита Иваныч пилил с соседом дровишки и что-то рассказывал хохочущей Зинаиде. «Про меня, наверно,— подумал Никита.— Про вчерашнее». И прошел к собачьей будке, подвинул кормушку, забулькал в нее из бутылки.

— Пей-пей, Шарман, пей, нечего ухмыляться.

Хозяйка вертела возле пильщиков загорелыми лытками, была без кофты, в одном лифчике. «Ни стыда, ни совести»,— подумал Никита и вспомнил о своей Аннушке, и ему страшно, до боли сердечной, захотелось домой.

Собрался он в пять минут. Затолкал в рюкзак олимпийский костюм да кое-что для бритвы. Свадьба в соседнем дворе продолжалась, но уже без оркестра. Никита задержался, прислушался: из хозяйских покоев раздавался сочный басовитый хохот челябинца, Никиты Иваныча,— ничего, этот свое не упустит. Оставил деньги на тумбочке, сунулся к выходу.

На Приморском бульваре потоком шли ветераны в орденах и медалях, офицеры, матросы, девчата. Отсюда вечером хорошо будет виден салют, сегодня — в честь праздника — из двадцати орудий. Позывные город взял из «Белой акации». Мелодия звучала непонятно откуда: из-под часов, в каштанах, по всему берегу, по всей-всей Одессе. Никита смотрел на зеленого в бронзе дюка Ри-

шпилье, на ушедшего в себя медного Пушкина и думал о времени и временах. По ступеням Потемкинской лестницы спускался взглядом к шумному порту. Буксиры, лайнеры, доки... Многие из кораблей — двойники тех, что когда-то погибли от подводок и самолетов врага. Уже другие корабли под теми же именами стоят у тех же причальных стенок, теперь им подвластен весь Мировой океан. Унесло дым пожаров с Пересыпи, остыли камни консерватории, горит только память...

Никита идет по Приморскому парку, крайней аллеей, на обелиск Неизвестному матросу. Каменные плиты и имена, имена. А сколько тех, кого нет здесь, — в полях и пучине. Никита идет и читает: наклонился, глазам не поверил: на плите его имя, фамилия, расстрелян врагами в Одессе... Он почувствовал, как рюкзак давит плечи, спину чем-то твердым — видимо, бутылка, вчерашняя... Золотые буквы на камне: тезка, а мог быть и он. Какие были ребята!

Ветеран Никита Попович — сын полка, любимец «авиаволков» — шел по Приморскому парку и узнавал по наградам своих. К вечеру их, своих, станет еще больше, вечером будет гулянье, салют. Вспомнил жену свою Аннушку, вспомнил сына Володьку, так не хватает сейчас их для праздника. И ему страшно, до боли душевной, до занеменья в груди, захотелось домой, на Орловщину.

Он сел в такси: на вокзал. Шофер попался молодецкий, пухленький, копия его сын Володька. Никита склонился к нему и не выдержал, все рассказал: и про сегодняшнее, и про вчерашнее, и про все, что с ним было когда-то здесь, на Одесской земле.

— Погоди, отец, — осадил «Волгу» парнишка у рынка — знаменитый Привоз, чем только тут тогда не торговали, шутили, можно купить и подводную лодку.

Паренек появился с целой охапкой цветов — тюльпаны, гвоздики, ветка белой акации:

— Это, батя, тебе.

Никита смотрел, как помигивает на громаде вокзала неяркий днем зеленоватый неон: «Одесса», и представлял, как отразится в море жаркие гроздья салюта. Как зеленый от времени дюк Ришелье сейчас сидит, смотрит на Пушкина, Пушкин — подойди к нему — взглянет на него, Никиту, по-свойски, шепнет по-свойски ему одному те свои, не подвластные ни времени, ни пространству слова:

«Здесь лирой северной  
Пустыню оглашая,  
Скитался я.»

Никита поднял голову, взглянул еще раз на неон вокзала, шагнул к таксисту решительно:

— Вези, парень, к Приморскому.

Стоял, и глазами, душою всей был в синем море. А в гавань, возвращаясь с южных широт, с «ревущих сороковых», почти после года скитаний входил белый корабль.

*г. Одесса*

**ИЗОПЬЕМ  
БАЙКАЛУ  
СИНЕГО**  
(Путевые заметки)



*Пусть же крик лесной глуши,  
Что звучит в тайге от века,  
В вас разбудит Человека.*

*Юван Шесталов.  
«Языческая поэма»*

### **Вместо пролога**

Когда по стране загремело «БАМ», Юлий понял: вот то самое дело, его дело. Это потом уже он привыкнет к тому, что за коротким, призывным словом стоит куда более длинное, прозаическое — Байкало-Амурская магистраль. А пока он представлял Сибирь вроде как полигоном, где можно себя испытать. Наконец, получил письмо от Павла Доронина. Вместе кончали институт — автодорожный — вместе собирались работать, но волей комиссии были распределены в разные города. Его, Юлия Макогонова, с женой Валентиной послали к ней на родину, в срединную Россию, Павла — в Харьков. И вот друг уже там, на Байкало-Амурской.

— Послушай, Валюша, что пишет Павел.

Валентина не поворачивает головы, молча пеленает Володьку: не нравится ей вся эта затея, надеется, что все у мужа перегорит.

— «Дорогие мои Валюша и Юлька! — читает вслух Юлий, жена прислушивается, прижимает к себе Володьку. — Вот я и в Улан-Удэ, в распоряжении Тоннельного отряда, оформлен главным механиком. Работаю с месяц, а чувствую себя уже бывалым бамовцем. Здесь человек становится человеком, отсеивается всякая мишура. И мыслишь, и чувствуешь масштабно, по-государственному, может, потому что все тут у нас крупногабаритно: расстояния, горы, Байкал... С поезда Байкал скорее угадываешь по молочной пелене над самой поверхностью спней воды. Еще поворот, еще изгиб вокруг сопки — и ветер приносит прохладу со Священного моря. По тоннелям, прорезающим сопки, спускаешься вниз. На берегу поселок Слюдянка — много плотов, тысячи бревен. Середина лета, а сады тут только цветут... Был в тайге. Какие места здесь, какая ловля омуля, харцуса, тайменя. Живу и не налюбуюсь... Как ты там, еще не надумал сюда? Или домашний прокурор не отпускает? Черкни, если что, подыщу и тебе местечко.

Твой Пашка Клюй».

— Клюй, — усмехнулся Юлий, — это его волейбольная кличка. Помнишь, Валюша, его удары у сетки, «клюнет» левой с коротенького — «кол». В общем, сейчас же пишу ему, пусть хлопчет. Поеду зарабатывать на кооперативную...

Валентина молчала.

— А завтра иду к главному инженеру...

Валентина молчала.

На другой день он отправился по начальству. Главный инженер обозвал его мальчишкой, который бросает серьезное производство и сломя голову мчится черт знает куда. Вот ведь как в жизни: хотят от тебя избавиться — характеристику дадут, закачаешься, прямо ангел ты, золотой человек, но коль нужен — вслух всем, ты такой, мол, сякой, кривой, немазанный, а по-тихому — премию. После главного Юлий дал выдержку и — к заместителю

начальника. И в лоб ему прямо: «Сколько вам надо еще для волокиты?» Тот оторопел. Рассердился: «Да катись ты, Макогонов, хоть завтра! Ну, заходи в понедельник». — «В понедельник, — сказал Юлий, — первое апреля. День несерьезный, а я еду на серьезную стройку. Лучше во вторник».

Целый месяц пролетел в нервотрепке. Даже теща слегка присмирела, а Валентина ходила с заплаканными глазами, наконец-то поверила, что это всерьез. Юлий сагитировал с собой еще кой-кого из автопредприятия. И вот сегодня главный инженер сказал ему откровенно: ценим то, что теряем.

Они с ребятами уже взяли билеты на поезд. Идут по родному Приокску, шелестят липы, каштаны. А каков он, его новый край, Забайкалье? В последнее время в нем, Юлии, зреет особое чувство. Тысячи километров связаны судьбами людскими, самолетами, поездами, они свяжут их еще одной нитью. Географический центр страны где-то в Сибири, Ермак открыл россиянам Сибирь, эту великую землю. Что вело к океану первопроходцев — Хабаровова, Лаптевых, Семена Дежнева? Что ведет современников? Стремление просто двигаться или уйти от себя? Но от себя не уйдешь даже в тайге. Желание поглубже вдохнуть на свободе, подальше от цивилизации? Но там самая жизнь.

Он смотрел из окна на Оку, а уже видел Байкал. Земля эта трудная, неделимая. По данным ООН, в мире только четыре страны, где человечеству открыт простор для освоения: Бразилия, Канада, Австралия и наша Сибирь.

Вот и день долгожданный — суббота. Провожали всех семьями, пришли ребята с автопредприятия, притащили гармошку. На трамвайной остановке плясали, в трамвае плясали и хохотали, потешная попалась кондукторша, под конец пожелала всем счастья... И вот они в поезде,

поезд мчится в Сибирь. Стучат, стучат колоса, о чем только не перестучат.

Юлий листал роман. Читиво, хитросплетение. За окном мелькали столбы, поля, перелески, родная, ухоженная земля. И в памяти возникло читанное-перечитанное о севере Байкала, том месте, где придется жить и работать: невероятно тяжелые километры — непроходимая тайга, заболоченные поймы, вечная мерзлота, крутые сбросы сопок, хребты из гранита, базальта, термальные воды, Байкальский и Северо-Муйский тоннели. И все это предстоит одолеть человеку.

### **Здравствуй, племя младое!..**

Все прибывшие с ним остались на автобазе отряда в Таловке, а Юлий поехал искать Павла Доронина в Улан-Удэ. Форпост Тоннельного отряда — снабженцев — он нашел на центральной площади в гостинице «Байкал». Спросил Павла, махнули рукой — мол, где-то на трассе с техникой, возможно, уже в Нижнеангарске.

Юлию повезло: от гостиницы на трассу как раз отправлялся «газик». Предстояли сотни километров живописного Баргузинского тракта, стоянка в порту Усть-Баргузин и уже оттуда путешествие на барже через добрую половину Байкала в порт Нижнеангарск. «Доронин забыл здесь, в гостинице, тетрадку, кажется, дневниковые записи. Вы друг ему? Передайте хозяину». — «Почему бы не передать? Передам, конечно».

Начался Баргузинский тракт. Каменистая полка в горе, кружила и поднимала на смолистый, осененный ветрами «пыхтун»-перевал. Справа, обрываясь, уходили вниз острыми пиками лиственницы и ели, далеко меж ветвей змеилась река, за которой в синеве ощущались сильные горные цепи. Они обгоняли чужие и свои, бамовские машины — подъемные краны, самосвалы с жилыми вагон-

чиками. Юлий вглядывался в кабины: Павла в них не было.

Навстречу, львино рыкая, двигались тяжело груженные, желтокабинные лесовозы. Макогонов чувствовал в кармане твердую тетрадь Павла, слушал спокойную речь шофера об этом крае и, лоя горящим лицом прохладные токи снизу, ощущал приближение Байкала.

— Ну вот и водица. Поъем? — прижимает Юрий Субботея, шофер, свой песчаного цвета «газик» к горе, достает фляжку в защитном чехле, подходит к струе.

— Хороша? — вроде шутит, вроде смотрит серьезно Юрий светло-стальными глазами. Весь он крепкий, упористый, лицо темно от загара, выделяются три молочных складки на лбу. Старожил, на трассе уже третий месяц.

— Суббота сегодня? — говорит он задорно. — Субботея.

И они громко смеются. Вода из горы вкусна, холод во рту держится долго, перебиваясь свежим током с Байкала. Юлий кладет доронинскую тетрадь на валун, чтобы освободить руки и хватнуть еще глоточек из фляжки, и в раскрывшейся странице видит слово «Байкал». Вспоминаются слова в гостинице: «Какие секреты! Жизнь каждого тут на ладони, на виду всей страны». Глаза бегут по страничкам, исписанным привычным бисером Павла.

Юлий схватывает страницы разом: первые дни пребывания, первые трудности. Он скатывает тетрадочку в трубку и весь отдается дороге. Долина с ее лесами, улусами, телевизионными ретрансляторами на сопках раздвигается. Близится встреча с Байкалом, терпение нарастает. У шоферов, буксирующих вагончики, они время от времени продолжают спрашивать о Доронине; те отвечают, что видели вчера, утром, только что. Сзади в ящиках трясется лук, капуста, редиска — семья Субботеи уже в Нижнеангарске. В руках у Юлия покачивается транзистор «Океан-205», кушленный Субботеей, чтобы не отстать от цивилизации. В следующем селении надо взять в ма-

газине хлеба и сахару; забортной воды сколько хочешь — чистойшей, байкальской. Когда из-за сосен раскрылся вдруг слепящий солнцем, седовато-синий Байкал, кажется, все волны «Океана» разом ударили эту песнь, славящую Священное море и переплывшего его человека:

— Славное море, священный Байкал...

Точки рыбацких баркасов скрываются за мысом и сосняком. Предстоит Баргузин — поселок, река и... ветер, который пошевеливал вал молодцу. Перед ними берег, укрепленный от ударов ярой байкальской волны кое-где бревнами, кое-где валунами и галькой, деревянный трехсотметровый мост через реку Турку.

— Байкал словно в каменной чаше, — отрывается от мыслей Субботея. — В хороший день на том берегу видны горы. Как думаете, тому, кто плыл на омулевой бочке, тогда виделись горы?

Мост трепещет под колесами каждой лесиной. «А что виделось вам с Павлом Дорониным, всем ребятам из нашего каравана, — думает Юлий, оглядывая многоводную таежную реку, — когда с тяжелой техникой форсировали вы эту... Турку?» Он смежает ресницы, и страница за страницей из записей Павла плывет перед ним, и оживает апрельский, самый первый поход приехавших на БАМ в глухую тайгу, на север...

...Этим походом Тоннельный отряд заявлял о себе, с этого он начинал жить. Техника, скопившаяся на станции Таловка, где раскинулась база, двинется по Баргузинскому тракту, и все увидят, что отряд существует. Дошел черед и до Бурятии, гудит на байкальской земле это краткое слово БАМ.

Они стоят во дворе базы — добровольцы, молодые ребята, завтрашние таежники, многие из которых и в глаза еще не видали тайги. История начинается с них. Узнав и о стройке, и о первых делах, еще двинутся сюда со всей страны сверстники этих парней, начнут осаждать прось-

бами взять на работу, а пока перед караваном стоит боевая задача: забросить технику в самый конец Баргузинского тракта, в Тазы, и еще дальше, создать в тайге первый участок, который начнет пробивать дорогу на Северо-Муйский хребет. По ней должна пройти тяжелая техника, которую не пронести к порталам никаким вертолетом — 15,3 километра тонпеля сквозь базальты что-нибудь значат.

Субботея выводит на тракт мощный мазовский тягач, прозванный «Ураганом». Субботея включает моторы, они ревут ураганно, отчего, кажется, дрожат на носу шофера конопатинки, а с горы валяются камни, под мягкими шинами ползет предательски грунт. За тягачами — траллеры, на траллерах — по бульдозеру. Спуски, подъемы. Сыреет спина, юркая струйка бежит под рубахой. Скользни с «пыхтуна», и — поминай как звали...

Баргузинский тракт весь в деревянных мостах и с щебеночным полотном. Тяжела бамовская техника, а ну расшибется дорога — остановятся лесовозы, автобусы, затруднится снабжение края. Но и время нельзя терять: они, тоннельщики, дали слово пробить хребты на пару лет раньше. Теплого времени здесь с воробьиный хвостик, темпы решают все.

Перед этим мостом через реку Турку Юрий Субботея останавливал тогда «Ураган», слышал сигнал бульдозера, шел вразвалку к нему.

— Ну что, землячок, решать будем? — кивал он механику каравана Павлу Доронину то на мост, то на льдистую реку, осаживал каблуком потемневшие доски: — Рискнем?

— Да нет, — уже спокойнее, охлаждаясь внутренне, говорил Доронин Субботее и другим водителям — Фролову, Малыгину. — Мост еще людям послужит. Надо снимать бульдозеры и идти своим ходом. — Тряхнул головой,

качнулся к своей машине, озорно улыбнулся ребятам: — Вперед, за орденами!

...«Так и написано в дневнике: вперед, за орденами, — улыбается Юлий. — Его, доронинская, еще институтская присказка».

— Вперед, за орденами? — говорит он вслух Субботеев.

— А, вы вот о чем, — усмехается тот, крепко держась за баранку. — Пал Андреичево словечко, и в Харькове вместе работали, на метростроевской автобазе. Серьезный мужик...

Тихо урчит «газик». Во рту опять сухо. Субботеев подмигивает: потерпи, мол, попьем уж теперь байкальской — Баргузинский тракт подходит в этом месте к самому берегу. Перед поселком Усть-Баргузин — стоянка, непременно место отдыха шоферов, прощание с Байкалом, дальше дорога идет в сторону, в горы. На площадке скопилась техника — самосвалы, на прицепе вагончики. Те, что вышли из Таловки утром. Юлий ищет глазами Доронина — нет Павла, уже проскочил. Сидит, пьет с Субботеей байкальскую воду. Спрашивает у него: ну как сейчас Павел? Похудел, загорел? Одевался, помнится, в институте с иголки. «Он и сейчас не в бамовском костюме, а в бостоновых брюках, — усмехается Юрий. — Правда, все в смоле теперь и бензине, полбрючины зашито суровой ниткой». — «С чего это?» — «А на это своя, понимаешь, история».

— Вперед, за орденами? — завинчивая фляжку, щурится Юрий Субботеев.

— Вперед!

И опять навстречу тайга — берез и осин стало меньше. Теперь уже Юрий продолжает Макогонову рассказ о том первом походе на север с техникой.

...Грузосборочной дорогой, которой леспромхозы отправляют лес к устью, они двигались ввысь по долине реки Баргузин. Он, Юрий, едва успевал за рулем разглядывать этот край. Беспокойные, с бурунами воды, таежные берега, над которыми высились серогранитные скалы, целые

замки, фортеции, к самому неподступному месту неожиданно жалась сосна-одиночка. Серое и зеленое при свете апрельского солнца и блеске стремительного Баргузина. Под работу мотора спокойнее думалось о том, что уже было, что будет. Самосвалы новенькие, недавно с завода, в технике можно быть уверенным, не подкачает. Павел Андреевич сидел рядом, в нетерпении заглядывал вперед: как там «Ураганы»? Горы раздвинулись, оттуда, с отстоящих друг от друга гольцов в шапках вечного снега, стекал в долину ясноватый, холодеющий воздух. Баргузин разгоплял этот воздух своей стремниной, вовлекал в створы между хребтов, откуда он вырывался к устью, а через устье в Байкал знаменитым «баргузином».

— Эй, баргузин, пошевеливай вал! — вчетверть голоса запевал с детства знакомую песню Юрий. Ее, бывало, пели дома в застолье и так, когда приходила охота. И у него, малолетки, подкатывал, стоял в горле ком. Так хотелось, чтобы пуля никогда не поймала того человека, который бежал с рудников Акатуя, прошел горную страну, дикие горы. Юрий видел теперь эти горы сам, своими глазами. Они, эти просторы не там, куда некогда уходили под пули, а здесь. Тогда бежали к селениям, к людям, сейчас уходят в тайгу.

Вон и Баргузин — село старинное, старательское, на краю «золотой тайги». Кладбище давнее, шестигранные звезды, тут же буряты и русские. Под соснами, озирая реку Баргузин, скромно выбеленный обелиск со словами: «Кюхельбекер — декабрист, исследователь края»... Старший брат друга Пушкина. Тоже ссыльный и тоже поэт...

Протерев боковое стекло, Доронин кивал на послок своему спутнику, жадно вглядывался в огни. Тазы были еще далеко. Между тем сумерки уже легли на тайгу, по огни продолжали светить. До леспромхоза «Майский» колонна добралась без приключений, дальше по дороге не было и намека. Проводник указывал им зимник по ему

лишь известным приметам. Круть-верть, верть-круть. По сопкам, по руслам речек. Бурят раз в два-три года проезжает здесь на телеге. «Урагапы» едва протискивались между стволов, с хрустом проседал «сушенец» — лед, под которым морозом выпита влага. Ревет тайга, шатается тайга, бежит от сердитого рева моторов хозяин урочищ — медведь.

У них с Дорониным пар шел со спины. Наверно, так же было и у ребят. Надо спешить, пока не ослаб грунт. Позже раскислит, тайга превратится в болото. Вперед, сколько есть сил, только вперед. Хоть еще километр, полкилометра. В проталинах бульдозеры садились все глубже, в проталины летели камни и бревна. Доронин совсем с ног сбился — бегал от одной машины, к другой. Командует, советуется, толкает вместе с ребятами «Ураган» перед бульдозером, «Ураган» позади бульдозера, раскачали, дерпули. Колонна двинулась снова. Вот и зимовье Умхей, скоро, совсем скоро Тазы.

Перед самым поселком путь перекрыла река, опять Баргузин. Лед уже поздрават, уже сыплется. Бульдозер Фролова пощупал лед гусеницами, двинулся и вдруг ухнул вниз. Вода дошла лишь до кабины, под гусеницами оказался еще лед — слоеный пирог. Реку форсировали уже выше. Вот второй бульдозер делает «свечку». Встав на дыбы, карабкается, карабкается на подмятую льдину, она уходит под него, бульдозер валится, занимает вертикальное положение. Доронин выходит из кабины: последнее испытание, последний километр...

На обратном пути разожгли костер, чтобы согреть и обсушить пострадавших. Вился парок с кирзовых сапог, со спедовки и с эмблемы тонпельщиков, с черных бостоповых брюк Доронина, где на левой брючине, чуть повыше колена, красовалась дыра — след почной переправы. Кто-то вытащил из шапки цыганскую иголку, суровую нитку. Горел костерок, перекликался с огнями поселка, дырку Доронин зашивал суровой ниткой, навечно.

— А что, ребята? — развернулся он к ним и улыбнулся: — А ведь первый участок живет.

— Вперед, за орденами, — засмеялись ребята...

Субботея притормаживает «газик» перед дорожным знаком «Осторожно, лесовозы!» Справа, с леспромхозовской дороги, выползает ядовито-желтая махина с медно-литыми соснами в «хлысте», поскрипывает, нарушает свободное течение мыслей. Мимо проходят девчата — бурятки и русские. Из спортивного лагеря. Увидев эмблему на «газике», приветливо машут рукой, кидают вслед лиловые цветы иван-чая. Дорога делается накатанной, шире. Из-за поворота надвигаются рубленые, розово-деревянные сосновые улицы, аккуратно выбеленные рамы и выбеленные палисады — поселок Усть-Баргузин. Впереди, далеко-далеко заходя в Байкал, горбится горная гряда, на ней белые полосы — снег, вечный снег. Посредине гряды облака — выются, цепляются за вершины. Святой Нос, полуостров. Скорее же в порт, может, еще успеют застать Доронива.

Но он только что ушел на теплоходе «Комсомолец» в Нижнеангарск.

Субботея с Юлием стоят на берегу, вглядываясь в синий Байкал. Там, на Севере, теперь штаб отряда и уже четыре участка. Там где-то друг Юлия — неуловимый Доронин.

### **Бамовский папаша**

Бревенчатые, полные воздуха, улицы сразу же за тайгой, река вдоль поселка, паром, деревянный причал — это и есть порт Усть-Баргузин. Юра Субботея осаживает «газик» перед просмоленной лодкой, у тесовых ворот, дает короткий сигнал. За воротами отзывается пес. Солидный лай переходит в щенячье повизгиванье, калитка грохает, открывается.

— Иди, Лапушка, иди, хозяйюшка, — слышится мягкий, ворчливый голос, и уже в сумерках вырастает плотная, чуть сутулая фигура.

— Здорово, папаша,— приветствует обладателя мягкого голоса Субботея.

— С приездом, Юра,— отворяет ворота папаша. Руки, и в темноте видно, чернеют — загорели по локти. Он продолжает ворчать: — Оставляли помогать мне, так нет, давай ему в Нижний. В тайгу, говорит, хочу.

— Дорогин-то?

— А то кто ж, Дорогин.

В деревянном доме свой особенный запах. В передней просторно и чисто, в полстены — политическая карта страны. Байкал как раз над серединой стола. «Как это верно подмечено,— думает Юлпй.— Теперь рассматривать и отсчитывать все по карте начинаешь с Байкала».

Разговор у Субботея с хозяином возникает легко, словно его недавно прервали. И все о бамовских делах, о порте, откуда идет водой в Нижнеангарск отрядная техника. Папаша посвящен абсолютно во все, очевидно, он тут не последняя скрипка.

— Вы думаете, сколько мне? — подвигается папаша к Юлию, ближе к электрической лампочке и, напряженившись, моргает, хлопает на свету своими белесыми ресницами, опадает плечами удовлетворенно: — Семьдесят! А бегаю, как олень. БАМ омолодит кого хочешь.

Сидят, потеют за чаем, без которого в Сибири никакой стол не стол, не жалеют слов, сахара. Постепенно обмякает хозяин обители — Семен Владимирович, делается и вовсе домашним. Лицо его полновато, но натянуто, без особых морщин, тело в майке еще плотно. От него вест силой, ухоженностью, как и от комнат со свежевывмытыми полами, скатерточками, покрывалами. Лишь отсутствие занавесок на окнах наводит на мысль, что жильё все-таки холостяцкое.

— Да вон замочил белье,— уловив взгляд Юлия, кивает на корыто папаша.— Изгваздался под машиной, ишь пятно присадил на рубашке.

— Хозяйственного мыла на него и на ночь, не пробо-вал? — советует Субботея.

— Можно попробовать, — утирает папаша крутой лоб ладонью и оживляется, сверлит, сверкает глазами. — Со-всем было захирел, жить невмочь стало, а БАМ поднял. Опять на виду...

Сквозь бревнистые стены слышать ропот ночного Бай-кала. Юлий слушает человека, чужая судьба западает в душу, бередит. В словах папаша вся его некороткая жизнь. Старость — она, словно рысь, ступает неслышно, глядишь — уже пенсия. Дело неумолимое, подчиняйся и баста. Не оттого небо замкнулось над домом, что пенсия, старость, — трагедия, случай оборвал жизнь одного из двух сыновей, осиротил полухинский дом, бывший самым ожив-ленным в поселке.

Оба были рост в рост, лицо в лицо, — близнецы. Оба капитанами на Байкале, Василий ходил на «Тайфуне». Да и сам папаша всю жизнь с народом: как-никак сорок лет в пароходстве. И вот разом все рухнуло. Погиб Василий, Петр не мог перенести смерти брата, уехал к жене в Кост-рому, плавает теперь на теплоходе по Волге. Дуняша, дочь, вышла замуж в Усолье-Сибирское. Опустел когда-то хлебосольный полухинский дом. Он, папаша, бывало, ле-жит в постели, и дико, так дико ему в пустых стенах, хоть волком вой. Видятся лица, слышатся голоса — половина поселка мелькнет за ночь перед глазами, взад-вперед про-летит вся жизнь. Как на станции Инноксеньевская созда-вал первый спортивный кружок из рабочих, как, нарушив традицию, пошел из семьи железнодорожников на Байкал, строил порты в Нижнеангарске и Усть-Баргузине, был бес-сменным хозяином здешнего пирса. На всем море, а не то что в поселке, знают Полухина. И вот горе за горем: смерть жены, через год гибель Василия. Все сломалось, разлете-лась семья...

Предложение начальника Тоннельного отряда Стебля-

кова папаша принял без особого энтузиазма. Оживился маленько: поможем, конечно. Кого только не выручали — на то она Сибирь-матушка. Здесь человек человеку, коль друг, так до веку, край жарой калит, морозом голубит, иноходцев не любит. Зато и народ паленый, ядреный, о скалы не расшибешь, на подлость не расцветуешь... Сначала просто исполнял исправно обязанности, дело привычное — хлопотать в порту, принимать отрядные грузы, готовить их к навигации. Но знал Стебляков, кому поручать переправу: не выдержало, дрогнуло сердце старого моряка. Столько дырок на первых порах, столько трудностей у ребят-тоннельщиков. И на него надежда: он, Полухин, сумеет им все обеспечить. Еще может он что-то, послужит народу. Знает, где что лежит, к кому обратиться. Не последний, по крайней мере, человек он в портовом поселке.

Шумит-гудит ночной Байкал за забором, выдыхает свежесть во двор, па поселок и дальше, в горы, в черпеющую гряду. К утру из ущелий потянуло туманом, накрыло дома. Сквозь плотное береговое молоко едва пробился гудок теплохода, кто-то подваливал к пирсу. Размытый сыростью, не сразу во дворе виделся Юра Субботея. Он качал воду в колонке, стараясь убить сразу нескольких зайцев: сделать физзарядку, полить папашин малинник и разработать трубку, из которой пульсировала грязно-желтая, с серебристым песком струя. Лапушка, чистопородная сибирская лайка, виляла тут же хвостом. «Золотишко мое», — повернулся Субботея к Юлию испачканной солидным щекой. Он успел побывать под «газиком», подтянуть ходовую часть, подкачать баллоны и теперь занимал руки «старательским» делом. Струя падала с деревянного желоба и уходила в песок.

— Пустое. Весь Байкал не перекачаешь, — бросил еще из калитки папаша. И махнул огорченно рукой: — Опять ночью ограбили вагончики...

Зазвонил телефон, Полухин взбежал на крыльцо. Голос его слышался в распахнутое окно. Кажется, говорили из

Улан-Удэ, сам начальник снабжения Петровский. Не успел Полухин повесить трубку, как позвонили опять.

— Комбинат подсобных предприятий? Ну,— голос Полухина казался с туману перестоявшимся, резковатым.— Дерево, говорите, можете нам распилить? Доброе дело, доброе... Стружко-плита у нас? Есть, однако. А просто так помочь БАМу не можете? Стружко-плита вам нужна... Вот артисты! — вышел на крыльцо Полухин.— Так и поровят что-нибудь с БАМа слупить. А БАМ еще сам дитя, лишь набирает силу. Понимать надо!.. Вагончики, однако, ночью снова ограбили,— повторил он с огорчением.— С тех, которые перед портом стояли, сняты электроплитки и вентиляторы. Ночью пришли еще три вагончика — без насоса, без электрокамина, однако. Где, узнать прикажете, грабят? На базе ли в Таловке, в пути ли, здесь ли, в Устье?... Плохо с учетом у нас, с приемом и передачей. Однако и совесть людям надо иметь! — опять, еще резче махнул рукой Полухин и прислонился плечом к крыльцу. Одет он был как-то смешано: гражданские серые брюки, серая шляпа и черный морской китель с золотистыми пуговицами, который делал его серьезнее, строже.— Нашим зарплату еще ни разу не выдавали. Я уже пенсию всю пустил до копейки... Если из здешних кто-то — все равно докопаюсь...

Туман приподнимался, разволакивался — над крышей, над ближним тополем и портовыми складами. Освободилась стрела подъемного крана, прорезались голубые пятна на небе. К Святому Носу уходили баркасы. Рыбацкий, лесопромышленный, механизаторский Усть-Баргузин начал свой трудовой день. Трудовое утро отсюда шло дальше, по всей огромной стране. «В Москве рабочий станет к станку лишь через пять часов,— думал Юлий с волнением, в Бресте плюс еще через два. С юга на север, с востока на запад — везде сейчас делают что-то для БАМа и отправляют сюда, в общий котел. Те же самые жилые вагончики. Стараются; ведь в тайге людям жить, и не на гулянке — работать. А тут эти... грабители. Как же так: тракто-

ры без пускатча, срезан аккумулятор, новая техника, а работать не может? Кто-то здесь, в обжитом месте, снял электроплитку, запчасть — сыт желудок, сэкономлен рублишко, а в тайге кому-то это может стоить и жизни...»

Вагончики все прибывали. Юлий наблюдал за Полухиным: без старого байкальца не обходилось ни одно сколько-нибудь серьезное дело. Его черный китель мелькал среди пыльных спецовок бамовцев, тусклых «крабов» портовиков. Все проходы между складами, все площадки, причалы были забиты вездеходами, вагончиками, частями стандартных домов, трелевочниками, бульдозерами, кирпичом и стеклом. Не знал такого грузопотока в своей некороткой истории Усть-Баргузин. Подумать только, лет пятнадцать назад этот кран, что тянет гусиную шею, всем казался чуть ли не чудом. Экий верзила, а поднимает всего две тонны. На днях прибыли автокраны: на ЗИЛе — семитонный, на МАЗе — десятитонный. Воп тот, в углу пирса, с желтой кабиной, — это кран! Плотно сбит, приземист, малыш, а двадцатипятитонник. Перед ним верзила — дитя...

Юлий смотрел-смотрел, подстроился к папаше, стал ему помогать, где пустил шутку, где острогу ввернул, — и поехало, задвигалось. Двадцатипятитонник начал ставить на баржу жилые вагончики, семитонник — снимать с самосвала разборный дом. Поспешили. Стенки грохнулись оземь, зазвенели стекла.

— Да что ж вы, бродяги! — подлетел папаша. — Ведь учил, как заводят стропы. Полстены рассадили.

— Ничего, мы гвоздями ее.

— В тайге людям жить. Может, даже и вам, сынки, — говорит уже мягче папаша и идет дальше по пирсу, на погрузку баржи. Между ног у него крутится востроносая Лапушка. Все ее знают, ласкают, она отвечает бамовцам благодарным виляньем хвоста-правила, умным, почти человеческим, взглядом.

Юлий рассматривает баржу «401-ю», на которой, возможно, придется плыть через Байкал: пузатая, темновато-

сумрачная, морская баржа. Палуба уже уставлена жилими вагончиками — ожидают буксир. Рядом вторая, речная баржа — «211-я»: покрашена суриком, кажется, веселее и легче. В трюмы все еще опускают грузы, на палубу ставят вагончики. Возникает заминка.

— Это из флотоинспекции, — поворачивается Полухин к Субботее, лицо его покрывается пятнами. — «211-ому» запрещают выходить в море... Конечно, они правы: баржа-то речная. Однако это же БАМ! Наши грузы ждут там, в тайге.

— А если «култук» налетит? — подходит флотоинспектор.

— Кому ты рассказываешь? — глаз у папаши начинает косить. — В июле «култук»?.. И потом, себе ходили — ничего было, а для БАМа — «култук».

— Так для БАМа же. Ценный груз.

— Вот и я говорю — для БАМа! — ища поддержки, косит папаша на Юлия. — Сейчас не провезем в Нижний, оттуда в тайгу потом не отправишь, вода в Ангаре спадет, ясно? Чай, Байкал знаем. Риск, конечно. БАМ, однако, вроде бы фронт...

Но флотоинспектор стоит на своем. Полухин вместе с Субботеей уезжают куда-то в поселок, к старшому, а Юлий решает присмотреться к окрестности, пораскинуть мозгой, приглядеться к людям.

Сидит за бревенчатой стенкой склада на плахе, ищет щекой свежий ветер с сосенок, с узкой песчаной косы, прикрывающей порт от Байкала. Святой Нос напротив голубеет, четче видятся наверху рваные полосы снега. Чайки падают над Баргузином. По берегу, набегая, широко стелется волна — в Байкал уходит буксир с «401-й». Ждать придется другой оказии.

На другой конец плахи подсаживаются ребята. Юлий приметил их, как они держатся вместе, как ухаживают за своими бульдозерами-тяжеловесами: делают смазку, протяжку, посильную профилактику. У одного бульдозера

траки широкие, корчеватель, ему идти на Уоян, на участок Мальшина — там болота, там уже его ждут. На Даванском участке — скалистый грунт, широкие траки. Ребята чем-то симпатичны Юлию, может, тем, что ровесники ему, держатся скромно, везде вместе.

— Скоро расстанемся, — вздыхает один из парней. Вместе вкалывали на производстве, вместе договорились на БАМ. Белый свет повидать и себя показать, пробить дорогу к хребтам.

Тот, что посмуглее, ведет ладонью по смоляной голове, пашептывает по-таежному:

— Комаров, однако, повшем нет, холодно у Байкала.

— Соскучился по комарью? — щурится дружок на него.

— Однако, шошкучился.

Ах хитрец! Соскучился не по комару — по дому. Вот уж месяц ребята в дороге. Обещали написать, как устроятся, а еще ехать да ехать. Поминают добром полученную на Таловской базе технику. И опять — в какой раз — слышится знакомое имя:

— С Дорониным работать. Доронин — механик толковый. Веселый. Говорит, жена любит ласку, а техника чистоту и смазку.

Тепло в груди у Юлия: «Павел, Павел... люди помпят, люди ценят по-своему, после нас остаются следы. Куда ты меня отправишь — на Даванский, на Муйский участок? На любое место, где эти ребята»...

Подъезжает машина с флотоинспекцией. Выходит довольный Полухин.

— Привезли горючее? — слышится его радостный голос. — Уму непостижимо! Без горючки месяц. Я уж выклянчу там соляры бочку, там бензина капистру. Как цыган. Не стоять же технике, — поясняет папаша Субботее и поворачивается к пареньку: — Опять в порт не впускают вагончики? Ничего, сами будем охрану налаживать. Ах,

пирс мы разбили им. Так техника, смотрите, какая — жуть... Ладно, ребята, едем обедать.

Папушка, папашина лайка, впрыгивает в заднюю дверь, деликатно проходит на свое место, к ветровому стеклу. «Дай тебе покататься, медом тебя не корми», — ворчит папаша и гладит палевую, плотную шерсть собаки, доставшейся ему от сына. Садятся за столик втроем — папаша, Субботея и он, Юлий. Даже здесь, в столовой, папаша не успокаивается, начинает развивать идею укрепления отрядных позиций. Связь отвратительная, до города не дозвониться. Участки за сотни километров, в тайге. Что там с людьми, что с техникой? Одно спасение — рации, как отряду без раций?

В порту теснятся буксиры — «Волга», «Енисей», «Улан-Удэ», «Богатырь». Подъемный кран заканчивает погрузку «211-ой». Должен подойти тяжелый буксир — «Украина».

— Может, и твой «газик» махнуть на «211-ю»? — высовывается к Субботее крановщик из кабины.

— Нет уж, — поджимается Субботея и смотрит, играя скульями, на Байкал. — Попрошу кэпа поставить на трюм.

У самого выхода из Баргузина тревожно кричит буксир. Неужели она, «Украина»? Взгляд Макогонова осекается: папаша стоит, посерев. В порт входит «Тайфун», на мостике уже другой, не Василий.

Но уже через четверть часа Полухин движется берегом, говорит Субботее:

— Да, Юра, уговорил одну женщину, освобождает нам домик свой под гостиницу для шоферов. А ей нашел работу в Нижнеангарске и к ней туда отправляю детишек. Все довольны, сынок.

Смотрит Юлий на папашу и словно бы видит впервые. И представляются ему нынешние покамест летние «концы» по Баргузинскому тракту. А что будет позже, осенью и зимой? Воображается теплая печка, сосновые стены, покрхтывающие снаружи от холода, внутри от тепла, русые

и черно-смолистые, стриженные и кудрявые головы, не где-нибудь, кое-как, «возле стеночки», а на подушках, отходящие от напряжения и баранок мощные кулаки «сынков», пропахших соляжкой, бензином и потом, на чистых простынях и одеялках, чтоб пазавтра снова в дорогу, навстречу таежным путям-километрам. И все это он «сынкам», Полухин, папаша, очень нужный на земле человек. Да в чем она родственность наша людская, только ль по крови? Еще вчера не знал он, Макогонов, ни Субботей, ни тех двух дружков-бульдозеристов, ни папашин, а уж сегодня чувствует, как стянуты все они одной ниткой, единой судьбой. Один у всех тракт позади-вперед, одна сквозная дорога. От казаков, видать, еще тех, ермаковских, через папашу, через дело всей его жизни перекинулось многое к ним, его внукам, от них уйдет дальше, к потомкам. Земля эта давняя, древняя, как древне и давне здесь все, что стоит вековечно, поставленное и затверженное рукой человека. Ермак Тимофеич с топором и пицалью, клонился в пробитой кольчуге, испивая свое. Ермак Тимофееч со страдающими, цвета байкальской воды глазами Полухина...

Юлий смотрит на папашу и слышит Байкал. А чайки кричат над Байкалом.

### **Бросок через Байкал**

Удастся ли этот бросок на север? Осадка у «211-й» речная, парусность воп какая — на палубе шесть вагончиков, налетит «сарма» или «култук» — и руби канат, все. В затылок поддувал «баргузин», и баржа все виляла, водила посом, пока в заливе не потянул «шалоник» — канат напрягся, резко заохлодало, у рта стал виться парок. Туристы запахнули покруче штормовки, Макогонов с Субботеей вытащили из-под сиденья бамовские ватники. Субботеевский «газик» усажен на трюм перед рубкой, в кабине неветрено и тепло.

— Что тебе капитанский мостик, — плотнее усаживается явно довольный собой Субботея.

«Украина» — буксир рыболовного флота — доходит до Нижнеангарска за сутки, значит, на месте они окажутся завтра к вечеру. В ушах Юлия еще звенят слова капитанских команд — «трави канат», «отдать нос», перед глазами мечутся гибкие, молодые тела матросов, а уже начинает покачивать, «Украина» бодро идет на волну. Волна металлическая, литая, темно-синяя, с переблеском заката.

Дверцу «газика» отворяет чья-то рука.

— Бамовец, нет?

— Сочувствующий, — пожимает плечами третий в кабине и представляется: — Александр Каськов, Саша. Работаю в геолого-разведочной партии, водителем. Да вон мой вездеход, на барже...

Втроем сидят, смотрят на горячий закат. Закаты, как, наверно, и жизнь, каждый видит по-своему. Юлий приглядывается: вдали, в море, лежит фантастический зверь, у него пятнистая шкура, по которой, перебегая, каждый миг меняются гроздья электрических точек. Ала полоска у берега, разделяя воду и горы. На вершинах светло, отчего так таинственна внизу темнота. Впереди, на мысу, мигает маяк.

— ...серебряная свадьба, веселый разговор, — набегают из транзистора женский голос.

Все на палубе отделись этой минуте. Вон в штормовках группа туристов. Вон веселый бурят — владелец сипего «москвича», приютившегося между «газиком» и рубкой. Притихла юная, с русыми волосами по плечи, узколикая девушка с комнатной собачкой, которую она держит на руках и называет Валюшкой. Присмирел даже братишка этой девушки — десятилетний пацан с желтеющим, уже сходящим на нет синяком под левым глазом. Те самые ребята, у которых Полухин снял дом под гостиницу и которые теперь едут к матери.

Субботея бросает ведро на веревке за борт, достает перламутровой, скулосводящей, байкальской воды. Вытаскивает из сумки хлеб и сахар и, сокрушенный, расправляет на колене целлофан с истаявшими леденцами — плакали дочкины петушки.

— Не довез Оксанке, — вздыхает он.

Утром с солнышком приходит тепло. Справа темнеют Ушканьи острова. Каськов снова у них уже старый знакомый.

— Как Ушканьи прошел, — говорит он, — так считай все нормально. «Сарма» с Ушканьих срывается, сколько добра послала на дно... Байкал на погоду — загадка, до сих пор голову ломают ученые. Что ни распадок, то свой ток воздуха, ветер. Туда — обратно. И есть еще общие ветры по названиям мест. Та же «сарма», «култук»...

— «Баргузин», — добавляет Субботея: он здесь уже старожил.

— Красотища, ага, — проводит по слегка выющимся волосам Александр. — И еще несусветная древность. От геологов такого, бывало, наслушаюсь. Да... Байкал — дедушка, седой старец. Словно век проспал. Кругом жизнь текла, а он спал. Однако 1700 видов земных растений и животных, две трети в мире нигде не повторяются. Из других, однако, геологических эпох... Ну хотя бы нерпа, ага. Водится как раз на Ушканьих. До сих пор гадают, откуда взялась...

— Ничего, — кладет на руль Субботея свои сильные, волосатые руки, — подрастет БАМ — разбудит старца.

Юлий следит с интересом, куда завернет разговор.

— Плохо будет, — замирает Каськов, и его лицо делается чужим. — Я охотник, рыбак, понимаю. Зверь уйдет в тайгу, ходить добывать его далеко. Соболь уйдет от нас в Баунтовский район.

— Ну и что же, не строить БАМ?

— Как не строить? — говорит враспяжку Каськов, и морщины на лбу разглаживаются. — Сочувствующий, пони-

маю, не темный. Здесь, в тайге, однако, и золото, и медь, все цветные металлы. А железной руды — с Курскую аномалию, только тут же и уголь. И вообще. Видал «Москвич»? Тут же бегать негде на нем. Вся доро́га, что по поселку и до Холодной. Тайга!

Субботея с Юлием переглядываются: вспомнили, вероятно, как в улан-удэнской гостинице кто-то сказал им в шутку: смотрите, мол, чтобы в Нижнем «газик» у вас не угнали. Куда угонять-то? Тайга.

«Украина» идет строго на север левым, западным берегом, правый — едва виден в дымке. До гор рукой подать — мощны, бело-серо-зелены. В бинокль хорошо видать гольцы, ниже скалы, ущелья, залесенные распадки с угадываемыми протоками, речками. Прошли Большую Косу и Малую, распадок Мужинай. Вот бы Павла куда с его неугомонным пером. Доронинская тетрадка тяжелит кармап Юлия, заставляет зорче вглядываться в берег.

За Мужинаем, прямо по курсу, надвигается мыс Котельники. Горячие ключи, радоновая вода, привольные долины, самые звериные места: олень, соболь, изюбр и сохатый. Прежде здесь были заимки, теперь все переселились в колхоз. Прежде на лето приезжали пасти скот, подсчитали — косить траву и возить сено выгоднее. В распадке хозяйничает теперь лишь медведь. Весной спускается с гор, из берлоги, к Байкалу — лохматый, голодный, сердитый. К тому времени берег облеплен мурашом-липочаном. Медведь берет валуны и слизывает мураша, ворочает камни — слизывает икру широколобки, вглядывая недовольно на льдины.

Мерно работает двигатель теплохода, баржа с вагончиками покорно тащится за буксиром. Близится полосатый маяк на мысе Котельники. За коврижкой-островом светлеет палатка. Над ней горные цепи, с вершин по расщелинам сходит ярко-солнечный снег, отражается в водах Байкала пунктиром. Солнце перебегает тысячью искр. Чуть выше в сизых дрожащих потоках висит город с длинными

улицами, деревянными домами и портом, где швартуются корабли. Даже окна видны, даже люди...

— Мираж, однако, — машет неопределенно Каськов. — До Нижнего еще далеко... Смирный сегодня он, не Байкал — затон, уловá. А коварен. Свалится ветер из распада, свистит в снастях, а на воде ни морщинки. В сентябре, брат, такие шторма, ой-ой-ой! А когда станет, обтянется льдом, хоть куда бегай от Нижнеангарска. За омульком. У нас главные уловы на Курлах и «камчатке». «Камчатка» — километрах в трех против пристани. В праздник ли, в воскресенье ли все выходят на лед, бегут на машинах, мотоциклах, собаках, вроде как гулянья... Там, в Москве, на Первомай демонстрация, все в рубашках, у нас лов подледный. Палатки по всей «камчатке», и на льду бутылки, транзисторы. Сидят мужики над лунками, омулька таскают и по маленькой за рабочую связку, за интернационал... Ну и тех поминаем, кто в Байкале, на дне.

Юлию делается не по себе: за бортом толщ на многие сотни метров, одно слово — Байкал. Идут ледовой дорогой машины из Усть-Баргузина до Нижнеангарска, Байкал живет, дышит, ледовые поля сходятся-расходятся.

Юлий извлекает из кармана записки Доронина, вертит странички. Вот. Как раз что-то о ледовой дороге, ледовом Байкале:

«...В отряде хорошо понимали: в Тазы путь пробит, создан первый участок, теперь дело за вторым, третьим, четвертым. К большой воде на Верхней Ангаре надо перебросить в Нижнеангарск грузы. А апрельский лед уже заикался, крошился, слабел.

До Усть-Баргузина проскочили привычным путем. Утром к Субботее подошел Полухин, а с ним верткий, чернявый парнишка, из местных. Подавая руку, парнишка представлялся:

— Елшин Коля, из Читы еду в отпуск. Однако, сватают к вам проводником, — и махнул рукой в сторону, до-

бавил: — Чивыркуйский сам, ближний, ага. Я согласен, на часок бы только к мамане.

— Дело делаем, — бросил ему Субботея и прошел в головной вездеход.

Ледовая дорога на Нижнеангарск под солнцем просела и почернела. Сдвинулись вправо, пошли по перешейку, соединяющему Святой Нос с материком. Сэкономили километров пятьдесят. Потом уже, пролетая здесь и с высоты обозревая низменность с голубым озерком Арангатуй, соединенным с Чивыркуйским заливом речушкой, Субботея снова ощутит каждую выемку под гусеницей вездехода, подумает о том, что не мешало бы в этом месте перерезать полуостров каналом, и тут же геометрические, лупоподобные, без единого признака жизни горы прогонят безвременную мысль. «Ничего, ничего, — оглядывал Субботея перешеек, — мы еще до тебя доберемся».

День уже был на исходе. Спрямяя дорогу, шли от мыса к мысу, по снегам, переносам. Справа оставались гольцы. Коля Елшин то указывал Субботею дорогу, то советовал, как взять торос — прижим. Ночевали в Чивыркуе, до мыса Верхнее Изголовье, где жили Колины родители, было и вовсе рукой подать. И хотя Коля давным-давно не видел отца-мать, но и на сей раз ему не придется их увидеть, не придется, как загадывал, увидеть и позже. Бамовские дела закрутят сына чивыркуйских родителей, посадят на такой же вездеход, бросят вскоре в тайгу, на штурм Даванского перевала.

За поселком Давша — центром Баргузинского заповедника — решено было пересечь Байкал и идти левым берегом. Гнали машины — вперед и вперед. Болели плечи и руки, ломило от яркого солнца глаза. Брызги из-под гусениц веером ложились на ветровое стекло. Мелькнули Большая Коса и Малая, распадок Мужинай, показался мыс Котельники, за мысом — со слов Коли — были горячие ключи. Развести бы до хруста чугунные плечи, окунуться по горлышко, по надо идти, пока вовсе не скис лед. День уже

был на исходе, когда вдали на взгорье показалось село Байкальское. Но что это? Черная трещина. Субботея высунулся из кабины:

— Что будем делать, ребята?

Ее, пожалуй, не обойдешь, через весь Байкал, кажется, протянулась. Ишь, дышит, зияет чернотой. Мелькнула и мгновенно исчезла в полынье удивленная голова — усы, живые черные бусинки.

— Коля! Нерпа?

От звука в трещину бухнулись еще два, три, четыре круглых, сигароподобных тела.

— Форсировать, однако,— шевельнул сухими губами Елшин.— Разгоняться и прыгать, так можно.

Субботея вышел из кабины, начал вымерять дорогу шагами.

— Прыгать через Байкал будем. Риск — благородное дело,— говорил подошедшим водителям Субботея, желваки его были выперты, глаза жестковаты.— Я первый, остальные за мной. Сойди на лед, Коля.

— Не уйду.

Субботея отвел вездеход назад для разбега. «Если не зацеплюсь за тот край,— мелькнуло,— ухну в воду. Но ведь у меня вездеход, держится на плаву. Да, но если прижим, если трещину стянет... Ну, как говорится, вперед, за орденами. Пошел!»

Вездеход срывается с места. Гусеницы с лязгом кромсают лед. Скорость тридцать пять, сорок километров в час. Обе дверцы открыты. Субботея и Елшин впились взглядом в трещину, окостенели. Вот она, н-ну!

Вездеход лязгнул гусеницами уже на той стороне.

— Вот не думал-то, что «гететешки» летают,— выключил Субботея мотор и рассмеялся. Сидели в тишине, словно только что родились.

— Еще как летают,— привстал и стукнулся Коля о потолок кабины.— Дело нормальное.

Ночевали в селе Байкальском. В поселковом Совете.

Постелили на полу по-братски, от стены до стены. В глазах Субботеи все плескалась, колыхалась вместе с нерпами черная трещина...»

Юлий отрывается от записей друга, с интересом поглядывает на Субботею, на то, как их «Украина» подворачивает к мысу Котельники, к горячим ключам. Здесь, на берегу, зимовье и люди. Капитан буксира дает сигнал — просит лодку. Сигнал бархатист, катится к берегу, удаляется в горы. На сближение по инерции движется горбатая от вагончиков «211-я». Дернулась, закрутилась вокруг буксира. Вот и дно: булыги и галька, консервные банки — чудо как глубоко. Стрельнул темными молниями косяк омуля. Со дна на поверхность тянутся длинные, жемчужно-пузырчатые столбы. Закачались от движения вод, словно водоросли. Это газ выделяется горячими педрами.

Подлетает моторка. На остром, задранном ввысь носу пацаненок в капитанской фуражке по уши. Капитан с людьми садится в моторку. Субботея с Юлием при машине: запчасти и здесь дефицит. Изучают с левого борта берег, зимовье, людей — старожилов и с «Украины». Им там весело, носятся от бревенчатого дома к срубам, под срубом ключи. Вылетают пробкой из огневой воды и бегут на берег, бросаются в ледяной Байкал, кричат от восторга. Крик уходит в тайгу, возвращается эхом, доходит досюда.

— Еще успеем, попаримся, — переступает с ноги на ногу Субботея. — Не на год приехали... Распатаешь первишки, пожалте сюда, в Нижнеангарске пропишут этот... радон. Схватишь в тайге ревматизм — в другое местечко пожалте, в Хакусы. Вон туда, через Байкал, — машет он Макогонову куда-то на тот берег. — Там, говорят, чудо природы: прет из горы рукавом горячая, сероводородная. Сбоку струйкой ледяная, серебряная... Ничего, все распробуем.

— Любуетесь? — подходит Каськов к ним и кивает за борт: — Водичка-то дистиллированная. Ее шоферы в аккумуляторы запросто. Весной видать сквозь метров на двадцать. И ведь реки бегут в Байкал не очень уж светлые,

всего по пути наберутся. Байкал, однако, прозрачный. Весь век был прозрачный, да БАМ нагрязнул. Сколько в чашу выльет грязи эта, как ее...

— Цивилизация?

— Да нет же опять, я сочувствующий! — щурясь на левый глаз, по-охотничьи, Каськов смотрит, как от берега отваливает моторка: — Как сказать? Байкал — это жизнь. Ага? А мы, люди, — реки. Так вот мы стекаем в Байкал, и Байкал нас в себе очищает... А если ему перегруз, не потянет? На пристани в Нижнеангарске от мата и водки тесно. Это порядок?

— Так это не наши, не бамовцы, — говорит Субботея, заметно волнуясь. — Едут тут всякие. Бичи. Вон хоть этот, видал? Да вон на корме... У нас, между прочим, есть отдел кадров. А на БАМ валить нечего...

— Нам Байкала хватало.

— Ишь ты субчик, хозяин нашелся! Байкала ему хватало! — не выдержал Юлий. Субботея поставил на Каськова свои ставшие неожиданно жесткими сине-стальные глаза. — Да Байкал — общее достояние. Национальное! Еще б и железную руду с угольком, все недра под порог себе затолкнул. Соболь ему уйдет в Баунтовский район! Это как дела повести.

— «Ураган» прошел по тайге — вроде все распугал, — поддержал его Субботея, — а через полчаса на том самом месте излюбр опять ходит.

— Вы — свое, я — свое, всяко-разно. Сам из Нижнего на речку Тыю вездеходом бегаю, знаю, — говорил Каськов по-местному быстро, отрывисто. — На охоту хожу. Зверь видит ружье, а не технику, — наклоняя упрямую голову, Александр с минуту молчит, продолжает замедленной, четче: — И, однако, нам пить из Байкала. Пусть перед ним очищается каждый, каждый будь перед ним человеком.

— Другой разговор, — успокаивается Субботея. — Может, и уйдет твой соболь в другой район. Шумно станет, пойдут города. Между прочим, и Нижнеангарск твой не

вечный город, не Рим, казаками не так давно и основан.

Подъездок пристаёт к борту. Один за одним на палубу поднимаются «курортники», распарены, мокроголовы, шумны.

— Как тут без нас, все в порядке? — подходит к Субботее и Юлию капитан. В свои двадцать шесть повидал человек немало. После мореходки перебрал столько профессий, что хоть разувайся, все равно пальцев не хватит. А вот здесь, на Байкале, четвертую навигацию, возит омуля из порта приписки на хладокомбинат. Все б ничего, да на локатор пароходство никак не разорится, а без локатора что за плаванье? Вот и жметя к берегу «Украина».

— Ну и как, ты тоже сочувствуешь БАМу? — вместо ответа задает Субботея вопрос капитану.

Капитан в разбеге застывает на мостике, секунду смотрит на Юрия, словно соображая.

— А вон у меня, — кивает он русой головой на баржу с бамовскими вагончиками. — Не рыбацкое дело, а надо.

— Вот и я прошусь на БАМ, — улыбается добродушно Каськов, — да не берет Субботея, однако. А кто быстрее вездеход заведет на морозе — я или земляки твои?

— Не боги горшки обжигают, — не отходит, жестковато держится Субботея. — Тоннели вон какие грохаем, а уж заводить на морозе научимся.

Юлий наблюдает, как по-мальчишески лихо отдаёт капитан команды машинному отделению, как матросы бросаются их выполнять. Село Байкальское остается слева. Мимо идет такой же «рыбак», пристаёт на момент. Двeтри свежие новости и опять вперед, на закат, позади на тресе болтается «211-я».

Голубовато-дымчатое небо насыщается до фиолетового, мощного. Сам закат ярко-желт, вода легка и смиренна. Горы темны и огромны, но до них еще шлепать и шлепать. Нижнеангарск мигает оттуда золотыми огнями. Позади четыреста километров. И видит Юлий, как, оглянувшись на «211-ю», капитан вытирает пот со лба, озорно подмиги-

вает Субботее. Вот и берег Байкала — земля рыбаков и охотников, Субботеи и Павла Доронина, всех тоннельщиков-бамовцев. Хоть почти и одной широты с Москвой, все же северная земля.

### **„Навстречу утренней заре, по Ангаре...“**

Гора прижимает поселок к Байкалу, Байкал прижимает поселок к горе. Восходящим солнцем в поселке прижато к горе все движимое и недвижимое. Движимое — это люди, верхнеангарцы, рыбаки и охотники, это собаки с острыми волчьими мордочками, сибирские лайки. Недвижимое — это, пожалуй, сосново-бревенчатые нижнеангарские улицы. Да и то как сказать: по нижней, по кромке Байкала, будет время, пойдут поезда.

И в самом порту все подвижно. Даже фирменная, позеленевшая от дождей и ветров вывеска «Пристань Нижнеангарск Восточно-Сибирского пароходства» отражает уже вчерашнее. Пристанские перебрались на самый пирс, в небольшое строеньеце. А здесь, у двери, появилось скромненькое, написанное пока от руки, — «Тоннельный отряд». В большом многооконном доме дым идет коромыслом: оборудуют кладовые, кабинеты, стучат молотки, заливаются телефоны. Все ждут из Москвы начальника строительства Стеблякова: какие привезет указания?

Доронина и здесь уже нет. Только что улетел вертолетом на Северо-Муйский участок к Малышину. Туда пошло много техники, и там Доронин, очевидно, задержится. А без него механиками никого не оформляют. Его штат, его кадры, как это без самого?

Штаб отряда пока что располовинен: часть еще там, в улан-удэнском «Байкале». Все зыбко, не все утверждены в должностях.

«Что же мне делать? Как быть?» — думает Юлий.

На пирсе под «211-ю» подают другой буксир, полегче, речной, уже через несколько часов баржа с жилыми ва-

гончиками движется Верхней Ангарой глубже, в тайгу, на Уоян. Куда-куда? На участок к Мальшину. «Что же мне делать?» — думает Юлий.

За главным инженером отряда по пятам ходит парнишка. Тоже механик, только что из института. Просится на головной участок, туда, где труднее. Начальству виднее, известнее, кто и на что способен. Конечно, кадры в отряде что надо — шахтеры и метростроевцы, люди испытанные. Остальные пристроятся. Для затравки лучше посылать кучками — харьковчан, москвичей, ленинградцев, проходчиков с Донбасса, со Шпицбергена. На участках землячество — хорошо.

— Не отпускают, — оставляет осаду начальства парнишка и широко, с удовольствием зеваает, улыбается Юлию во весь рот. — А вам тоже к Мальшину?

— Д-да... в некотором роде, — говорит Макогонов не очень уверенно и думает: «А почему бы и нет? Разущу Павла, может, там и останусь».

Парнишка подставляет солнцу лицо, оно у него почти покладное, отчего глаза кажутся выцветшими. Сочный голос не по росту басовит, зато тело крепко, низко посажена голова. С ним как-то легко и просто, про таких говорят: рубаха-парень, душа нараспашку.

На пирсе сегодня, словно «воскресник», пришли даже конторские: «211-ю» срочно готовят к походу на поселок Уоян. Сняли вагончик, ставят семитонный автокран. Тут же падаюта прыгают с пирса в Байкал. На берегу, среди гальки, на костерке варят уху. Набегаёт волна от промчавшейся мимо «казанки». «Лодка здесь, как такси, как машина, — вспоминает Юлий на барже беседы с Каськовым. — Без нее никуда: ни на рыбную ловлю, ни рекой на охоту, по орехи, по ягоды». Приводят и ставят к автокрану четырех лошадей геологоразведочной экспедиции, она направляется на реку Правая Мама. Ожидают буксир.

Из конторы выбегает тот парень, механик, кричит еще издали:

— Я же говорил? Отпустили!

«Пробивной, однако,— улыбается ему Макогонов.— Все у Павла такие или этот попался?»

— Поселок называется Нижнеангарск, а течет Верхняя Ангара,— говорит Юлий механику.

— Потом, некогда,— отмахивается парень-механик.— Айда в магазин за харчишками.

Прыгнули на баржу в последний момент.

На носу баржи лежит рюкзак. Хозяин уже машет им из окошка вагончика: давайте сюда через окно, через верхнюю створку, ключ от запертой двери потерял.

— Селиверстов,— представляется он,— Николай. Из Москвы. Еду проходчиком.

Суховат, с резкими чертами лица, таксистского типа фуражка, немного усталый.

— Селиверстов,— подает руку парень-механик.— Селиверстов Матвей. Тоже из Москвы.

— Ну вот, москвичи, и познакомились,— смеется Макогонов.

Буксир идет бодро. Байкал кончается, скоро входить в Верхнюю Ангару. Молчат все: тайга начинается. Каждый к каждому целится, щупает взглядом. «Время и дело покажут, кто есть кто, кто чего стоит»,— смотрит Юлий на берега, на протоку, далекие горы. Вода и вода, а дальше тайга и тайга. За вагончиком всхрапывают кони геологов, бьют подковами в железную палубу. А буксирчик трещит и трещит. Бежит за бортом Ангара — назад, в Байкал. Вода — единственное, что связывает их сейчас с внешним миром, с городами, домами, семьей.

— Все едут сюда. Едут... едут...— говорит Николай тихо. Юлий чувствует в словах затаенное, обдуманное, настраивается на разговор.— Одни перед пенсией, другие — как в Эльдorado. Романтики едут и те, кто...

— Вперед, за орденами? — вставляет Юлий.

— Уже разнесли,— смеется Матвей.

— Там у нас в городах все притерто, отлажено,— Нико-

лай бросает за борт конец веревки, его тут уже затягивает под баржу. — Дух инерции, дух инертных привычек. Был у нас на работе один человек — золотая башка, генератор идей. Так сколько же можно ходить в заместителях...

Протока кончилась, пошла сама Верхняя Ангара. Мимо проплывает береза, торчат перепутанные корни — березу подмыло, упала.

— Едут себя утверждать, — говорит медленно Юлий. — Даже в семье теперь надо себя утверждать. Муж — жена... все теперь одинаково: брюки, зарплата... Ну что сделать мужчине, чтобы его, скажем, уважала собственная жена? Ну вот я, к примеру. Профессия у меня простая — автомеханик. Не летаю к звездам, не кручу сальто в цирке. И план на тыщу процентов не перевыполнишь — служащий. Конечно, понимаю, что это великая стройка. Не понимал бы — пороги не обивал... Валентина у меня красивая, видная...

— Ничего, подождет, — смотрит Николай в глаза Юлию, снимает и кладет на коленку свою таксистского типа фуражку. — Или пускай сюда прикатывает, если она такая у тебя... ну, равноправная...

— Женам иногда, — смеется Матвей, — полезно поволноваться. Со стороны взглянет: стоит любить или нет?

— Тоже мне, молоко еще не обсохло, — одергивает его Николай. — Помолчи.

Утро застает караван у самого берега. Висит редкая, жесткая мга, блестят опшуренные бревна и пилорама. Сзади пристроилась самоходная баржонка, на борту черным по белому — «Арбикля». Напротив, через Верхнюю Ангару, видна пристань, лодки, село.

— Верхняя Заимка, — охотно поясняет с берега подвижной, моложавый, но видать, поживший уже человек. Из-за кустов над ним поднимается парень — смугл, улыбчив, темно-русая челка на лбу.

— Капитан «Арбикли» Астафий Петрович, ага. Дядя Астафий, ага, — представляется пожилой. — А это, — он кив-

вает на парня, — команда моя — Воронин Гриша, матрос.

По приставленному к борту бревну все сходят на берег. Вода в Ангаре холодна, обжигающая — вон их сколько придвинулось за ночь снеговых шапок-вершин. Кони бьют копытами о железную палубу, геологи уходят подкосить корму.

— Мы горячее БАМу возем, — объясняет дядя Астафий, — да редуктор полетел. Подцепились к вам, дальше вместе...

Плывут они уже третьи сутки. Вперед и вперед — па Кумору, на Уояп. Буксир тянет медленно, но упорно. Слева, за пойменными лугами, крутятся горы, снеговые вершины. Верхняя Ангара петляет, порой чуть ли не возвращается обратно. Юлий с интересом рассматривает берега, всю эту долину, почва которой податлива, илистая, волны подмывают ее, березы и сосны кое-где едва держатся, показывая обнаженные корни. Павшее, серо-сплавное дерево образует заломы...

Утро начинается со стука копыт через стенку, с ковариного писка. Чем дальше от Байкала, тем воздух днем все каленее, ночью все прохладней, тем больше их «кровопивцев». В Уояне вообще, говорят, особо крупные и нахальные, эвенкийские комары. Юлий с Матвеем намеревались плыть сутки, и харчишек купили немного: что бы делали они без арбикльцев? Утром раздаются шаги по крыше, и голос Гриши Воронина возвещает:

— Идем варить чай. Стоячий.

Это, значит, такой густоты, что в чайнике, «ложка стоит и не падает».

А вчера потянул ветер с гор, и в кубрике «Арбикли» затопили печурку. Воду для чая они берут из Ангары, бывальщины — из жизни. Примечает Юлий, местные скорее не скажут и слова о последней кинокартине, но в новейшей технике разбираются сильно. Вон ее сколько всякой в леспромхозах, у геологов, вертолетчиков, теперь вот у бамовцев. Не гляди, что чалдон, из таежных, а пришлось

тому же Грише Воронину повидать белый свет. Ходил на «рыбаке» в Японию, за селедкой к Ванкуверу... Сидит, слушает всех Макогонов. Чем-то дядя Астафий похож на его отца. Весь век свой дядя Астафий на одной этой реке. Единственный раз отлучался — на Отечественную. И снова сюда, на привычное дело. Ангара, она ему как живое существо: и добра, и сердита. А хитрюща: в одну ходку пережат был в этом месте, в другую ходку — в ином. За солнцем, температурой, дождем следи в оба глаза. Сильнее печет — быстрее тают снеговые вершины, выше уровень вод; застигла сушь — ожидай спада вод, сузится фарватер, обнаружатся мели. Вот и сейчас вода уже низкая, дядя Астафий не выходит из рубки. Довез груз и скорее обратно, вон сколько бамовского груза копится в Нижнеангарске на пристани...

Так за разговором и тянется вверх по реке караван. Пышет теплом жестяная труба, шевелятся дровишки, а паружи дождливо, сурово.

«Арбикля» толкнулась о берег. Тучи уже разогнало, звезды крупны, непривычны. Ровно, спокойно дыхание Селиверстовых. Здесь, в вагончике, полный комфорт: электрокамин, зеркало и шкафы, передняя — с умывальником, спальня — с занавесками. Все внутри обшито пластиком.

Николай, оказывается, не спит.

— Я вот о чем думаю, — подает Юлий голос, — как оставаться личностью на таких больших стройках? С самим собой побыть некогда, нигде.

— Дома — работа, в тайге — работа, — отзывается Николай. — Сон вчера видел: мы еще и в Кумору-то не добрались, а я уж будто бы у портала, проходку веду. Гранит и базальты — одиннадцатая категория. Термальные воды садят под давлением в двадцать атмосфер... Пропороть такую гору, сколько техники надо?

— Вертолетами к порталам не перебросишь — тяжелая, факт, — вздыхает понимающе Юлий. — Горные маши-

ны, тубинги, транспортные средства, оборудование... Верно, без дороги нельзя.

Сирена поднимает их на ноги: светает, на заливном лугу слоятся туман. Оставив на время «211-ю», буксир с «Арбиклей» входит в протоку, будет идти по ней до самой Куморы.

Сколько же здесь воды: протоки, озера, старицы. Фарватер означен поворотными знаками — «бойся меня слева», «бойся меня справа». Перед входом в мутную речку Харчовку подобрали канат. Наплывало жилое, человеческое, пахнущее хлебом и дымом — Кумора.

### Зачарованные шаманом

Жить и работать Селиверстовым километрах в трех от селенья, у таежного озера Иркана, где основана была когда-то казаками ныне покинутая Кумора. Здесь, на берегу новой Куморы, ожидают «Арбиклю» трое, один из них начальник второго участка Белфас — невысокий, упористый, в зеленой бамовской куртке, в яловых сапогах. Белфас — из Ленинграда, он еще молод, ненамного старше своих подчиненных.

— Слышал, можешь по-плотницкому? — обращается он к Николаю Селиверстову. — Поможешь ладить жилье. Жить будем в бывшей церквушке... Ножовку не привезли? Жаль. Ладно, попросим у вашего шкипера...

— Здорово, Гриша! — кричат с берега местные Грише Воронину. — Опять к нам киномехаником?

Берегом прострочил мотоцикл. Заходя от горы Шаман, идет на снижение самолет, за огородами аэродром. С ревом по улице выскочил вездеход — большой тяжеловесный тягач, здесь такой называют «батиком». «Батик» с ходу врезается в Харчовку, подплывает к «Арбикле». Пока вездеходовское чрево насыщают бочками с бензином и дизельным топливом, ящиками с гвоздями и инструментами, Белфас делится новостями:

— Сегодня у нас историческое событие — начали просеку в сторону Уояна. На Тазы прошли первые семь километров.

Все что-то делают, озабочены чем-то, только Юлий чувствует себя неважно: как пеприкаянный. И тогда начинает соваться то в одно дело, то в другое, дает советы Белфасу насчет того, как расходувать экономней горючее, как эксплуатировать вездеходы.

— Механик? — мигом оценивает его Белфас. — К кому, к Мальшину?

— К Мальшину, — пожимает плечами Юлий.

Мчат на «батике» длинной куморской улицей — мимо бревенчатых изб с красными геранями за занавесками, мимо заборов, сделанных взаплот, со столбами. Мимо деревянного тротуара, яслей, библиотеки, участковой больницы. Особняком глазаеет окнами интернат, где живут дети эвенков на полном государственном обеспечении. Древняя старуха за забором провожает «батик» долгим взглядом, крестится, шепчет себе что-то под нос.

Жиденская пшеничка бежит по сторонам — вызревает ли? Навстречу голубой зиловский самосвал.

— Стоп! — соскакивает с «батика» Матвей и кидается к самосвалу. Там друг его. Вместе ехали из Москвы, вместе были первые дни, судьба по тайге раскидала. Парень рыжеват, но выбрит или, может быть, выщипан? Не тот ли самый по прозвищу «Уникум», о котором слышался Юлий еще от папаши в Усть-Баргузине? Есть, говорят, хлопец не то в Тазах, не то в Куморе. Рыжебородый. Выдернет рыжую волосинку и на крючок ее, в воду. Рыба на нее сумасшедше кидается. Насушил хлопец рыбы целые снизки. Ходят за ним ребята толпой, клянчат: дай волосинку. Смеются: если не дашь, ночью всего доскопально обреем...

Вездеход молотит гусеницами по ныли.

— Усекаешь, товарищ механик? — наклоняется Юлий к Селиверстову Матвею. — Летом по хорошей дороге бьют

«батик». На чем в непогоду будут ходить? Хлеба из села не на чем привезти будет, пешком ходить придется на просеку...

— А что с теми двумя? — спрашивает Матвей у белфасовцев.

— На приколе. Без гусениц, — кричит, перекрывая шум двигателя юркий, веселый парнишка и машет рукой вперед: — Темпы нужны, темпы.

— Темпы? — хмурится Юлий. — Да знаешь ли ты, чего он стоил ребятам, ваш «батик»?

Спрыгнули наземь. Вот это да, вот это выбирали места для жилья наши предки. Вид со взгорья какой открывается: затерянный мир. Просторная чаша меж сопок заполнена зеленой тайгой, в центре светлое озеро Иркана, посреди — остров. Справа седая величественная гора Шаман. Едва различимы вдали два рыбацких баркаса. На том берегу, говорят, никто не бывает. Ну, рыбаки на самой кроме. Ну, охотники на пять-шесть километров. Как в каменной чаше. Так все от всего здесь отрешено, закрыто от мира зелеными сопками. И здесь со временем пройдет с Тазов дорога на Уоян...

Пока суд да дело, да готовят обед, сидят Юлий с Белфасом на взгорье, у старого кладбища. Белфас рад свежему человеку, все расспрашивает: ну как там сейчас, в центральной России? И сам отвечает охотно, рассказывает, как за пять лет после института прошел под землей половину Ленинграда, строил станции метро «Площадь мира» и «Парк Победы», «Василеостровскую», «Ломоносовскую». И вот теперь здесь. Юлий слушает его и представляет, как после трудов праведных приходит он иногда сюда и сидит, размышляет. Здесь мысли должны приходиться глыбастые, мощные, как эти горы. Природа и люди, первозданность и совершенство, Ленинград и Кумора. А там, на другом берегу, своя жизнь, свой властитель — медведь. Смотрит оттуда он на останки старой Куморы, на выпцветающие под солнцем палатки бамовцев, на колчено-

гое рубленое строенье у кладбища — церковь. Ни дверей, ни окон, обшарпаны стены. И здесь зимовать... Белфас поднимается, начинает обход владений. В церквухе на сохранившейся чудом сцене хозяйничает с пилой и топором Чистяков — прошел Абакан — Тайшет «от и до». Ему поручено приспособить под жильё сию «необитель».

— Как связь с небесами? — спросит его, спустившись с высоты своих мыслей, Белфас.

— Налаживаем, — стрельнет из-под бровей Чистяков и кивнет на обклеенные изнутри стены: — Газетки почищаем. За девятнадцатый век. Вычитали об отмене крепостного права. Интересно.

И на завтра сидит Белфас под вечер на том же бугре. Как старец, мыслитель, шаман. За всех подумай, за каждого. Народ молодой — вино непересбродившее. Иным ударило в голову ощущение таежной свободы. Как держать на плечах участок и давать выработку? На кого опереться, кто всерьез приехал, кто так? Завели вездеход — покатали в Кумору, газуют, рвут гусеницы. Нет, так дело, сказал, не пойдет. Да ведь он и сам человек, понимает: к девчатам на танцы надо, но прежде следует думать о том, ради чего сюда прибыли. А участок не мед: на куске отсюда до Тазов черт десять раз ногу сломит. По реке Светлой, по речке Срамной валуны, утесы, гранит. Камни рвать, мосты паводить. И кедры, кедры, самый кедровый край.

— Понимаю тебя, понимаю, — кивает Белфасу Юлий. — В тайге ты, как говорится, и судья, и батька, и воинский начальник...

А в воздухе чересполосица. То не милосердствует солнце. То освежающе тянет с гор. Подошла машина, привезла на обед ребят. Лица и плечи у них, как и у Белфаса, — персиковые. По сходням спускаются к озеру, смывают пригоршнями пыль, трудовую усталость. Русская речь перемежается украинской. Тут же, у озерной волны, на всю громкость включен транзистор:

— Наш адрес не дом и не улица...

Зовут обедать. Под тент, за семейный, грубо сколоченный стол. Его уже облели полосатые тельняшки из бригады ленинградца Сергеева. Руки — в клейкой смоле, тело — в гулком жару, язык — без костей.

— Налей, кок, со дна пожиже,— просят они Витьку-повара.

— Как поработали, так и накормлю,— отвечает он им задиристо.

По специальности Витька тоже проходчик, поваром здесь научился. Прежде варили по очереди, Витька сварил борщ «на ять». Проголосовали, сделали Витю штатным, выковали и вручили символический ключ от кухни.

Пообедали — и опять на машину, на просеку.

— Молока с собою возьмете или воды? — спрашивает Витька сергеевцев.

— Молока! У нас комары, вредное производство,— шутит кто-то и вдруг поворачивается, сердится на Белфаса: — Опять топоры не подвезли? Чем нам сучья, руками?

— С нами пришли, пришли на «Арбикли», — привстает Николай Селиверстов с пенька.

Он уже наточил топор, теперь правит ножовку. Наклопнется к Юлию:

— Ну, давай, брат, лапу. Ухожу на объект. Когда еще свидимся? Живем не на проспекте, — в тайге.

— Прошу в нашу баньку,— приглашает после обеда оживленный Белфас.

— Горячие ключи у нас. Собственные,— гордятся ребята.— Как раз рядом с просекой.

Гостей — его, Юлия, и Селиверстова Матвея — ведут к этим ключам. Юлий вспоминает баржу «Украину» и мыс Мужинай, как из горячей воды люди прыгали прямо в Байкал. Проходят просекой. Ее тянут по склону сопки, сосны валят вниз, чтобы не стаскивать. Полотно потом будут выравнивать, подсыпать. Белфас на ходу дает указания, что делать сегодня и завтра бульдозерам и автома-

щинам. Запели пилы «дружбы», дрогнули и зашатались стволы.

Навстречу идут люди — неторопливы, распарены.

— Привет изыскателям, — встречают их бамовцы. — Когда кончаете нам дорогу стволить?

— В сентябре.

За почерневшим зимовьем сразу вниз и — ключи. Две песчаные ванны под бревенчатыми срубам. Шагнул Юлий — вода по пояс, присел — стала по грудь; захотел двадцать градусов — в левую ванну, захотел в правую — тридцать. Зимой, говорят, на голову сыплется снег, волосы в ишее, а телу тепло.

После ванны сидят, отдыхают в тенечке. Шаман высится перед Юлием тяжелый, снизу зеленый, сверху сумрачно-лысый. Потухший вулкан. Видать, еще не совсем потух, остывает, коли таким теплом пышут вода и земля. Рассказывает ребятам Белфас, что сам слышал от геологов, от старожилов, эвенков. Пыхтел Шаман, говорят, лет триста назад. И сейчас земля беспокойна. Но, прежде чем взяться за магистраль, думали люди. Ученые прочитали, где и на каких глубинах возможны разломы, эпицентры землетрясений. Выложили свои «соображения» изыскателям и проектировщикам, а уже те, с учетом всего, указывают, где строить станции, мосты, города. Волноваться не следует, это всего лишь притрассовая дорога, магистраль пройдет стороной. Да и сам Шаман отшумел свое, не буйнит, вполне приличный старик. Над вершиной вьется ярко-белое облако: «Ночевала тучка золотая...»

— Наш барометр. Надел шапку Шаман — быть непогоде, — кладет на плечо Макогонова руку Белфас. — Оставайся, Юлий, у нас. Дадим тебе просеку, пойдешь на Тазы уже с этого края. Утром встанешь, бредешь — роса по пояс, комарики тучей. Милое дело. Глянешь на Шаман — рукой подать, а до него, дьявола, километров двенадцать.

— Не могу, — мнется Юлий. — Вы хорошие, замечательные ребята, и мне у вас нравится, но... я же еще не

оформлец, никто в отряде. Мне надо увидеть Доронина... А вообще у вас тут сплошь какая-то мистика, — смеется Юлий. — Тучки, барометр. В церквушке начались видения, рыбаки не ночуют, обходят.

— Шутники. Кто это тебе успел наговорить? — улыбается одними глазами Белфас. — У нас таких шутников топят в озере. А трудностей у нас тут хватает. Для тебя специально придумаем: Иркану, например, в Харчовку перекачать. Это недавно ко мне являются трое. «Давай, — говорят, — оформи наряд — качали вулкан». — «Это можно. Только дивежки, — отвечаю, — пойдут на строительство БАМа».

Все смеются. И громче всех Юлий. Ему здесь все правится: Шаман, церквушка, видения, самый трудный кусочек дороги, Витька-повар, бригада сергеевцев. И вдруг он говорит то, что зрело в нем там, еще на «Арбикли»:

— Сохранить людей, создать костяк. Из кого? Из вальщиков, сучкорубов, бульдозеристов? Но ведь эта дорога — не главное. Главное — тоннель. Значит, уже сейчас к нему надо готовиться.

— Ишь, какой дальнзоркий, — поддевает его Селиверстов Матвей. Пропадал где-то с дружкой, только теперь объявился.

— Надо готовиться! — повторяет Юлий, растирая красноватое тело поданным кем-то полотенцем. — Сохранять таких людей, которые особо нужны там, в тоннеле.

— Это верно, я тоже думал, — говорит Белфас. — Кому-то, может, тайга придется не по нутру: привык на отлаженном производстве. Зато там, на тоннеле, окажется незаменим.

— А куда деваться потом вальщикам, сучкорубам? — упорствует Селиверстов.

— В учебный комбинат, Мотя, — берет Белфас его под руку. — Зато пока подберемся к порталу, костяк для тоннеля уж будет готов.

— Фантазия — полет шмеля в данное время, — смеется

Матвей. — А у нас, извините, пока цепей для пил не хватает.

— Так и о пилах, о чекерах поставим вопрос, — не унимался Белфас. — Задержаем снабженцев, пускай перестраиваются. На тоннельную номенклатуру они мастаки, а мы сейчас просеку гоним, нам нужна лесорубовская номенклатура. Могли бы обратиться за опытом в леспромхоз? Ах, сами с усами... А мы без чекеров сидим, чуть ли не вручную лесины стаскиваем. Завел бы чекер, связал хлыст да трактором, — какая производительность?

— Ну будет, будет вам, ладно, — остановил его Матвей. — Что я против чекеров, что ли?

— Дай сказать человеку, — горячился Белфас. — Ваши, мальшинские, слышал, начали уже просеку на нас, на Кумору. Кто скорее выйдет на среднюю точку?

— Ясно, — вы! — поддевал Матвей. — За вас тут все: и Шаман, и видения.

— Ясно, — мы!

— Ну-ну, миру мир, — заглушал страсти Юлий и взбежал на холм. — Посмотрите отсюда! А то ничего, кроме себя, здесь не видите.

Обзор с холма был чудесен. Ведь вот как наслышан Юлий о Байкале, о Забайкалье, но самое горячее воображение не смогло представить всего, что он видит сейчас.

Он живет здесь, в горах, среди кедров. Тайга! Золотая, медная, алмазная, вольфрамовая, соболиная... Шаман — задумчивый, грустный, дремлющий — скряга-старик, в кратере — тихое озеро. А ну как воспрянет, пыхнет опять, как начнет кидать золотыми слитками, алмазными самородками? Кто проникнет в тайны, в кладовые бывшего вулкана Шамана? Уже потом, в Уояне, услышит Юлий легенду от старой эвенкийки Лукерьи, дед которой был сам шаманом, и дедов дед, и прапрадедов прадед.

«Всегда — вечно высился над тайгой великий Шаман, всегда — вечно курил священную трубку. Дым его каменной трубки отгонял комара от оленя, олень топтал ягель

совсем близко от этого дыма. Но вот внизу появились люди, великий Шаман перестал курить трубку, задумался. Он думал о земле, из которой вышел, и о небе, в которое еще не ушел. Об оленях, которые были совсем близко, и о комарах, которые были совсем далеко. Он был великим, этот Шаман, и люди стремились коснуться его величия, подняться по нему над тайгой и собратьями. И мудр был народ, живший в этом краю, каждый род его и каждый его человек. Властвующий должен был подтверждать свою власть, а власть — это ум и сила. Он должен был вскарабкаться к потухшей трубке для состязаний. Сходились шаманы всех эвенкийских родов — Чильчигирский, Кицдигирский, Баргузинский. Внизу оставались слабейшие. Отныне они могли надеяться лишь на коварство и сострадание...

С великого Шамана сходили вниз голоса, звуки бубна. Вставал Баргузинский шаман — самый сильный, маска смерти отблескивала у костра.

— Иду высоко в небо, встречаю своего бога. Он говорит мне: вижу — тайга становится степью, в степи вырастает много юрт, в каждой юрте яркий костер. Люди уже не идут к шаману.

Все звонче бубен из шкуры сохатого, все острее клыки в маске смерти. Шаман корчится у огня:

— Иду глубоко в землю, встречаю своего бога. Он говорит мне: вижу — горы становятся ниже, под землей вырастают дороги, на каждой дороге яркий костер. Люди уже не идут к шаману.

Сидят у огня шаманы, пьют кровь молодого оленя, ведут разговоры о прошлом. А по крутым склонам уже поднимаются эвенки, все люди. Смотрит на них молчаливо великий Шаман».

Грустно было расставаться с Шаманом, с Белфасом, с Селиверстовым Николаем, с ребятами. Стояли, перешучивались, Матвей показывал на Змеиную горку.

— Дай только снег выпадет, пробьюсь с Уояна учить вас на лыжах, слалому. Как-никак был мастером спорта.  
— Приезжай, — обнимал их Белфас.

### Есть такой поселок Уоян

Вот уже какой час «Арбикля» идет по протоке Арбикля. В наши дни сообщение здесь лишь водой и по воздуху, прежде на Нижнеангарск отсюда ездили и лошадьми. Железная дорога заставит вспомнить все стежки-дорожки. Река становится уже, мельчает, все чаще видно желтовато-песчаное дно. Дядя Астафий и вовсе не покидает рубки. Солнце розовит горы, воздух кристален и свеж.

— На Байкале говорят: красен закат на вечер — моряку бояться нечего, — щурится на отблеск в фартватере дядя Астафий. — Протянул огонь к утру — моряку не по нутру.

Без Селиверстова Николая грустновато. Юлий вспоминает о записках Доронина, открывает на недочитанной странице клеенчатую тетрадь. «...После Харькова много воды утекло. Разговор со Стебляковым закончился тем, что завтра вылетаю в Нижнеангарск, а потом в тайгу для организации головного участка Мальшина, нацеленного на Северо-Муйский хребет... Каков Байкал, какова тайга! Сильнее и зеленое безмолвие, на сотни километров дерево, небо, вода. Красота, простота, естество. А где-то в Москве в глаза людям глядит в этот миг шедевр человечества, венец творения Леонардо — Монна Лиза, «Джоконда». Включили транзистор, кажется, Огневой пел арию Ленского:

— Паду ли я, стрелой прозаенный...

Будут здесь, в тайге, города, будут оперные театры. На берегу Байкала, на виду гор с белоснежными шапками. Что может быть величественнее этого естества, которое надо нам уберечь?»...

Скоро, скоро и Уоян, таежный поселок. Вот навстречу моторка, развернулась, полетела обратно: караван идет! Какой праздник на берегу. Русские, буряты, эвенки.

«Здесь люди, — примечает Юлий, — еще не разучились по-настоящему радоваться, плакать, смеяться». По берегу, с собаками наперегонки, бегают босяком ребятишки: «Бам, бамовцы! Бам нам строит дорогу, ур-ра!» И цепляют травинку к слепню, слепень тянет травинку к солнцу, они мчатся следом и плюх-плюх-плюх в льдистую воду, плывут, хватаются за носы юрких стружков, на которых вертятся по затону их счастливые сверстники.

Уоян для прибывших с караваном — это не просто кочковатый, пизменный берег весь в лодках местного рукоделия — стружках, подъездках, палубных баркасах, в магазинных «казанках». Это не только крыши за соснами и дорога, по которой бегут и бегут сюда люди. Уоян — это третий день ждущие их вездеход, самосвалы и бамовцы, сам начальник участка Хусейн Билалович Мальшин. Спрыгивают с «Арбикли» на берег. Матвей по-медвежьи тискает Мальшина, Мальшин тискает Матвея. Юлий ищет глазами Доронина, где Павел? Геологи уже сводят по доскам коней, завтра с утра экспедиция уйдет на реку. Правая Мама, завтра же уоянцы уплывут на лодках заготовливать сено. Но уже сегодня должны быть сняты с баржи вагончики, сегодня должны двинуться в путь. Лагерь бамовцев на берегу таежного озера Баканы. До него еще добираться тайгой, таежными речками, болотами с вечной мерзлотой.

— Где Доронин? — спрашивает Юлий у Мальшина.

— Там, — машет Мальшин куда-то вперед.

Блестят на берегу посеребренные нефтецистерны. Гриша Воронин разгружает трюм вместе со всеми бегом: завтра снова назад.

Семитонный автокран уже в деле. Матвей Селиверстов здесь, как рыба в воде: командует, куда ставить брусья, как разворачивать жилые вагончики. Суета, суета. Чуть дальше, как каменное изваяние, с сухим, пропеченным лицом сидит с удочкой эвенкийка-старуха. Не ворохнув головой, смотрит в воду старая, добывает ужин себе и

семье. Поправляет полиэтиленовый мешочек на поясе, банку из-под атлантической сельди с червями. Махнув раздраженно, уходит берегом дальше, в тайгу.

Наконец, вагончики сняты. Часть их тут же цепляют за самосвалы, самосвалы уходят в тайгу. Вечерет. Всех тянет к костру, где клокочет в дымном ведерке уха. Разогретые днем, острее пахнут теплые, смолистые сосны. Комары лезут в глаза, уши, нос. Комары в самом деле особо крупные уоянские. Отхлопываясь от них, таскают ребята уху из ведерка.

— А что, братва,— спрашивает капитан буксира, притащившего караван,— живой тот щенок? Бам который. Ну, с первой группой его привозил. В траве еще — помните? — затерялся. Искали: «Бам! Бам!»

— А что ему? Цел.

«Отчего Павел не на берегу?» — думает Юлий.

У ведра с ушницей кого только нет, полный интернационал. В разговоре у всех одно: пробиться к Мую, к порталу, оседлать перевал. Обстоятельный Мальшин достает из кармана тетрадку, объясняя Матвею, ведет карандашом:

— Представляешь грунт, сам тоннель? Диаметр проходки шесть метров, шестьдесят тонн груза на квадратный метр. Туда и обратно. Тюбинги, бетон, опалубка, а, представляешь? Сюда же добавь породопогрузочные машины, транспортные средства, бурильные станки... И все должно быть доставлено нашей дорогой.

Говорит он неспешно, обдуманно, веско, слегка отделяя слова. Не зря Хусейна Билаловича Матвей, как и все тут, называет Бывалычем. Человек он, по всему видно, спокойный, вдумчивый, даже тягучий, инженер с опытом, сто раз отмерит — один раз отрежет. Смотрит на Матвея немного с лукавинкой: мол, больно молод ко мне механиком, но ничего, всерьез принимает, рассказывает про свой участок. Костяк у него подобрался серьезный — шахтеры, семейные, тут же и молодежь. Устроились в лагере сразу солидно. Пока в палатках, да вот они и вагончики — ком-

фортабельные квартиры с электроотоплением. Жаль в Нижнеангарске оставили электростанцию. Что ж, им там виднее. Но ее бы сюда сейчас поскорее, пока можно перебросить водой.

Между тем Матвей сводит разговор к одному — состоянию техники. Техника-то? Хорошо помог главный механик Доронин, все сейчас работает, как часы. Без Доронина не начали бы просеку на портал... С ревом у костра осаживается вездеход, Матвей тут же бросается проверять мотор, ходовую. Ребята встают, идут подцеплять вагончик, пока все не будет доставлено в лагерь, на озеро Баканы, никто из бригады спать этой ночью не будет.

Последний домик поселка. Слева, у сарайчика, лошадь стоит над дымокурором из навоза, березовых гнилушек и чаги. Справа тайга. Паренек поддерживает шестом провод высоковольтной — вагончик высок, на колесах. А теперь вперед, в непроглядную ночь, темь сжимает дорогу, давит соснами, глухой неизвестью. Потянулось болото — угрюмое, черное. Черная волна катится перед фарами, вездеход за волной уже не успевает, она обгоняет, валом идет впереди. Вдруг вездеход просел на ухабе, поплыл, гусеницы жестко заколотили о дно.

— Вечная мерзлота, — трогает Мальшин пальцем очки. — Спорили, как наладить дорогу: гатить болото или верхний слой счистить бульдозером? Решили, бульдозером, так быстрее... И вечный лед пригодился. Устроили в лагере холодильник, храним продукты.

— Как в лучших домах Лондона и Парижа, — смеется Матвей.

Он опять оживлен, глаза веселы. Сверкнуло и перекрыло дорогу что-то светлое — таежная речка. Мост шатается, ходуном ходит, наконец, позади. На сухом ожидают машины. Здесь место для перекура, кто-то прикуривает сигарету от сигареты, кто-то, сбегав за сосны, пускает по кругу бачок с ледяной болотной водой. Юлий с Матвеем пересаживаются в самосвал — вездеход уйдет снова назад.

Впервые за столько ночей они с Матвеем спали на простыне, под одеялом и, главное, без комаров. Хозяин простынной, просторной палатки Геннадий Четвертаков — бригадир, пожалуй, немного постарше Матвея.

Утром Юлий первым делом спросил о Доронине «В поселок укатил,— односложно ответил Геннадий.— Связался с колхозом, трактора ремонтировать помогает... Да он к вам чуть свет заглядывал, а вы храпите.., как богатыри. Он и уехал, к вечеру обещал подскочить».

Юлий хватился доронинской тетрадки — сгнула, пет! Юлия даже в пот бросило.

— Ничего,— успокаивал его откуда-то взявшийся Мальшин,— в тайге ничего не пропадет. Тайга как квартира: вся на учете. Квадраты, участки. Один тут у нас ключи от машины забыл — кому брать? Медведям? Нашел.

Появился Четвертаков, заворчал:

— У Макарыча в палатке до утра на гитаре играли. И пели. А теперь не поднимешь и домкратом.

— Ну-ну, пусть поспят,— ответил Мальшин.— На болоте допоздна прокрутились.

Поблескивая свежей краской, стоят поодаль вагончики. Пока что весь лагерь — это пять больших палаток, под навесами кухня, кузня, у самого озера из слежек баня. На сосне, под куском шифера, голубой ящичек для заметок и писем, тут же Доска соревнования лесорубовских звеньев. С кухни веет чем-то острым и вкусным. Юлий заходит по колено в озеро умываться, что-то щекочет ноги, просто стоять невозможно. Это рыбешка — сурога — облепила, хватает за ноги, за волосинки. А может, и не с Тазов, не с Куморы тот самый «уникум», рыжебородый? По лагерю, словно пулеметные ленты, развешаны снизки сушеной и вяленой рыбы, хотя до пива отсюда тысячи километров. А женщины уже моют окна в вагончиках — в медпункте и прачечной.

Юлий ходит по лагерю, не знает, куда себя деть. Даже завидно смотреть за Селиверстовым. Матвей бегаёт, хлопот

чет по технической линии. Садится за трелевочники, бульдозеры, подлезает под самосвалы. Задевает одного шофера, подтрунивает над другим: «На корове тебе ездить, а не на современном ЗИЛе». Запалившись, появляется у штабного вагончика:

— Завтра, Бывалыч, самосвал надо оставить,— посмотрю. Потом вездеход, бульдозер. Техника новая, сделаем профилактику. Зима впереди, однако. К перевалам путь долог.

— Да Доронин же все перещупал,— усмехается Мальшин.

— То Доронин, а то мы сами, нам на ней идти до портала.

Вездеход и тракторы отправляются за остальными вагончиками. Через час самосвал возвращается с неприятной вестью: мост через таежную речку не выдержал под бульдозером, рухнул. Мальшин с минуту стоит, как вкопанный, собирается с мыслями, хмурится: поперся на мост, можно было и бродом. Но без переправы нельзя, нельзя подрывать доверие местного населения. Мост строили люди, мост должен стоять.

— Аврал,— командует Мальшин и формирует бригаду во главе с Селиверстовым.

Юлий едва успел вскочить в кузов, как ЗИЛ рванулся вперед. Десант проносится мимо вертолетной площадки. Она уже подготовлена для приема машин: сосны растащили, корчуют пни. Посредине выложен из березовых слегек квадрат — место посадки. Высоко на сосне плещется белое — флаг посадки. Значит, аэродром существует, Баканы связаны с миром. ЗИЛ пылит горелой тайгой. Голая, черно-белая, снизу доверху все мертво.

— Скоро получим премию,— вытирает Мальшин платком мокрую шею.— Тоже аврал был, тушили тайгу... Вы ребята, давайте на мост, а мы глянем просеку. Может, со мной? — обрацается Мальшин к Юлию.

Юлий соскакивает на землю. Двинулись напрямик, по багульнику. Идет Мальшин тайгой и удивляется, как летит время. Кажется, вчера высадились на Уояне, искали путь на таежное озеро. Принимали трассу от проектировщиков, заодно стремились найти возможность будущей дороге обойти болота. Устали, сидели, кусок в горло не лезет, когда навстречу им вышел местный лесничий:

— Тайга горит! С каланчи видно: вон там движется облачко.

Кинулись к вездеходу, десять человек на борт и — вперед. В тайге мох-сушняк стелется по земле и по дереву; лето жаркое, мох, что порох. Низовик шел шнурками, змеился. Стали сбивать огонь ветками не дали подняться, загнали в болото. Когда пришел пожарный вертолет и посыпались на парашютах десантники, все уже было кончено. Стояли перед десантниками усталые, прокопченные, как селедки. Записывали отличившихся...

Тогда, после пожара, и познакомился он, Мальшин, с местным начальством, завел с таежными старожилками добрые отношения. Доронин — мудрый мужик — то же самое понял. Время, конечно, горячее, но урвал денек и для колхоза: у них там поломался трелевочный. Нельзя БАМу без местной власти, без народа, никак нельзя.

Шагают Юлий с Мальшиным просекой до развилки. Три дороги отсюда, как в сказке: назад — на Кумору, налево — на Уоян и вперед — на Северо-Муйский хребет, к порталу. На развилке встретили Геннадия Четвертакова, бригадира, пошли дальше втроем — на Кумору. На Белфаса. Идет Мальшин, считает пикеты — через каждые сто метров столбы. Аккуратная просека. Деревья валят направо — налево, сучья в стороны, ловко это у них получается. Опытные вальщики, чтобы стаскивать лес, чекера от снабженцев ждут — дожидаются, а ракитинцы каждое бревнышко тросом в сторону, так быстрее. Звеньевой у них — шахтер, ухватка рабочая. И вроде не гонит, а прошел больше других.

— Здорово, тулячок-землячок, — подходит к Ракитину Геннадий Четвертаков.

Ракитин разгибается, отставляет в сторону пилу «Дружба», утирается полой бамовской куртки. Комары взлетают с мокрого лба, звонко воют над ухом, над глазами, над шеей.

— Сделаешь сегодня метров шестьсот? — подходит Мальшин.

Ракитин разводит руками. Подошли остальные. Закурили. Помолчали. И сделали в тот день до обеда триста и пятьсот после...

Мальшин увлекает Юлия на другую уоянскую просеку. Шагает, окидывает все хозяйским оком, крестьянски спокойный, неспешный. Так, на ветке сурога сушеная — был перекур. Костер и картошка печеная, куски хлеба — обедали. Плохо, за столько километров сюда хлеб везут. Молодежь, не знает цены хлебу. И на просеке не везде хорошо. Мелкие деревья, кустарник сгребали навалом. Пилят, гонят.

— Тайгу обижать нельзя, — поворачивается Мальшин к Геннадию Четвертакову. — Лесники по головке нас не поглядят.

— Темпы, Бывалыч, темпы. Скорее на перевал, — приостанавливается бригадир. — А через год эти деревья сгниют, превратятся в труху, дороги везде так делают.

— Мы не просто просеки рубим, — приостанавливаясь, смотрит на него Мальшин, — мы культуру несем. Недоволен звеном Башарина, недоволен...

В этом месте притрассовая дорога и магистраль почти сходятся. Башарин тут на высоте, держит марку: валит сосны не на пикеты изыскателей, на будущий БАМ, а налево — себе на просеку, на притрассовую дорогу. Придут после ребята из «Бамстройпути», поведут свою просеку, не будет повода сказать, эх вы, тоннельщики...

— Видал, «сквозняк», наших! — отходит душою Мальшин. — Надо, Геннадий, опыт Ракитина распростра-

нить. Первый итог подведем: как сработали, где какие изъяны?

Слушает Юлий их, понимает: у самого отец был шахтером. «Сквозняк» — так в шахте зовут бригадиров, следящих за планом и обеспечением всех смен в забое. Никак не отвыкнут ребята, словечки свои так и сыплют: просека — по-ихнему лава, вальщик — проходчик, профсоюзы — шахтовый комитет...

Идут дальше по голубике, малине, бруснике, поги утопают во мхе, в толстом слое лежалой хвои.

— Так, говоришь, великая стройка спит все мелкое? — смотрит, сузив глаза, Мальшиц на Четвертакова и уходит в сторону, к разбитой грозю сосне. Стоит, хмурится. Дела хозяйственные — большие и мелкие — не дают покою Бывалычу... Почему перестал летать самолет в Уоян? Говорят, опасается летчик, аэродром не укатан. А кто должен укатывать? БАМ? Старика из колхоза посылают на Баканы. Научить нас рыбу ловить или, разведав, забрать рыбку себе на ферму песцам?.. Да нет же, здесь люди открытые. Если что делают, то от души. С другой меркой к ним не подойдешь. Край необъятный, привольный, народ — широченный, живой, потомки декабристов, политических ссыльных. Да ведь и наши тоннельщики — ребята что надо.

В полдень выходят к поселку. В сельсовете как раз собрались сам голова поселка Афанасий Ильич Тулбуконов, председатель колхоза Лепин, начальник метеостанции и еще кое-кто. Послали в гараж за Дорониным. Земля уоянская — земля Чильчигирского рода — древняя, седая, как шерсть на рогах вожака-олenea, который уж и не помнит часа рождения ни своего, ни этих людей, ни поселка. А посредине поселка, как и везде по стране, по всему Забайкалью, братская могила — Агдыреевы, Тулбуконовы, Козулины, Максаровы, Алексеевы. Они — эвенки и русские, сибиряки, охотники-снайперы — лежат навечно под Орлом и Киевом, под Варшавой и всегда здесь,

дома, на виду синих гор и зеленой тайги, на глазах отца-матери, самой древней в селении бабки Перепеты Павловны, перед взором вожака-олenea, который уж и не помнит часа рождения, ни своего, ни этих людей, ни поселка.

— Шумит БАМ, однако,— вздыхает Афанасий Ильич.— Зверь, однако, уйдет.— И прищуривается, целится в Малышина взглядом:— Уведу семью далеко, есть еще глухие места. Сыновья растут, научу добывать зверя. Семи лет стрелял из берданы.

— Знаю, знаю,— говорит ему Малышин.— Ты охотник здесь лучший, ружья пристреливаешь. А вот кем там у тебя будут дочери?

— Э-э,— поднимает и грозит пальцем шутливо Малышину Тулбуконов:— Мудрый ты человек, да. Одна дочь, однако, учится на врача, другая хочет стать летчицей. От жизни, однако, не убежишь.

Юлий с интересом рассматривает местное начальство. Тулбуконов — эвенк. Лицо его крупно, округло и смугловато, усы иссиня-черны, тело тоже округло и крепко. Рядом с ним Лепин, председатель колхоза, кажется еще легче, моложе, пожалуй, сверстник Юлию. Худощав, темнорус, мягок в разговоре, резок в движенях. Заботы предсeдательские — кто их только поймет. Все село, все хозяйство на плечах, да еще какое село — отдаленное. Бывает, не хватит бензина — самолетом вези; как тонна — так девяносто рублей за перевозку. Центнер цемента через Нижнеангарск втрое против обычной цены. Какой бюджет устоит? А сделают дорогу, пойдет груз на Улан-Удэ по Баргузинскому тракту, вздохнется полегче. Пахнул свежак. Соображать надо, как приспособить хозяйство, чем помочь бамовцам. Ребятам давай молоко, давай свежие овощи, мясо, рыбу. Зверь и рыба кругом, только надо добыть. У бамовцев есть лицензии, у колхоза — охотники. Сам бы взялся, сам бы ребят обучил, да некогда. Помогать БАМу будет Ержин, охотник-эвенк. Знает каждую

тропку, проточку и складочку, смотрит глазами в глаза воды и тайги...

Лепин — подтянут, в сером костюме — ведет Юлия к гаражу по поселку, к Дорониному.

— Время, однако, крепит нас, — показывает председатель новые улицы: — Толсты бревна в избах, не сравнить с теми, первыми. Тогда кругляк возили на лошадях, теперь трактором.

— Трудно? — заглядывает в глаза ему Юлий.

— Да как тебе сказать, — приостанавливается Лепин. — Всяко бывает. Да мы, таежные, не из слабых. А вообще-то народ тут хороший, добрый. Изюбря добыл — с соседом поделится, тайменя изловил — всех зовет на уху. Такие они, наши «зверки»...

— Как это?

— А-а, — смеется Лепин, — это я к слову. Уоянских зовут в районе «зверками», куморских — «ондатрами», верхнезаимских — «матерыми». Спросишь верхнезаимского: «Какого лinya добыл?» — «О, матерого!» Матерый да матерый...

Зашли по пути в правленье колхоза. Посмотрев на Лепина в деле, Юлий смог по достоинству оценить заботы и хлопоты председателя. На сенокос людей надо отправить, а кого в какую бригаду включить — морока. На зиму продукты на оленью ферму надо заводить, а где взять вертолет — морока. Охотников в тайгу снарядить, баркасы для ловли налима отремонтировать; геологам дай моторку, бамовцам дай молока, овощей, обо всем наперед думай. В Делакорах — на брошенной заимке — пастухи живут, теплицы устроили. Лук, капуста, даже огурцы, помидоры у них вызревают под пленкой. Хорош чернозем в Делакорах, хорош огород для бамовцев...

В гараже Юлий увидел, наконец, Доронина. Вместе с двумя ребятами Павел склонился над дизелем, рукава у него закатаны, руки по локти в солярке.

— Юлька! — кивнулся он навстречу. — Юлий Цезарь, чертяка.

— Ну вот я тебя и нашел, — улыбнулся Юлий и тут же нахмурился. — А тетрадку твою просили передать... Ну, клеенчатую, записки, что ли... посеял. И уже где-то здесь, в тайге.

— Ладно, разберемся, — махнул рукой Павел.

— Ну я бегу жарить тайменя, — рассмеялся их сверстник Лепин.

## Речка Завернюка

Звонили из Нижнеангарска: срочно требовали Доронина в штаб. Прямо из квартиры председателя прошли на аэродром, ждали вертолет, который должен был доставить мальшинскому участку кое-какие срочные грузы.

— Вот что, Юлий, — говорил ему Павел, главный механик, — здесь тебе делать нечего. Селиверстова Матвея я знаю, толковый парень. Да и Бывалыч тут... Я тебя направлю на другой головной участок — на Байкальский, к Панину. Там механиком один старичок... Туда-сюда, среднее образование. А техника какая идет? Не тянет. Пусть у тебя будет помощником, ничего, человек он честный... Так со мной летишь? Или, может, останешься, поглядишь, как оно тут у людей? Ну, давай-давай. Жду, в общем, в Нижнеангарске...

Вертолет унес Доронина вниз по речной долине, к Байкалу, а Юлий пошел искать Мальшина. Теперь, черт возьми, он чувствовал себя хорошо: не какой-нибудь турист, получил назначение механиком, и не куда-нибудь — на головной участок.

Возвратились вместе с Мальшиным в лагерь. Под вагончиком лежит-полеживает щенок — желтоватый, пузатенький, с толстыми лапами и коротким хвостом. Тот самый.

— Бам! — зовет его Четвертаков. Песик и ухом не ведет.

— Не оправдывает имени бамовца,— шутит Мальшин.— Ленив. Другие сами себе промышляют, а этому каждый норовит кусочек получше подкинуть.

Мальшин проходит по лагерю. Поднимает гвоздь, поправляет Доску показателей. «Думали, небось, вместе с Четвертаковым,— примечает все Макогонов.— Ишь, как разграфлено, размечено наперед: «Наряд — задание на смену», «фактически», «с начала месяца», «за квартал», «за год», «занимаемое место».

Да, вагончики — это вещь, это быт. Верно говорит Мальшин, хватит жить кое-как, называть такое житье романтикой. Средства государством брошены на людей и технику, так и отдача должна быть. А если человек кое-как ночь переломался, утром работу не спросишь.

— А где Завернюк? — подходит к Мальшину Четвертаков.

— Где! — смотрит Мальшин строго на бригадира. — Где ему быть — на мосту! Не пошлю же я его мусор на вертолетной площадке сгребать. Человеку по его темпераменту бревна надо ворочать. Отправляйся на мост, я подъеду.

Макогонов увязывается с Четвертаковым. На зилловском самосвале пролетают уже накатанным путем к болоту, здесь на кромке суши сбиты из березовых слежек лавочки, обозначено место для курения. Зеленеют вагончики, доставленные с «того берега». Четвертаков подает Юлию клесчатую тетрадку. Та самая. Где нашли? Да, на этой же лавочке. Ночью, наверно, выскочила, когда пересаживались, а ребята нашли. Вот уж действительно все в тайге на виду.

В ожидании вездехода Юлий вертит страницы. «Смотрю на Байкал у пирса и вспоминаю, как встала печать в защиту Байкала. Шумели крайние: прекратить сплав по рекам, не вести валку леса. Там — я тоже был крайним,

здесь — на это смотрю реальнее, глубже. Ведь стареет, падает и гниет в тайге дерево. Его надо взять. Вдоль того же Баргузина, в верховье, проложили грузосборочную дорогу, лес везут лесовозами. В устьях бревна сведут в «сигары», отбуксируют к лесопильным заводам. На примере Байкала Человек может показать себя лучше в своих отношениях с Природой».

А вот и вездеход. Русая голова водителя торчит из люка, словно из танка.

— Грузись, братва! — командует Четвертаков и первым взмахивает в кабину.

«Как взводный он просто незаменим, а каков бригадир?» Вездеход — так вот и ночью — гонит перед собой гибкий черный вал, о лед кладают гусеницы, но днем болото кажется обжитее, не так уж угрюмо, просто чахлые березки, ольха и крушина, просто она и ядовито-зеленые мари, редко-редко сосна. Вот и речка-безымянка. Выпрыгнула, пересекла болотную жижу дороги. Мост обвалил с этого края. А на том боку — жилые вагончики, средний трактор ДТ-75, тяжелый — Т-100. Этот «сотка» и завалил мост.

Мост с виду мощен, из необхватного сосняка, и не то бы выдержал, но не на сваях, некуда забивать сваи, на дне вечная мерзлота. Бревна расшиты бревнами, расшивы поставлены на мерзлоту, три звена выпало. Над ними всю и шуруют ребята.

— Принимай подкрепление! — кричит Четвертаков Матвею.

Вновь прибывшие спрыгивают с вездехода прямо в жижу, стоят, переминаются.

— Кто-то ломает, а тебе делай. А здесь, между прочим, вечная мерзлота, — ворчит за спинами голос.

— Под фанфары сюда правилось ехать? — бросает ему Четвертаков. — Быстренько тебе небо с овчинку...

— Да я что, я как все.

— А за всех не расписывайся, фанфарист! — рывкнет на него Четвертаков и берет в руки топор, идет к свае.

Нет, что ни говори, он, Юлий, теперь не турист. Свой человек. Механик. Садится в вездеход, опробовав рычаги, высовывается из люка, оглядывает окрестность. Берега низки и топки, кое-где по унылому однообразию одинокие сосны. Звено Завернюка налаживает дощатый настил, оседлав мост, начинает поднимать упавшие в воду расшивы, растаскивать бревна. Матвей и Четвертаков с ппми, все будет в порядке. Юлий закрывает люк, вездеход с ходу врезается в воду, волна ложится на ветровое стекло, подхватывает машину, машина плывет. Ногами, спиною, затылком Юлий чувствует, как вездеход нащупывает дно, задирает нос и, взревев, вымахивает на крутой берег, вагончик вылетает следом. Вода с водорослями изливается через окна и двери, а вездеход разворачивается за вторым вагончиком. За вездеходом ринулись в речку бульдозеры.

— У нас техника теперь вся водоплавающая, — смеется на всю речку гигант Завернюк.

А на мосту все кипит. Смех, прибаутки, остроты перебиваются перестуком топоров, редким уханьем лома. Завернюк орудует им, словно спичкой. Ходуном ходят плечи, все тяжелое, крупное тело.

— Сынок, отойди, а то сдую, — успеваает он бросить молоденькому, белокрысому, щуплому пареньку — водителю ЗИЛа, как тот, поскользнувшись и попытавшись ухватиться за доску, вместе с доской бултыхается в речку. Лишенный точки опоры, Завернюк делает отчаянные усилия сохранить равновесие, но не удерживается и грохается в волну вслед за ломом.

— Тащи Макарыча! — озорно кричат с берега. — А то речка вышла из берегов.

Но Макарыч уже освоился в речке. Стоя по горло в воде, командует, куда какое заводить бревно, как крепить. Всерьез уже, властно. Матвей носится по берегу — то командует, то за топор хватается сам. Валят ближние сос-

пы, трелевочником-«сороковкой» подвозят к берегу. Тут же разделяют стволы, спивают из бревен быки-расшивы, спускают на воду. Заплывая вперед, Завернюк ведет расшиву на место. Упершись в дно, подставляет плечо, поднимает расшиву, тужится, глаза паливаются кровью. Ребята, как могут, пытаются помочь с моста, с плота, с берега, но не дотягиваются. В воду прыгает Четвертаков, потом молодой и красивый бурят, ростом под стать самому Завернюку, решительно шагает к Макарычу.

Расшива медленно уходит на место, становится на дно, на вечную мерзлоту. Губы у ребят посинели, плохо слушаются руки. Разогреваются прибаутками, шутками и движением, движением. Появился Мальшин — раскрасневшийся, с палочкой. Держит очки на отлете, смотрит, щурясь, на мост.

— Откуда вы? — подходит к нему Матвей.

— А, — махнул в сторону болот Мальшин, — оттуда. С кочки на кочку. Ну, и как тут у вас?.. Эй, Макарыч! Баньку приказал истопить, поскорей управляйтесь, пона-рису.

А Юлий все таскает бродом вагончики. Они тянутся, плывут за вездеходом; грязь залепляет окна, остается на стенках разводьями, в болоте колеса не проворачиваются. «Скоро-скоро закончишь, голубчик, свой путь, — втаскивает Юлий вагончик на сухое место, на холм. — Станешь в лагере на таежном озере Баканы».

«Водолазы» вылезают из воды курнуть. С сапог и штанов катится вода. Поеживаясь, Четвертаков выкручивает штаны.

— Что это у тебя под глазом, а, бригадир? — задевает его Макарыч. — Никак сивяк?

— Грязь, наверно, — пожимает плечами Четвертаков.

— Сам на себе комара бил, — смеется бурят Володя Домринов. — Березовой слегой, как медведь.

— Комар — да! — замечает Завернюк. — Штучка ма-

ленькая, а уважения требует... Куда-то делись, ушли на свой аэродром. Прилетят, в три смены работают.

— Мошкá скоро появится,— сообщает, хлопая себя по мокрым плечам, Володя Домринов.— И до самого снега. От той никуда не скроешься...

— С праздником вас, братцы,— подходит Мальшин.

— С каким, спрашивается? — наконец, попадает ногой в штанину Четвертаков.

— Макарыч заслужил сегодня увольнительную в Уоян.

— А меня, Макарыч, возьмешь с собой? — подлаживается Матвей к Завернюку.

— Н-ну! Я же без вас, Матвей Сергееч, как иголка без нитки.

И опять «водолазы» в реке. Стреляет между пролетами рыба. Мальшин ходит, заглядывает под настил, советуется с Селиверстовым: «А что, если пригнать автокран и автокраном?» — «И рыбу ковшом,— острит Матвей и добавляет серьезно: — Пока пригоним, все будет сделано». И верно. «Водолазы» ставят уже второй пролет, третий. Скручивают бревна проволокой, кладут сверху дощатый настил. Вовсе окоченев, жмутся к выхлопной трубе вездехода. Завернюк выливает воду из кирзачей, кто-то дает ему сухую рубашку, кто-то носки...

Техника вся переправлена. Подходит «сотка»-бульдозер, останавливается у багульника. Тракторист виновато стоит в стороне. «Ладно, ладно,— подзывает, шлепает его по плечу Завернюк.— И на старуху бывает проруха». Завернюк хлопает в последний раз топором, распрямляется и, вздохнув глубоко и со свистом, делает Мальшину под козырек:

— Так что, Бывалыч, порядок. Мост готов. Как корабль. Бутылку шампанского о борт и на воду.

— Вон ему... этому горе-механизатору... объяви благодарность, дал возможность тебе отличиться,— по-доброму щурится на Макарыча Мальшин и серьезно, оглядывает-

ся на болота, на речку, тайгу, машет в сторону перевала: — Впереди вон еще сколько речек. Эта первая, безымянка. Звену Завернюка благодарность, ребята. Самому Завернюку... водолазу... Эта речка запомнится нам — речка Завернюка.

«Водолазов» сажают в кабину, в тепло. Юлий везет в лагерь их с ветерком, как на такси. «Водолазам» сегодня почет: ребята в бане уступают местечко у огненной бочки, повар первым наливает горячие щи. А в холодных болотах стоит, белеет щепой, соединяет берега бревенчатый мост. И течет под ним речка по дну с вечной мерзлотой, речка Завернюка...

Сидят после ужина на берегу озера Баканы Мальшин с Матвеем, Юлий. Вода плещет у ног, белки сыплют с сосен за шиворот сухие иголки. Ночь опустилась на лагерь. Люди идут из столовой, чудом не ткаются носом в стволы. Позарез нужна станция: свет, работа приборов, тепло. Юлий ложится на спину, закрывает глаза. Как тепла сейчас напоенная июлем земля сибирская, как мягка она, покрытая за века хвоей, людскими хлопотами и надеждами. Прав, конечно, Николай Селиверстов: каждое поколение закрепляет себя в делах.

Сто десять километров речек, мостов, болот, горных хребтов. Притрассовая автодорога, железная магистраль — станции Уоян, Муякан. Вот Мальшин отрывается от бумаг, глядит за окно в ночную тайгу. Что видит он в ней и кого? Панина, рвущегося со своими ребятами к Байкальскому хребту? Или себя на портале у Северо-Муя? Есть ли еще такие тоннели в стране? По длине, по категории трудности? Уже сейчас инженер Мальшин должен знать, как к нему подступиться...

Утром, как обычно в половине седьмого, лагерь уже на ногах. Толпятся у Доски показателей.

— Первому слово — первому на перевале, — шутит «сквозняк» Четвертаков.

В озерные берега плещутся волны, над тайгой делает круг вертолет.

— Вперед, за орденами! — усмехнулся Завернюк и, кинув на плечо пилу «Дружба», затопал в тайгу. Следом двинулись завернюковцы.

В полдень в лагере появляется уоянский председатель Лепин — легок на ногу, на поясе охотничий нож.

— Ну, как вы тут? — подает руку он всем по очереди, Юлия дружески хлопает по плечу. — Вот пришел посмотреть, однако.

— Здравствуйте-здравствуйте, Владимир Матвеевич, — спешит из глубин лагеря Мальшин.

— Жара сегодня, уф! — вытирает Лепин шею. — На нашей метеостанции сообщили, на почве 53 жары по Цельсию. А зимой бывает минус 53... Но ничего, мороз здесь стоячий, сухой.

— Жара прямо давит, — держится за голову Матвей, — прямо давит.

— Жара хорошо, однако, оленей пересчитаем, — присаживается на пенек Лепин. — В жару слепень в горы идет, олень жметя к дымокуру, боится слепень в нос попадет. Тут стада и считай. Жара — да-а... В первое время и я зайду, бывало, в избу, белые мухи перед глазами. А потом понял: разреженный воздух, высокогорье. Ничего, привык... Ну, а как у вас с хлебом?

— Все нормально, привезли из пекарни.

— Ержин к вам собирается. Охотник. Эвенк. Молчаливый, но дельный. Научит кой-чему... Надо все знать, ко всему приспособиться. Хариус и тот берется по-разному, например, «на кораблик». Пускаешь по течению дощечку, а сам в засаде, рыба хват, хват за дощечку — тащи-и...

Поговорив маленько, все начинают собираться. Мальшину надо на просеку, председателю — на поселковый сход, Матвею — к машинам. Вот и пришло ему, Юлию, время возвращаться к Байкалу, к себе на участок, покидать лагерь на таежном озере Баканы. Подходит Геннадий

Четвертаков, подает жестковатую руку стесняясь улыбки:

— Привет Пете, Петру Четвертакову. Брат мой родной там, у Панина... Скажите, что все у меня, мол, в порядке.

### „Култук“ над Нижнеангарском

В Уояне Юлию подыскали моторку. Она мчалась, словно такси, Верхняя раскручивалась в обратном порядке. Горный хребет справа напоминал по контуру лежащего лицом в небо спящего исполина-богатыря, другой хребет — красивую, тоже спящую женщину. Швелились веселые мысли: БАМ кого хочешь заставит проснуться.

В Куморе Юлий ожидал вертолет. Было ясно, тепло, но над Шаманом, курясь, висела беловатая дымка. Юлий вспомнил Белфаса, Колю Селиверстова, всех ребят, их шутки, приметы, «видения». Где-то теперь ведут они просеку? Придут ли первыми к середине пути в сторону Мальшина, на Уоян?

Площадка была просторная, травяная. От ромашек тянуло сильным, аптекарским запахом, даже ломило виски. «Надо было захватить с собой книжицу», — перевернулся Юлий на другой бок и вспомнил о доронинских записях, начал читать.

«На мыс Курлы высаживаем десант. Надо скорее пробиться к 90-му пикету, откуда начнем путь к порталу. А это как-никак девяносто горно-таежных километров вдоль реки Тья... Здесь видишь новые срезы жизни, по-повому оцениваешь себя. Герои Джека Лондона сильны, мужественны. Но что вело их вперед. Любовь к жизни, личное преуспевание? Да, сюда тоже едут сильные, мужественные. Байкал дает нам ощущение Родины».

— А ведь это он точно: новые срезы, ощущение Родины, — сказал себе Юлий, сопоставив с прочитанным все, что сам успел в последнее время увидеть и пережить.

Когда вертолет уже шел над Куморой, из огромного

створа между хребтами рухнул вдруг ураган. Вертолет, словно наткнулся на стену, остановился. Медленно пробились верхнеангарской долиной к Байкалу.

В Нижнеангарске сумрачно и прохладно. Байкал показал свой норю: объявился первый «култук». Он разогнался во всю длину моря с юга на север, поднял вверх холодные воды, растрепал лодки, прошелся по нижнеангарским улицам: кое-где зазвенело стекло, выдуло застоялый воздух...

В штабе отряда Макогонов сразу же получил назначение механиком к Панину, Доронин его не забыл. И опять Павла нет: улетел самолетом к Белфасу.

В окно видно, как к пирсу швартуется «Украина», опять прибуксировала «401-ю». Звонят телефоны, идут люди. Но вот, наконец, и начальник Байкальского участка Панин. Суховат и порывист, смотрит прямо в глаза. Он в коричневом плаще, в светлой фуражке и рыбацких, с отворотами, сапогах.

— Все кадры к себе переманил, а, Ильич? — мягко упрекают его в отделе кадров. — А что останется Мальшину?

— Да я разве против? — лицо Панина подвижно, на лбу бусинки пота. — Только не разлучайте, прошу, моих экскаваторщиков. Это же интересно! Один — с орденом, другой — первые места держал на прежнем месте: настоящее соревнование.

Утром Юлий ждет у отрядной конторы Панина, чтобы ехать на участок. Из распадка выволакивается сизая борода, завивается над поселком, провисает едучим туманом. У пристани старые знакомые, еще по Усть-Баргузину, дружки-бульдозеристы, только что прибыли «Украиной». Совсем скоро им расставаться: одному — в болота к Мальшину, другому — к Панину в горы.

Вездеход легко несет на «пыхтун». Где-то там Петр Четвертаков, которому он, Юлий, везет привет из болот Уояна? Миновали падь Сухой Молокан, форсировали Мок-

рый Молокан. Дорога резко пошла на подъем, сделалась каменистой. Гусеницы зависают, скрежещут о вывернутые булыги. Водителю приходится нести машину чуть ли не на руках. Водитель у Панина шустрый парнишка, недавно демобилизовался.

— Кому служишь? — наклоняясь, кричит ему в ухо Панип.

— Родине.

— Ясно, Родине, тоннельному отряду. И еще, вездеходу. А мы бьем его по камням. Завтра присмотри что-нибудь поскромнее.

Каждый раз, когда гусеница цепляет за камень, Юлий даже приподнимается: это же не что-нибудь — техника! Габариты в люк не видны, дорога сузилась, петляет, но упорно тянется на «пыхтун», на Курлы.

Впереди осыпь. Темно-серым щебнем с горы перекрыло дорогу. Обомшелые гранитные глыбы, ледяная под ними вода. И скалы, скалы кругом, красота. Идет Панин тайгой, колыхнет ветку багульника — откроет осыпанный иголками гриб, наклонит ломкий побег малины — ссыплет в ладонь спелых ягод. Юлий поспешает за ним, едва успевает взглянуть на серые скалы кое-где в красновато-сосновых стволах, изложить на ходу проект улучшения этой части дороги — засыпать глыбы дармовым щебнем. Едва успевает хлебнуть из ключа и жевнуть «кислицы» — молодой, нежно-зеленый побег лиственницы. Панин приостанавливается, показывает палочкой куда-то вперед: «Во-он на той стороне, за кедрами, изыскатели разметили дорогу. И чего накрутили: восемь раз туда-сюда через речку на каких-нибудь пяти километрах, это — восемь мостов». — «Да-да, — сплевывает Юлий «кислицу», — ничего себе дорожка к Даванскому перевалу. И туда же, только с западной стороны, движутся ребята со Звездного».

Поднялись на «пыхтун». Здесь работает экскаватор «Воронежец». Скатый острыми скалами, затаеженный и залитый солнцем распадок опускается вниз, там, внизу,

плотная, бело-кисельная гладь. Но вот все задвигалось, разошлось — синим, ярким до боли брызнул Байкал.

— Красота, наша радость, — смеется экскаваторщик.

Жилем у ребят служит зеленый вагончик, тот самый, который сняли с «211-й» тогда в Нижнеангарске.

— Байкал — естественный холодильник, — оживает Панин. — Заметили парадокс? Чем выше в горы, тем чаще встречаются теплолюбивые растения: малина, смородина.

По распадку поднимается ЛЭП, идет от нижнеангарской электростанции и дальше, на Курлы, на Байкальское. Скоро-скоро сюда через хребет прорвутся лэповские столбы из Усть-Илима...

Экскаваторщикам вчера попала вечная мерзлота. Даже себе не поверили — мерзлота! Ковш грызет — не берет, экскаватор съезжает. Объясняя все это, парень трогает снизу ладонью свою шкиперскую бородку.

— Как зовут тебя? — спрашивает Макогонов.

— Вам как имя — по документам?

— Все его Иван да Иван, — подходит Панин, смеясь. — Глянул я сам в паспорт: Борис, Борис Русаков. Но все уже привыкли: Иван!

— В армии перекрестили, — темнеет лицом Русаков. — Был у меня дружок на границе, теперь его нет...

Посерьезнев, все смотрят на юг, на восток — за Байкал, куда уйдет будущая магистраль и куда сейчас высоко в небе тянет белый шлейф истребитель.

Панин оглядывает непредвиденное препятствие. Пробурили шурф глубиной метра на полтора, а скалу пришлось срезать на шесть — девять метров, мерзлота и обнаружилась. Даже при двух сменах месяца на четыре работы, а Даван ждать не будет. «Что будем делать, механик?» — поворачивается к Юлию Панин. — «Взрывать?» — пожимает Юлий плечами. — «Верно, будем взрывать». Подрезанный кедр лежит под губастым башмаком экскаватора. Шишка синевато-сизая, орехи молочно-восковой спелости. Кедру не повезло, дорога прошла через него.

Перед носом вьется мошкá, Борис-Иван похлопывает себя по лбу:

— Вчера работаю, смотрю: ковш берет — не берет. Ну, думаю, либо устал я. Утром глянул — сверкает, кристаллы! Геологи были, сказали: золотишко должно быть. Шутили, однако, чтобы рьяней копали.

Юлий садится за рычаги: левый поворот, правый поворот, ковшом вниз, ковшом вверх. Все в порядке, да и что ей, техника новая. Переводит дух, садится в сторонке, смотрит, как работает Борис-Иван. Экскаватор съезжает по талому, ребята подкладывают колодины под башмаки, снимают породу ковшом, где поддается, обнаруживают мерзлоту. Эхо мотора гуляет в горах, по тайге. Выбегает пятнистая лайка — значит, где-то поблизости ходит охотник. Пижма качает крупной ярко-желтой метелкой, охотник глядит из тайги. У Панина на ладони рябой камешек — зеленоватое с черным, крапчатый, как грачиное яйцо. Ясное дело, — гранит. С блеском слюды. Такой, наверно, и впусти Давапа.

— Не все-то, ребята, срезайте, — подходит Панин к экскаваторщикам. — Будет подтаивать — и начнет делать просадку. Я тут разговаривал с местными, говорят, лучше подсыпать. Щебня вон сколько — горы.

Вот на вершине и просека, первые километры. Так близко соседние вершины, с них тянет запахом снега. Под лиственницей разбит небольшой лагерь: два вагончика, трелевочник и бульдозер. Жук-стригун сидит на лиственнице и стрижет, сыплет иголки на землю, за шиворот. А вон просекой идет сюда человек. Что-то в его походке, в манере держаться кажется Юлию неуловимо знакомым, виденным где-то, но где?

— Здравствуйте, — подал Макогопов руку и смотрит, всматривается в него. — Вам привет от Геннадия, от всех уоянцев. Вы, конечно, Четвертаков-младший? Петр Четвертаков?

Четвертаков-младший улыбается ясно, по-детски, рас-

спрашивает о брате, о делах мальшинцев. Такой же серьезный, как и Геннадий, только мягче, светлее лицом.

Подходят ребята — бригада, где Четвертаков «сквозняком». Юлий приглядывается, ценит каждого: с ними работать. Все крупные, с замедленностью в движениях, вроде бы неуклюжие в своих куртках и сапогах. Садятся под лиственницу, полегоныку налаживается разговор. Многие приехали по путевкам. Первое время оглушила природа, сама Сибирь, Забайкалье. Успевали рыбалить, работать, теперь только работают, всех вовлекает одно: вперед, на Даван! Присаживаются вокруг Панина — бригадный сход открывается. Решается вопрос о переселении из Нижнеангарска в тайгу. Ездить на работу уже далеко; чего зря терять время? Часть бригады поселится здесь, часть в Курлах, часть — на реке Тые. Пачка «Лайки» расходится по рукам, дымок повисает, поднимается по ветке к жуку-стригуну.

— Дороги дорогами, — стряхивает с колена хвою Панин, — но главное все-таки перевал. В общем, готовится десант на портал. Легкую тоннельную технику и людей — вездеходами. Что-то можно бульдозерами, что-то вертолетами. Высадимся — начнем строить поселок, и тут же проходку.

— Даешь Даван! — встают с хвой панинцы.

— Стебляков делает облет всех участков, — медленно, с расстановкой говорит Панин. — Завтра к Мальшину, послезавтра — к нам на Даван...

На другой день начальник строительства Стебляков, только что прибыв из Москвы, собирался сразу в тайгу. Отдавал последние распоряжения, подкручивал ослабшие без него «гайки». Стоял — серьезный и крупный — перед картой Бурятии, на которой была проложена трасса, крестами отмечены Муй и Даван. Сочный бас его вылетал из кабинета, отдавался в коридорах, заставлял прислушаться, остановиться, отряхнуться от мирской суеты. Юлий заслушался.

— Был в Кремле, у членов правительства, — смотрел Стебляков на собравшихся. — Просили передать: будет сделано все, чтобы обеспечить нас необходимым... Удивительная эта стройка, товарищи! Украина берет обязательство построить большую станцию со всеми подъездными путями, рабочими помещениями. Ее примеру следуют другие республики, крупные города. Трассу эту строит народ, вся страна. Кразы сверх плана посылает Кременчугский завод, воронежцы — экскаваторы, куряне — горное оборудование... Байкал — то, на чем сейчас проверяется человек. Сколько лет знаю бригадира Квитко, проходчика-скоростника. Смысл всего у него — прожить на виду и не сколько, а как!.. Видали? «Култуком» вчера тряхнуло Нижнеангарск. Звонил первый секретарь райкома партии: в районе тоже разрабатываются мероприятия. Наша задача ясна: наращивать силы на головных участках, оседлать к весне Муи и Давап.

### **Здесь город заложен**

Панин привез их сюда на «Урагане», высадил, обрисовал обстановку: лагерь должен быть готов за неделю, потом придут и остальные, из Нижнеангарска перебазировается весь Байкальский участок. Пока выгружали из вездехода палатки, продовольствие и инструменты, некогда было и глазом вокруг повести: до сумерек Панин должен успеть проскочить Тыйский «пыхтун». Сизое облачко бензина повисло и таяло между литых красноствольных сосен, куда нырнул панинский вездеход, и только тут Юлий перевел дух. Итак, их здесь, на мысе Курлы, семеро. Они начинают обживать это место. Странно и интересно: с них начинается город. Мог ли он всего месяц назад там, в своем среднерусском подстепье, даже подумать о том, что вместе с ребятами станет основателем города, своего города. По проекту здесь будет большая сортировочная стац-

ция, население в тридцать тысяч, вырастут школы, больницы, пятиэтажные здания. А сейчас только сосны и ветер...

Юлий оглядел внимательно местность — самое устье таежной речки Тыи. Какие зеленые равнинные километры, в створе белеют вершинами горы. Юлий вспомнил, как шли на буксире Байкалом, как местный охотник Каськов рассказывал им с Субботеей про эти Курлы, про здешние охотничьи и рыболовные угодья: как прибегают сюда зимником на машинах и мотоциклах, как таскают из-под льда омулька. Летом здесь обычно располагаются геологические экспедиции, отсюда совершают бросок на Байкальский хребет.

— Ну и кусочек, ну и пирог, — бегаешь, хлопчет Юлий по территории лагеря. — Сам бы ел, да деньги нужны. Вот здесь ставим палатки, вот здесь будет кладовая, столовка...

Лежал и слушал сквозь тонкий брезент палатки, как бьется в берег Байкал. Мировое местечко. Комар не докучает, комару здесь прохладно, а человеку ни холодно и ни жарко, у Байкала свой микроклимат.

Вчера на Курлах объявились геологи, пристали на лодке к берегу, попросили у старожилов, как водится, разрешения на жительство.

— Давай, — широко махнул Юлий и улыбнулся. — Всем места хватит.

Сегодня утром прибыли проектировщики. И они были приняты с тем же радушием. Палатки заперли под медно-литыми соснами. Все ждали баржу из Нижнеангарска, она прибыла вечером. Ее встречало все население палаточного поселка. С палубы перекочевали на берег бочки с горючим, жилые вагончики, лес-кругляк — баня в разобранном виде. Оставалось ее только собрать.

Юлий лежал в палатке и думал о доме, о Валентине, о маленьком Вовке. Как он скучает без них. Он слушал, как спят, намотавшись, ребята, как где-то за сосняком висит несмолкаемый гуд — это таежная речка Тыя шумно впа-

дает в Байкал. Завтра — воскресник, завтра они на Курлах начинают строить первое серьезное здание — баню.

Едва забрезжило, Юлий встал, вышел из палатки, отыскал кусок фанеры. Розовый свет окрасил эту фанеру, на которой — лицом к палаткам ленинградцев-геологов и изыскателей-новосибирцев — было написано: «Товарищ! И ты положи камень в основание города». Но кому вбить первый колышек?

— Кому? — говорят ленинградцы. — Факт — бамовцам.

— Само собой, — поддерживают новосибирцы. — Вам, ребята, здесь жить.

Все шестеро из тоннельщиков смотрят на Юлия:

— Ты у нас старший, тебе.

Юлий слегка краснеет от волнения, оглядывает всех собравшихся.

— Давай, давай, — смеются ребята. — Построим баню, все флаги в гости будут к нам. Со всего побережья.

Юлий берет топор, выбирает сосновую плашку, тремя точными ударами загоняет ее в землю. Все, город начинает свою историю...

Через несколько дней на Курлы прибыл Панин со всем участком. Быстрее погнали притрассовую дорогу на Даванский перевал. С техникой у Юлия хлопот было по горло. Сюда, на панинский участок, поступали бульдозеры для работы в каменистой местности, а землечерпалки и трактора с широкими гусеницами шли туда, к Мальшину. Но и здесь, вслед за осыпями, по пойме Тыи потянулись болота. А сроки гнали вперед — бамовцы дали слово к концу года пробиться к порталам.

Юлий не знал роздыха — все время с ребятами, с техникой, на просеке. Пределом мечтаний стало выбраться на Курлы, попариться в баньке. И вдруг к ним в болота прорвался панинский вездеход, привез телеграмму от Валентины. Жена ехала сюда вместе с сыном Володькой. Юлий не поверил сначала, думал ребята разыгрывают, но нет, телеграмма была настоящая. Это все из-за его писем до-

мой. Писал ей, что любит, что очень скучает, а чтобы не беспокоилась, расписывал, как здесь хорошо, просто великолепно, что работой они себя не мордуют, спят и видят себя на портале, где построят поселок, дадут им квартиры под солнцем у самых синих гор... И вот она едет.

В эту субботу Юлий сумел, наконец, вырваться на Курлы.

— Что делать с семьей? — обратился он в явной тревоге к Панину.

— Э, парень, — засмеялся начальник и дружески хлопнул его по плечу, — да я бы на седьмом небе от этого... Пока подыщешь квартирку в Нижнем, потом найдем работенку и ей...

А в это время Валентина уже была в поезде «Россия», следовавшем из Москвы до Владивостока. Позади остались все хлопоты, все разговоры с матерью, которая изгуделась в последние дни: «Пускай хоть Володька-то подрастет... Или боишься за Юлия? Да что на нем свет, что ли, клином сошелся?» На Валентину же нашло какое-то исступление: «Нет, надо ехать, непременно ехать, скорее!» Год был юбилейный, газеты помещали заметки, вспоминая о восстании декабристов, а Валентина родилась в том самом селе, откуда когда-то прекрасная русская женщина Александра Муравьева-Чернышова отправилась к ссыльным с посланием Пушкина «Во глубине сибирских руд»... Валентина ехала к мужу в благородном порыве участвовать в преображении края, где отбывали каторгу декабристы и где теперь разворачивалось строительство трассы века. Какие страницы истории высвечивали эти названия: Петровский завод, Акатуй, Нерчинские рудники, Баргузин...

По реке Чусовой, за окнами поезда, пролетели остатки царского тракта, на котором звенела кандалами вольполубивая Русь; уже не зеленокудрые западносибирские околки, не лиловые пятна иван-чая волновали ее — перестук вагонных колес сливался со скрипом арестантских телег,

перед ней держалось бледное, крупноглазое лицо Черышовой.

Перелет из Улан-Удэ на север Байкала маленький Володька выдержал лучше, чем ожидала Валентина: заснул у нее на руках и не просыпался. Подал голос уже на северобайкальской земле.

Юлий в Нижнеангарске ее не встречал. Странно. В отряде ей выделили комнатку в местной средней школе, временно приспособленной под общежитие, она доверила Володьку молодой симпатичной женщине — жене одного проходчика и на другой же день отправилась на Курлы. Но и там Юлия не оказалось: выехал на место аварии на трассу, в тайгу. Туда как раз шел вездеход. Не раздумывая, Валентина забралась в кабину, сверкая глазками из-под платка.

— Чья такая? — подошел водитель.

— Механика нашего, — бросил коротко Панин, — жена.

— А-а, Валентина, — улыбнулся водитель, и ей почему-то стало вдруг хорошо. Так хорошо и знакомо все: этот парень, его вездеход, весь этот шумный лагерь, вся эта огромная, настороженно взиравшая на нее дотоле тайга.

— Вперед, за орденами? — улыбнулась она ответно.

— Вперед, — ответил водитель.

Она увидела Юлия по пояс в болоте, и сердце ее сжалось и затрепетало. Вот уже пятые сутки они гатили гиблое место, подвигивали затопшие бульдозеры. А подъемные краны все не приходили, а технику ждали ребята на просеке. Юлий вспомнил уоянский опыт, речку Завернюка, «водолазов», и первым подставил плечо под вагу... Валентина упала ему на грудь и заплакала.

— Юлечка, милый, зачем ты так? Ведь заболеешь, ледяное болото. Ну кому ты нужен будешь.

— А тебе?

— Спрашиваешь, — ласкалась она. — Тебе здесь плохо, уедем отсюда, вернемся.

— Я не могу, — смотрел он в глаза ей своими синими,

под цвет Байкала глазами.— Я не могу вернуться назад, Валентина. Ну, скажи, какой из меня дезертир? И вообще, с чего ты взяла, что мне плохо?

Валентина закусила нижнюю губку, как всегда это делала, когда с чем-нибудь не соглашалась. Назад, на Курлы, они ехали молча. В лагере она решительно подошла к Панину:

— Я забираю мужа от вас, ему нельзя здесь работать. Вы не знаете его, он тут у вас пропадет.

— Валентина,— оторопел Юлий,— Валюша...

— Ну вот и хорошо,— улыбнулся ей Панин,— оставайтесь у нас, будете доглядывать за мужем. Кстати, какая у вас профессия?

— Автомеханик.

— Прекрасно. Будете работать под началом у Юлия. Просто великолепно! Знаете ли, я лично поощряю такую семейственность... Юлий, через пятнадцать минут у меня планерка, жду.

Она прошла в палатку Юлия, увидела на столе исписанный листок. Родной почерк: «Дорогая Валюша! Ты права, воды утекло много. Есть ребята, которые опростоволосились и драпанули. Что ж, у нас здесь, действительно, не курорт... Павел Доронин временно ушел в отстающую бригаду, сейчас они на реке Гоуджикит, это уже на полпути к Даванскому перевалу. Ребята таранят тайгу, им сейчас больше всех достается. Как важно просто слово участия... как важно нам слово любви»...

Она оторвалась от листка бумаги, смотрела в пространство и видела лицо землячки своей, декабристки, слышала свист полозьев, увозивших ее сюда, в эти края.

— Валентина,— склонился Юлий ко входу в вагончик,— ребята тебя приглашают.

Она вошла в большую палатку и зажмурилась от яркого света, от множества лиц, все были повернуты к ней, все улыбались ей так искренне, радостно, и она это чувство-

вала, чувствовала снова себя молодой и хорошенькой, как и до рождения Володьки.

— За первую женщину в нашем поселке — в нашем будущем городе, — встал Панин и поднял свою алюминиевую кружку, и подняли свои кружки ребята, в которых было шампанское.

— Ур-ра-а! — колыхнулась палатка от крепких мужских голосов.

Сидели на длинных скамейках — плечо в плечо, справа налево, слева направо. «Славное море — священный Байкал». Да в чем она, родственность наша людская, только ль по крови? Еще вчера не знала она ни Панина, ни всех этих ребят, а сейчас чувствует, как стянуты все они одной питью, единой судьбой. Один тракт позади — впереди одна сквозная дорога.

Раздался басовитый гудок. Это — оттуда, с Байкала. Вчера строили пристань, сегодня к мысу Курлы уже идут теплоходы.

### **Вместо эпилога**

Поезд мчится Байкало-Амурской магистралью. Столбы, столбики. Рельсы, мосты. И все болота, тайга, города, города. Вот и Даванский перевал, вот тоннель. Как долго было темно, и вдруг справа бросилось синью — Байкал! Сын прилипает к окну, восхищенно смотрит туда — на сине, сюда — на седого, с синими, как вода у Байкала, глазами отца.

— Это папа мой, — кричит он на весь вагон, — сам строил эту дорогу!

*Орел — Северный Байкал*

## В ТИХИЙ ДОЖДЬ

Ночевать Герка перебрался к Витяхе на сеновал. Солнце свалившись за соломенную крышу сарая, наконец, село в тучку. Ребята лежали на свежем лесном сене и молчали. Сильные запахи недавно увядшей травы обступали со всех сторон, кружили голову, отдавали пылью, щекотали в носу. А сумерки становились все гуще; в дыре, между ржаными снопами, проклюнулась звездочка. В полусне вздохнула рядом корова, мягко задвигались ее челюсти.

— Витя, — тихо позвал Герка.

Тот не отозвался. Герка принялся думать про то, как, дождавшись ночи, они спустятся с сеновала, пройдут темными улочками в конец городка, за карьеры. К Огрешкину саду. Представились огромные, с Витькину голову, огрешкины яблоки, даже почудился их горьковато-прииторный запах. Герка перекатился в угол, приподнял клок бурьянного сена, но, кроме растревоженного, обычного для лежалого бурьяна духа прели и сырости, не уловил ничего.

В сарай упала полоска электрического света: во двор вышел Геркин отец. Постоял, хлопнул дверью, снова вошел в дом. Стало совсем тихо. Даже корова уморилась жевать, положив голову в ясли. Хотелось спать.

— Витя,— задышал Герка,— давай играть в сочетания? На «гер». По три слова... Германия, герб, Герка.

— Не-ет, «Герка», чур, не считается. Герапъ, Гераций...

— Не Гераций, а Гораций.

— А ну тебя,— Витька смолк.

Прошло еще с полчаса. Электричество на подстанции выключили — все погрузилось во тьму. И сразу же в одиночку и хором, по-бабьи заголосили собачьи баритоны и тенора, а между ними, путаясь и уходя ввысь, горошинами покатались голоса щенков.

— Это в саду у Бородача,— определил Витяха.

Через час все угомонило.

— Идем,— поднялся Витяха и скользнул из дверей.

Неба как будто не существовало. Тучи закрыли звезды, надавили на землю, казалось, они сливаются с ней, и оттого так чернильно кругом. Было страшно. Лишь светлела в двух шагах перед Геркой рубаха Витяхи, и Герка старался держаться ее, чуял в ней тонкие запахи сена, и ему становилось спокойнее.

Где-то рядом раздался голоса и гармонь, и песня:

Спят курганы темные,  
Соляцем опаленные...

Витяха и Герка ткнулись в акацию. Припав на руку, Герка слышал ладонью, как пышет, набравшись за день тепла, толстая летняя пыль. Мимо проплывали алые точки папирос.

Через рощи синие...

Голоса удалялись. Дождинка упала на нос — Герка вздрогнул.

— Ит-тем,— зашипел, поднимаясь, Витяха.

— Тем-ш-ш, тем-ш-ш, тем-ш-ш,— повторили, шелхнувшись от близящегося дождя, шершавые листья вязов.

Шли кручами и буераками. Где-то тут бродил Герка сегодня с отцом. Отец привез его, Герку, сюда, в городок своей юности. Здесь, в логу, он когда-то отстреливался от

кулаков, в сорок третьем останавливал «тигры». Здесь, в логу, враги расстреляли его боевого товарища...

А Витяха все шел, продирался заросшими оврагами, кручами. И когда Герка понял, что больше идти не может, Витяха остановился: перед ними чернела усадьба Огрешки.

«Вот возьму, да и не пойду,— росло в Герке сопротивление.— Возьму, да и не пойду».

— Витя,— сказал Герка и остановился.— Ведь нехорошо это... нехорошо...

— Чего? — опешил Витяха и зашептал сердито: — У него можно. Дед Огрешка — куркуль. Вон какой у него садище, в целый гектар. С копанью. А в копани зеркальные карпы. Машинами, говорят, отправляет яблоки в Тулу...

Хлестнула по пятке ветка, оттянутая Витяхой. Герка вздрогнул, двинулся следом. Поднималась примятая Витяхой полынь, шелестел вниз по яблоне сухой лист — плечи Геркины вздрагивали, поворачивались на звук. Колотилось сердце, отчего, казалось, шевелится листва, а от этого начинает двигаться воздух. Потянуло сыростью, дождь надвигался.

Первая волна пробежала вершинами вязов и затихла за Огрешкиным садом. Стало слышно, как в руках у Витяхи скрипят яблоки. Герка вытянул перед собой пальцы, чтобы не выколоть веткой глаза, и неожиданно коснулся Витяхиной рубахи. Сделалось как-то легче, Герка даже запел.

— Ты ш-ш-што-о? — прошипел Витяха. Герка притянул ветку, нащупал яблоко. Откусил. Ароматный сок бросился в рот. Герка откусил еще.

— Хватит жрать-то,— озлился Витяха. Нагрузив пазуху, он уже набивал через дырку в кармане штаны, завязанные у щиколоток. Оттого колени его не сгибались, едва двигались ноги, сделавшись тумбами.

— Тэх-тэх-тэх-тэх-тэх,— застучали дождевики по при-

тихшей листве. Сразу откуда-то взялись запахи. Потянуло землей, картофельной ботвой, даже глухой крапивой. И над ними высился один ароматный, вкусный до невозможного, запах зрелых антоновских яблок, он наполнял весь сад, поднимался под самые вязаы, вырывался на улицы: где-то навстречу ему распахнули окно. Далеко-далеко бродила гармошка. И вдруг перед Геркой выросло что-то огромное, черное. Рядом, взвизгивая, приседала собака.

— Стой! — ударило громом. — Стой, говорю!!

Яблоко из Геркиных рук упало. Герка присел от страха, различив перед собой великана в сапогах и фуражке. Огрешка — а это был он — молча взял ребятишек за шиворот, приподнял над землей, протащил на весу, так же молча швырнул обоих в собачью будку, привязал волкодава и молча же удалился.

Дождь пошел ровнее, гуще, тотчас сквозь дощатую крышу потекли холодные струйки. Первые минуты мальчишки лежали ошеломленные: так все быстро произошло.

В окне у Огрешки горел слабый свет, мелькали какие-то тени.

— Ложатся, должно быть, спать, — вздохнул Герка.

— Угу, — шевельнулся Витяха, но волкодав звякнул цепью, и ребята снова затихли. Лежали, не двигаясь. Пахло псиной, кислой собачьей картошкой. На мокрых листьях задрожал серый свет. Дождь повис мелким туманом. Попробовали двинуться к выходу, но волкодав еще раз звякнул цепью и зарычал. Прижавшись друг к другу, пленники стали придремывать, когда послышались чьи-то шаги — частые, легкие. Герка поднял глаза: перед ним стояла... девочка. Горбатенькая, в белой косынке.

— У Огрешки живет, внучка, — зашептал Герке Витяха. — Свиной помогает кормить.

Склонив голову, девочка с минуту глядела на них. Наверно, мальчишки показались ей жалкими — мокрые, грязные, в этой собачьей будке. Улыбнувшись, она подошла к волкодаву, взяла одной рукой за ошейник, махнула

другой: вылезайте. Показала на кусты акации, ограждавшие сад: уходите, мол.

Мальчишки бежали напрямик, через крапиву, татарник. Через огороды и колючую проволоку. Ноги щипало от свежих царапин и ссадин, смачиваемых дождем.

Свет постепенно очищался от теней — холодный, безжизненный, алюминиевый. Воздух стал теплее и мягче — тучи сгрудились, капли сделались крупнее, грянул утренний дождик. И хотя на мальчишках уже не было сухой нитки, они бросились к дому, запыхавшись, влетели на сеновал. Натянув на голову одеяло, они постепенно отходили, засыпали под монотонный шелест дождя о соломенную крышу, под мерную жвачку коровы и вздрагивали.

Проснулись ребята от далекого крика. Долго лежали, стараясь сообразить, что же происходит.

— Огрешка Маруську порет, — наконец догадался Витяха. И вздохнул равнодушно: — За нас, должно...

— Как порет? — заволновался Герка.

— А так. Берет за виски и таскает.

— И таскает??

— А как же, — сказал важно Витяха. — Он такой, дед Огрешка! — Витяха сделал страшные глаза, наклонился над Геркиным ухом: — А одного, говорят, поймал, в подвал посадил. А другого яблоню грызть заставил, а когда...

— Врешь все, Витяха, — приподнялся Герка, прислушиваясь к отдаленному крику. — И зачем врать?

— Честное, — вскочил Витяха. — Три дня матери не видать! Мне Колька Лупа рассказывал. Знаешь, какой это дед! Это он с виду блажной, а...

— Витя, — сказал Герка дрогнувшим голосом. — Давай пойдем к нему и признаемся.

— Ишь ты, — отодвинулся мигом Витяха.

Щелкнула сенечная щеколда, звякнула пустым ведром отцова сестра — тетка Наталья, Витяхина мать. Вывела корову во двор. Значит, совсем уже утро. Вскоре в пустое ведро задзинькало молоко.

— Ребята,— вошла в сарай она.— Выпейте молочка. Паренького... Ну, хоть ты, Герочка. Жалкий ты мой, экий худой да бледненький. Выпей, Герочка, паренького, свойского. Это не то, что у вас там, в городе, магазинное...

— Выпей, телок, выпей,— ущипнул Герку Витяха.— А то в подвале у Огрешки и водицы не разживешься.

— Ну, как хочешь,— сказал решительно Герка и начал слезать с сеновала.

Первый солнечный луч, пробившись через дырку в крыше, упал перед Геркой. Герка хотел наступить на него, но тот прыгнул ему на плечо, потом на нос и губы — ослепил Герку. Слышно было, как с крыши булькали в бочку рваные струйки, на ближнем клене перешептывались в листве ленивые капли.

Герка сунулся в дверь: на пороге стоял отец, за спиной у него торчал дед Огрешка...

*г. Малоархангельск*

## СОДЕРЖАНИЕ

Дарьюшка — последняя из хуторян . . . . .	5
«Выживем вместе...» . . . . .	25
Отрезанный ломоть . . . . .	37
Дитя человеческое . . . . .	46
Белый волк . . . . .	54
Двенадцать апостолов . . . . .	66
Как аукнется... . . . . .	72
Анфиса Канадская . . . . .	82
Конфуз . . . . .	92
Валенки . . . . .	99
Опростоволосились . . . . .	106
Зарубка на память . . . . .	118
Мед из подснежников . . . . .	133
«Сидор» . . . . .	145
Грешница . . . . .	156
На грани фюла . . . . .	165
Кастальский ключ . . . . .	174
Окно в Европу . . . . .	182
Ревущие сороковые . . . . .	192
Изопьем Байкалу синего . . . . .	205
Вместо пролога . . . . .	205
Здравствуй, племя младое!.. . . . .	208
Бамовский папаша . . . . .	215
Бросок через Байкал . . . . .	224
«Навстречу утренней заре, по Ангаре...» . . . . .	234
Зачарованные шаманом . . . . .	240
Есть такой поселок Уоян . . . . .	249
Речка Завернюка . . . . .	260
«Култук» над Нижнеангарском . . . . .	268
Здесь город заложен . . . . .	274
Вместо эпилога . . . . .	280
В тихий дождь . . . . .	281

З-80 Золотарев Л. М.

Мед из подснежников. Тула, Приок. кн. изд-во,  
1978.

287 с.

Рассказы, путевые заметки орловского писателя посвящены нашему современнику. Они повествуют о новостройке Сибири — БАМе, о землепашцах Орловщины, о красоте родной земли, о силе духа советского человека. С особенной теплотой и любовью пишет Л. Золотарев о людях социалистической деревни.

70302—63

З                      35—78  
M154(03)—78

P2

© Приокское книжное издательство, 1978.

*Леонард Михайлович Золотарев*

МЕД ИЗ ПОДСНЕЖНИКОВ

Редакторы *В. П. Перкин, Н. Ф. Богданова*  
Художественный редактор *М. Г. Рудаков*  
Технический редактор *М. В. Аршинова*  
Корректор *В. М. Дорогонько*

ИБ № 869

Сдано в набор 3 октября 1977 г. Подписано к печати  
28 апреля 1978 г. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 9 (12,6);  
Уч.-изд. л. 13,37. Тираж 50 000 экз. Заказ № 991;  
ЦП 06562. Цена 95 коп. Бумага типографская № 2.  
Приокское книжное издательство,  
г. Тула, ул. Революции, 14.

Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Го-  
сударственном комитете Совета Министров СССР по  
делам издательств, полиграфии и книжной торговле,  
г. Тула, пр. им. В. И. Ленина, 109

